

ДЖ. Р. Р. ТОЛКИН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМЫ БОМБЕЛЮКИНА
И ДРУГОЕ ИСТОРИИ



Annotation

В книге собрана малая проза Дж.Р.Р. Толкина, стихотворения, примыкающие к трилогии «Властелин Колец», а также некоторые другие стихи, баллады и героическая пьеса.

Дж.Р.Р. Толкин

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА БОМБАДИЛА

И ДРУГИЕ ИСТОРИИ

МИФОПОЭЙЯ

Перевод С. Степанова

Ты к дереву относишься прохладно:
Ну дерево, растет себе и ладно!
Ты по земле шагаешь, твердо зная,
что под ногами просто твердь земная,
что звезды суть материи обычной
комки, по траектории цикличной
плывущие, как математик мыслил,
который все до атома расчислил.

А между тем, как Богом речено,
Чей Промысел постичь нам не дано,
как будто без начала и конца,
как свиток, разворачивается
пред нами Время, — и не внять в миру нам
таинственным его и странным рунам.
И перед нашим изумленным глазом
бессчетных форм рои проходят разом, —
прекрасные, ужасные фантомы,
что нам по большей части незнакомы,
в которых узнаем мы иногда
знакомое нам: дерево, звезда,
комар, синица, камень, человек...
Задумал Бог и сотворил навек
камнеобразность скал и звезд астральность,
теллур земли, дерев арбореальность;
и люди из Господних вышли рук —
гомункулы, что внемяют свет и звук.
Приливы и отливы, ветер в кронах,
медлительность коров, сок трав зеленых,
гром, молния, и птиц стремление к свету,
и гад ползучих жизнь и смерть — все это
Всевышнему обязано зачатьем
и Божией отмечено печатью.
При всем при том в мозгу у нас оно
отражено и запечатлено.

Но дерево не «дерево», покуда
никто не увидал его как чудо
и не сумел как «дерево» наречь, —
без тех, кто раскрутил пружину-речь,

которая не эхо и не слепок,
что лик Вселенной повторяет слепо,
но радование миру и суждение
и вместе с тем его обожествление,
ответ всех тех, кому достало сил,
кто жизнь и смерть деревьев ощутил,
зверей, и птиц, и звезд, — тех, кто в темнице
засовы тьмы подтачивает, тщится
из опыта предвестие добыть,
песок значений моя, чтоб намыть
крупницы Духа, — тех, кто стал в итоге
могучими и сильными, как боги, —
кто, оглянувшись, увидел огни там
эльфийских кузниц, скованных гранитом,
и увидел на тайном ткацком стане
из тьмы и света сотканые ткани.

Тот звезд не видит, кто не видит в них
живого серебра, что в некий миг,
цветам подобно, вспыхнуло в музыке,
чье эхо на вселенском древнем лице
поднесь не смолкло. Не было б небес —
лишь вакуум! — когда б мы жили без
того шатра, куда вперяем взоры
на шитые эльфийские узоры;
негоже землю нам воспринимать
иначе, чем благую Первомать.

Сердца людей из лжи не до конца.
Внимая Мудрость Мудрого Отца,
сколь человек отложенным ни был
днесь от Него, Его он не забыл
и не вполне отпал и извратился.
Быть может, благодати он лишился,
но не утратил прав на царский трон —
и потому хранит поныне он
лохмотья прежней княжеской одежды
как память о былом и знак надежды.
В том царственность, чтобы владеть всем миром
в твореньи и не почитать кумиром
Великий Артефакт. И наконец,
ведь человек, хоть малый, но творец! —
он призма, в коей белый свет разложен
и многими оттенками умножен
и коей сотни форм порождены,
что жить у нас в мозгу насаждены.
Хоть гоблинами с эльфами в миру
мы населяем каждую дыру
и хоть драконье семя сеем мы,
творя богов из света и из тьмы, —
то наше право! — ибо сотворяя,
творим, Первотворенье повторяя.

Конечно, все мечты суть лишь попытки —
и тщетные! — избежать страшной пытки
действительности. Что же нам в мечте?
Что эльфы, тролли? Что нам те и те?
Мечта не есть реальность, но не все
мы мучаемся, за мечту воюя
и боль одолевая, ибо мы
сим преодолеваем силы тьмы
и зла, о коем знаем, что оно
в юдоли нашей суще и дано.

Блажен, кто в сердце злу не отвечает,
дрожит, но дверь ему не отпирает
и на переговоры не идет,
но, сидя в тесной келье, тихо тклет
узор, злащенный стародавним словом,
которое под древней Тьмы покровом
давало нашим предкам вновь и вновь
покой, надежду, веру и любовь.

Блажен, кто свой ковчег, пусть даже хрупкий,
построил и в убогой сей скорлупке
отправился в неведомый туман
до гавани безвестной в океан.

Блажен, кто песню или миф творит
и в них о небывалом говорит,
кто вовсе не забыл о страхах Ночи,
но ложью не замазывает очи,
достатка не сулит и панацеи
на островах волшебницы Цирцеи
(не то же ль рай машинный обещать,
что дважды совращенных совращать?).
Пусть впереди беда и смерть маячат, —
они в глухом отчаяньи не плачут,
не клонят головы перед судьбой,
но поднимают песнею на бой,
в день нынешний и скраденный веками
вселяя днесь неведомое пламя.

Хочу и я, как древле менестрель,
петь то, чего не видели досель.
Хочу и я, гонимый в море мифом,
под парусом уйти к далеким рифам,
в безвестный путь, к неведомой земле,
что скрыта за туманами во мгле.
Хочу и я прожить, как тот чужак,
что, золота имея на пятак
(пусть не отмыто золото от скверны
и прежние пути его неверны!),
запрятывать его в кулак не станет,
но профиль короля на нем чеканит
и на знаменах вышивает лики

и гордый герб незримого владыки.

А ваш прогресс не нужен мне вовеки,
о вы, прямоходящи человеки!
Увольте, я в колонне не ходок
с гориллами прогресса! Весь итог
их шествия победного, ей-ей,
зиянье бездн, коль в милости Своей
Господь предел и срок ему положит.
А нет, — одно и то же он итожит,
переменяя разве что названья,
верша по кругу вечное топтанье.
Я к миру не имею пиетета,
где то всегда есть «то», а это — «это»,
где догма от начала до конца
и места нет для Малого творца.
И пред Железною Коронай зла
я золотого не сложу жезла!

* * *

Наш взгляд в Саду Эдемском, может стать ся,
от созерцанья Света оторваться
захочет и невольно упадет
на то, что видеть этот Свет дает,
и в отраженьи Истины ясней
мы Истину поймем и вместе с Ней
увидим мы свободное творенье,
в конце концов обретшее Спасенье,
которое ни нам, ни Саду зло
с собой в благие кущи не внесло.
Зла не узрим мы, ибо зла истоки
не в Божьей мысли, но в недобром оке.
Зло в выборе недобром и стремленьи,
не в нотах зло, но в безголосом пеньи!
Поскольку жить по кривде невозможно
в Раю, — там сотворенное не ложно,
и не мертвы творящие, но живы,
и арфы золотые не фальшивы
в руках у них, и над челом, легки,
пылают огненные языки, —
они творят, как Дух велит Святой,
и выбор свой вершат пред Полнотой.

КУЗНЕЦ ИЗ БОЛЬШОГО ВУТТОНА

Перевод И. Кормильцева

Была однажды на белом свете деревня: не так давно для тех, у кого память долгая, не так далеко для тех, у кого ноги длинные. Звалась она Большой Вуттон, но не потому что была большой, просто больше, чем Малый Вуттон, таившийся неподалеку в лесной чащобе. Но хоть и невелико было местечко, а все же жило в нем порядочно народу — плохого, хорошего, всякого, — как водится.

Вуттонцы по большей части были людьми зажиточными. Слыли они в округе искусными в разных ремеслах, особенно в поварском деле. Была в Вуттоне просторная Общинная Кухня, а хозяйничал на ней Кухмейстер — лицо важное и всеми уважаемое. Дом Кухмейстера и Кухня примыкали к Ратуше — самому старому и красивому зданию во всем Вуттоне. Крепкий камень пошел на ее стены и добрый дуб, и содержали Ратушу в образцовом порядке, хотя позолоты давно уже не обновляли. В Ратуше собирались вуттонцы посовещаться, посудачить и просто повеселиться по общим праздникам и семейным торжествам. Так что Кухмейстер без работы не скучал, поскольку где праздник, там и застолье. А праздников в году было немало, хотя так уж вышло, что на зиму выпадал всего лишь один. Зато как его ждали!

Праздничали целую неделю, а вечером последнего дня давали Пир Добрых Детей. Не просто было попасть на этот пир: званы на него бывали всего двадцать четыре ребенка. Конечно же, не все достойные дети на него попадали, а по недосмотру случались к столу и недостойные, но в таком деле без ошибок не обойдешься. А главная загвоздка заключалась в том, что справляли этот праздник один раз в двадцать четыре года, так что нужно было еще и вовремя родиться. По такому важному случаю полагалось Кухмейстеру проявить себя наилучшим образом и наготовить много всяких лакомств, и перво-наперво, как того требовал обычай, Большой Кекс. От того, насколько хорош (или плох) выходил Кекс, и зависело, какую о себе память оставлял Кухмейстер — ведь редкому Кухмейстеру доводилось дважды стряпать Большой Кекс.

Но вот как-то раз случилось небывалое — ко всеобщему изумлению Кухмейстер заявил, что ему нужно на время отлучиться. Сказал — и тут же уехал, а куда — неведомо. Когда же через несколько месяцев он вернулся, все приметили, что стал он совсем другим человеком. Прежде был он хоть и добродушным малым, любившим чужое веселье, однако ни в пиру, ни в миру лишнего слова не ронял. А тут зачудил: потешал всех постоянно странными выходками, за столом распевал вместе со всеми легкомысленные песенки, что Кухмейстеру никак не к лицу. Но хуже всего было то, что вернулся он не один, а с Учеником.

Само по себе оно бы и ничего — в должное время каждый Кухмейстер брал себе Ученика и учил его с тем, чтобы со временем Ученик подменил Кухмейстера в работе. Когда Кухмейстер уходил на покой или умирал, Ученик занимал его место. Но именно нынешний Кухмейстер все тянул с выбором Ученика, все приговаривал, что, мол, время еще не пришло, а вот когда придет, тогда и видно будет. И вдруг возьми и приведи с собой Ученика, мальчишку, к тому же чужака, невесть откуда взявшегося. Мальчик был на вид смышленей вуттонских парней, вежливый, поворотистый, недерзливый — да только больно уж зелен. Было ему на вид от силы лет пятнадцать. Однако мастеру видней и советовать ему неприлично. Так что мальчишка остался жить у Кухмейстера, пока не подрос и не завел себе собственный дом. К чужаку вскоре привыкли, даже друзья у него завелись. Все они, как и Кухмейстер, звали его Эльфи, но для остальных он был Ученик, или попросту — Ник.

Следующее странное событие заставило себя ждать три года. Одним чудесным весенним утром Кухмейстер снял свой высокий белый колпак, аккуратно сложил чистые фартуки, повесил на крючок белый халат, взял ясеновый посох и дорожную сумку и отправился путешествовать. Видел это один только Ученик.

— Прощай, Эльфи, — сказал Кухмейстер Ученику. — Я оставляю тебя одного на хозяйстве. Управляйся, как умеешь, а умеешь ты неплохо. Думаю, все обойдется. Если мы снова свидимся, ты мне обо

всем расскажешь. А людям скажи, что я снова в отлучке, но на сей раз — навсегда.

Что за шум поднялся в деревне, когда Ник передал вуттонцам слова Кухмейстера!

— Какова выходка! — возмущались они. — Уйти просто так, не предупредив, не попрощавшись! Что мы будем без него делать? Он себе даже замены не вырастил!

В конце концов за неимением лучшего назначили Кухмейстером одного вуттонца, который готовил достаточно сносно. В молодости ему даже случалось помогать Кухмейстеру, когда на Кухне бывала запарка, но Кухмейстер теплых чувств к нему не питал и в учение брать не хотел. Теперь этот человек был уже немолод, обзавелся домом и семьей. Все его считали основательным и рачительным хозяином.

— Такой не сбежит, — поговаривали вуттонцы, — а плохая стряпня все же лучше, чем никакая. До ближайшего Большого Кекса еще семь лет, а там, глядишь, чему-нибудь и научится.

Нокс (а именно так звали нового Кухмейстера) остался доволен таким оборотом дел. Ему всегда хотелось быть Кухмейстером, и он никогда не сомневался, что с этим делом справится. Иногда, оказавшись на Кухне в одиночестве, он надевал на голову высокий белый колпак, смотрелся в надраенную до зеркального блеска сковороду и говорил сам себе:

— Привет, Мастер! Как тебе идет этот колпак! Сидит как влитой. Я верю в твою удачу, Мастер!

Поначалу дела и впрямь шли недурно. Нокс старался изо всех сил, а Ник ему помогал. Разумеется, Нокс многому выучился у Ника, исподтишка за тем подглядывая, хотя он даже сам себе в этом бы не признался. Но время шло своим чередом, и близилась пора стряпать Большой Кекс. Про себя Нокс давно уже беспокоился по этому поводу. За семь лет он научился стряпать вполне приличные кексы и пирожные для рядовых праздников, но знал, что Большой Кекс вуттонцы ждут подолгу и поэтому в случае неудачи пощады от злых языков не жди. Ладно бы еще одни дети, но ведь маленькие кексы из того же теста и той же выпечки раздавались, по обычаю, всем взрослым, которые помогали стряпать и накрывать на стол. От Большого Кекса все ждали чего-то нового и необычного, так что нельзя было обойтись простым повторением прежних прописей.

Как казалось Ноксу, Большой Кекс должен быть первым делом сладким и красивым. Поэтому он решил, что покроет его со всех сторон сахарной глазурью (а надо сказать, что Нику глазурь удавалась на диво). «Это придаст ему чудесный волшебный вид», — думал Нокс про себя. Нокс мало разбирался во вкусах детей, но твердо знал, что дети любят сладкое и волшебное. Он считал, что уже вышел из возраста, когда ждут чудес, но к сладкому оставался и сам неравнодушен. «Ах, волшебство! — сказал он. — Какая удачная мысль!» И тут же ему пришло в голову водрузить маленькую куколку в белом платье на макушку Кекса, вложить куколке в ручку волшебную палочку со звездой из серебряной фольги, а по кругу пустить надпись розовой глазурью: «Королева фей».

Но когда он перешел от рассуждения к делу, то обнаружил, что имеет самое смутное представление о том, что же кладут в Большой Кекс. Тогда он перелистал записи прежних Кухмейстеров. Они его озадачили. Он мало что понял, даже там, где удалось разобрать почерк. О многих упомянутых там пряностях он не имел представления, о других запомнил, где их искать, а времени оставалось в обрез. Впрочем, почесав затылок, Нокс вспомнил, что кое-какие из этих пряностей могли завалиться в старом черном ларце с множеством ящичков, в котором прежний Кухмейстер держал специи для особых okazji. С тех пор как Нокс стал Кухмейстером, ларец ни разу на глаза ему не попадался, но, поискав получше, он нашел его на верхней полке в кладовой.

Он снял ларец с полки и сдул с крышки пыль; к великому его огорчению, тот оказался почти пуст, а немногие пряности, которые еще оставались, усохли и заплесневели. В одном из угловых отделений Нокс нашел маленькую звезду, размером не больше шестипенсовой монетки. Звезда была сделана из чего-то похожего на старое, почерневшее серебро.

— Какая забавная штучка, — сказал Нокс, поднося звезду поближе к свету.

— И совсем она не забавная! — сказал кто-то у него за спиной.

Нокс от неожиданности даже подпрыгнул. Это был Ник. Тон его озадачил Нокса — никогда прежде

Ник не позволял себе говорить с ним таким образом. Нужно сказать, Ник вообще никогда не обращался к Ноксу первым. Ноксу это нравилось — молодой человек, пусть даже он варит исключительную глазурь, должен быть почтителен со старшими.

— Что ты этим хочешь сказать, парень? — недовольным голосом переспросил Нокс. — Почему это она не забавная?

— Потому что она волшебная, — сказал Ник. — Она из Волшебной Страны.

Это развеселило Кухмейстера.

— Ладно, будь по-твоему, — сказал он, — хотя я не вижу тут особой разницы. Забавная, волшебная — как тебе угодно. Вырастешь — поумнееешь. А теперь отправляйся перебирать изюм. Если тебе попадутся волшебные изюминки, не забудь мне сказать.

— Что вы собираетесь делать с этой звездой, Мастер? — спросил Ник.

— Как что? Положу ее в Кекс, — сказал Нокс. — Там ей будет самое место, раз она волшебная. Ты же сам без году неделя как перестал ходить на детские праздники, так помнишь, наверное, что для детей в сладости часто запекают монетки, маленькие безделушки и всякую всячину. У нас в деревне всегда так делают. Это доставляет детям много радости.

— Но это не безделушка, Мастер, это — Волшебная Звезда, — сказал Ник.

— Я это уже слышал, — перебил его Нокс. — Хорошо, я так и скажу детям, пускай повеселятся.

— Не думаю, Мастер, — сказал Ник, — но пусть будет по-вашему. Я согласен.

— Ты не забывай, с кем разговариваешь! — прикрикнул на него Нокс.

И вот Кекс замесили, испекли и покрыли глазурью, в основном стараниями Ника.

— Раз ты у нас такой охотник до волшебного, я поручаю тебе сделать Королеву фей, — сказал Нокс.

— Хорошо, Мастер, — согласился Ник. — Так уж и быть, если у вас мало времени. Но это ваша выдумка, а не моя.

— Выдумывать — это не твоего ума дело, — отрезал Нокс.

Кекс поставили посередине стола и окружили двадцатью четырьмя свечами из красного воска. Он был похож на заснеженную вершину горы, на склонах которой росли покрытые инеем деревья. На самой макушке стояла на одной ножке крошечная фигурка, похожая на танцующую снежинку, сжимая в руке маленькую волшебную палочку, которая искрилась и блестела в лучах света.

Дети смотрели на Кекс изумленными глазами. Кто-то из них захлопал в ладоши и закричал: «Смотрите, смотрите, какая прелесть! Какое волшебство!» Кухмейстер был в восторге, но Ученик помрачнел. Они оба пришли на Пир; Кухмейстер для того, чтобы разрезать Кекс, а Ученик для того, чтобы вовремя подать остро заточенный нож.

Наконец Кухмейстер принял поданный нож и сделал шаг к столу.

— Должен вам сказать, зайчики мои, — начал он, — что под этой очаровательной глазурью вы найдете восхитительный кекс, в который положено много всяких вкусов. Но кроме того, мы запекли в него множество блестящих монеток и прелестных безделушек. Говорят, тому, кто найдет что-нибудь в своей порции, улыбнется удача. Здесь двадцать четыре сюрприза, и каждому достанется по одному, если, конечно, Королева фей никого не обделит. С нее станется — ведь она изрядная шутница. Спросите у мистера Ника. Он вам скажет.

Ник тем временем пристально вглядывался в лица детей.

— Ах да! Я чуть было не забыл, — сказал Кухмейстер. — На этот раз сюрпризов двадцать пять. Тут еще есть маленькая серебряная звездочка. Она — волшебная или что-то вроде того, как утверждает мистер Ник. Так что будьте внимательны! Если вы обломаете об нее свои хорошенькие зубки, никакое волшебство вам не поможет. Но, как бы то ни было, будет занятно ее найти.

Кекс вышел на славу, и все сочли его безупречным. Правда, был он такой величины, что каждому досталось всего по одному, пусть и большому куску, хотя многие рассчитывали на добавку. То тут, то там дети находили у себя на блюде монетку или безделушку; кому-то досталась одна, кому-то две, а кому и ничего не досталось. Не всем везет одинаково, и от серебряной куколки на макушке Кекса тут ничего не зависит. Но вот весь Кекс был съеден, а никто так и не нашел Волшебной Звезды.

— Надо же! — сказал Кухмейстер. — Видать, она была вовсе и не серебряная. Может, она растаяла, а может, прав был мистер Ник — штука-то была волшебной и вернулась в свою Волшебную Страну. Очень нехорошо с ее стороны.

Он с ухмылкой посмотрел на Ника. Темные глаза Ника были серьезны, и он не улыбнулся в ответ.

Разумеется, это была Волшебная Звезда — в таких делах Ученик разбирался хорошо. А случилось с ней вот что: один из мальчиков проглотил ее, не заметив. Это был тот самый мальчик, который нашел у себя на тарелке серебряную монетку и отдал своей соседке Нелл. Нелл не нашла ничего и уже совсем была готова заплакать от огорчения. Мальчику тоже было занятно, что же случилось со Звездой, — он даже не догадывался, что носит ее в себе. Она совсем его не беспокоила, эта Звезда, потому что для того она и была сделана, чтобы оставаться незамеченной, пока не наступит ее час.

Пир Добрых Детей справлялся в середине зимы. Прошло время, наступил июнь, и ночи стали светлыми. Однажды мальчик проснулся на заре. Ему не спалось, потому что в этот день ему должно было исполниться десять лет. Он выглянул из окна: весь мир замер в непонятном ожидании. Легкий ветерок, свежий и напоенный запахами, шелестел в листве пробуждающихся деревьев. Затем возшло солнце и запели птицы, сперва далеко и тихо, затем все ближе и громче, а потом песня птиц накрыла мальчика с головой и тут же улетела дальше на запад, следом за покотившимся по небу солнцем.

— Совсем как в Волшебной Стране, — сказал он вслух. — Только там и люди поют, как птицы!

И с этими словами он запел песню высоким и чистым голосом, странную песню со странными словами на незнакомом языке. В тот же миг Звезда выскочила у него из горла и упала на ладонь. В ярких лучах солнца она сверкала чистым серебром, трепетала и подрагивала, словно собираясь улететь прочь. Сам не ведая зачем, мальчик приложил ладонь ко лбу, и Звезда впечаталась в его лоб, чтобы остаться там на долгие годы.

Односельчане не заметили этого, потому что Звезда, став частью лица мальчика, утратила свой блеск, хотя, если взглядеться попристальней, ее можно было различить. Зато блеск ее проник в его глаза, а серебро зазвучало в голосе, и голос стал необыкновенно хорош. С каждым годом этот голос делался все прекраснее, и стоило мальчику просто поздороваться с человеком, как у того становилось радостно на душе.

Вскоре мальчик стал известен на всю округу своим мастерством. Отец его был кузнецом, и сын пошел по его стопам, превзойдя вскоре родителя. «Кузнецов сын» — звали его, пока был жив отец, а когда отец умер, стали звать просто Кузнецом. Не было к тому времени равного ему мастера от Восточных Земель и до самых Западных Лесов. Все что угодно мог он выковать в своей кузнице; конечно, по большей части приходилось делать вещицы незамысловатые, но полезные — кухонную утварь, лемехи, плотнические топоры и тесла, засовы и щеколды, крюки и подковы, кочерги и ухваты. Сработаны они были прочно, на века, выходили ладными и удобными. Но иногда он брался за работу особую, себе в охоту, и делал тогда вещи живые, удивительные, сравнимые по изяществу с цветами и кружевом листвы, но при том прочные, как само железо, из которого были сделаны, — да что там! — прочнее самого железа. Никто не мог пройти мимо сделанной им решетки, не заглядевшись на нее, и никто не мог пройти сквозь сделанные им ворота, если те были заперты. Когда Кузнецу работа была в радость, он пел, и тогда все соседи бросали свои дела и сбегались к кузнице послушать песни.

Все его знали и полагали, что знают о нем всё. Многие были искусны в ремесле, как он, и трудились, как он, от зари до зари, да не всем была дана такая слава. Но самого главного не знал никто: Кузнецу открылась Волшебная Страна и стала ему знакома, насколько это возможно для нас, смертных. Слишком

много было в Вуттоне таких, как Нокс, чтобы говорить о Волшебной Стране с кем попало. Но для жены и детей Кузнеца это не было тайной. Женился он на Нелл, той самой Нелл, которой когда-то подарил серебряную монетку, а детей у него было двое: дочь Нэн и сын Нед. От них скрыться было невозможно: они видели, как сияла его Звезда, когда он возвращался вечером из своих одиноких странствий, длившихся порой не один день.

Когда Кузнец отправлялся куда-нибудь, иногда пешком, иногда верхом, односельчане полагали, что он уезжает по делам. Порой это действительно так и было, ведь надо же было развозить заказы, запастись углем и чугунными чушками. Он никогда не запускал хозяйство и был из тех, кто знает, как нажить денег на честный грош. Но часто у него были совсем другие дела, о которых ведали только жители Волшебной Страны. Там его знали и ждали, там ярко сияла его Звезда, охраняя от бед, грозящих смертным на опасных путях. Малое Лихо само обходило его стороной, а от Великого Лиха был он кем-то храним.

И хранителям своим он был благодарен, потому что скоро постиг, что чудеса Волшебной Страны небезопасны и не всякое Лихо можно одолеть силой смертного человека. К тому же в Волшебной Стране ему больше нравилось быть любопытствующим странником, а не грозным воином. Конечно, в мире людей он мог выковать доспехи, которые вошли бы в предания и возбуждали бы зависть королей, но в Волшебной Стране от земных доспехов мало толку. И может быть, именно поэтому ни разу не вышло из-под его молота ни копья, ни меча, ни даже оголовка стрелы.

Поначалу он безмятежно странствовал по луговинам и рощам Волшебной Страны, встречая только Малые Народцы и подобные им хрупкие создания, бродил по берегам мирных водоемов, в которых по ночам отражались неведомые созвездия, а на заре — пламенеющие вершины отдаленных горных хребтов. Иногда он посещал Волшебную Страну на несколько мгновений, только для того, чтобы полюбоваться отдельным цветком или деревом, но вскоре он стал отваживаться на дальние пути, и на этих путях он увидел такое, что сердце его переполнилось восторгом и ужасом столь сильными, что он не знал, как поведать об этом своим друзьям или сохранить в памяти, хотя сердце его ничего не забывало. Но и в памяти кое-что осталось из увиденных чудес и изведанных тайн.

Он путешествовал наудачу, не ведая дороги, в надежде скоро достичь границ Волшебной Страны — но высокие горы встали на его пути. Он попытался обойти их, и тогда тропа вывела его на пустынный берег. Перед ним расстиралось Море Безветренных Бурь; гигантские волны, подобные горам, с вершин которых рвалась пенная метель, катились из Замрачия и разбивались у его ног. На гребнях волн неслись белые корабли, возвращавшиеся со сражений на Черных Топях, неведомых людям. Он увидел, как один корабль был выброшен волной на берег. Роняя пену, волна откатилась беззвучно, а с корабля сошли на берег Эльфийские моряки. Они были грозны и высоки статью, нестерпимо сверкали их мечи и искрились наконечники копий, пронзительному свету были подобны их взоры. Внезапно они запели песню, прославляя свою победу, и сердце Кузнеца сковал ужас. Он рухнул на землю без чувств, а эльфы прошли мимо, даже не заметив его, и в горных теснинах долго еще гуляло эхо боевой песни.

Больше Кузнец никогда не посещал этот берег, обреченный на то, чтобы стать рано или поздно островом среди бушующего моря. Помыслы его обратились к горам, заслонявшим от него сердце Волшебной Страны. Однажды в пути его застиг густой туман, он потерялся в этом тумане и блуждал, пока туман не развеялся. И тогда Кузнец увидел кругом себя равнинные земли, над которыми царил Призрачный Курган, а на вершине этого кургана росло Дерево Короля. Дерево Короля касалось неба своей могучей кроной, и покрывали его листья, цветы и плоды бесчисленные, и ни один лист, ни один цветок, ни один плод не был сходен с другим.

Ему больше ни разу не удалось отыскать это Дерево, как он ни старался. Однажды, карабкаясь по склонам Внешних Гор в поисках Древа, Кузнец оказался в глубоком ущелье, на дне которого лежало озеро. Воды озера были недвижимы, даже легкая рябь не искажала их гладь, хотя дул свежий ветерок. Ущелье озарял багровый закатный свет, но это был не закат — это светилось само озеро. Кузнец взобрался на невысокую скалу, стоявшую на берегу, и посмотрел с нее вниз. Он увидел неизмеримую глубину, где языки нездешнего пламени сплетались и расплетались, словно морская трава, с которой играют подводные токи, и неведомые существа сновали взад и вперед. Изумившись, он подошел к кромке воды и

попытался войти в нее, но не смог, ибо это была не вода. Это было нечто прочнее камня и глаже стекла. Кузнец ступил на озерную гладь, поскользнулся и упал, и звук его падения эхо разнесло по берегам.

И в тот же миг ветерок обернулся ревущей Бурей, которая подхватила его, выбросила на берег и потащила вверх по отвесному склону ущелья. Кузнеца несло и крутило, как опавший лист; чудом он успел ухватиться за ствол березки, и тут Буря вцепилась в него, не желая отпустить добычу. Но березка согнулась до самой земли и спрятала путника в своих ветвях. А когда Буря унеслась прочь и он смог подняться с камней, то увидел, что Буря раздела березку донага. Березка рыдала, и чистые ее слезы дождем струились из сломанных ветвей. Он положил ладонь на ее белую кору и сказал:

— Будь благословенна, береза! Что я могу сделать для тебя, чем отблагодарить?

И ладонь его ощутила слова:

— Ты не можешь ничего. Уходи! Буря вышла на охоту. Ты же нездешний. Уходи и никогда не возвращайся!

Когда Кузнец выбрался из ущелья, он заметил, что лицо его все еще мокро от слез березы, а губы помнят их горький вкус. С тяжелым сердцем он воротился домой и долго после этого не посещал Волшебную Страну. Но желание проникнуть в ее глубь разгорелось в нем только пуще, и через некоторое время он уже не мог с собой совладать.

И вот наконец Кузнецу удалось отыскать проход во Внешних Горах. Он продолжил свой путь, но вскоре уткнулся во Внутренние Горы, которые были еще выше, еще круче и еще мрачнее, чем Внешние. Но и в них он отыскал проход, и после многих дней лишений, охваченный робостью, вышел из расщелины и бросил взор на Вечноутреннюю Долину (хотя имени ее он, конечно, не знал). Зелень той долины настолько свежее зелени Внешних Земель, насколько зелень Внешних Земель свежее цветения нашей весны, а воздух там так прозрачен, что, когда маленькие крапивники щебечут на одном конце долины, с другого конца можно увидеть трепетание розовых язычков в открытых птичьих клювиках.

Внутренние склоны были пологими, и струились по ним бесчисленные источники, и под плеск воды Кузнец с радостью в сердце зашел в низ. Лишь только он ступил на травы долины, раздалось эльфийское пение, и у реки, на лугу, покрытом белыми лилиями, появилось множество танцующих девушек. Проворство и изящество плясунь, неповторимое чередование движений очаровали Кузнеца, и он направился к хороводу. Пляска тут же кончилась, и из круга выступила навстречу Кузнецу одна из плясунь, длинноволосая, юная, облаченная в развевающуюся тунику.

— Не слишком ли дерзок ты стал, Звездоликий? — спросила она Кузнеца, смеясь. — Уже не страшен тебе гнев Королевы? Или она сама пригласила тебя?

Кузнец покрылся краской стыда, потому что девушка прочитала его сокровенные мысли. До сих пор он полагал, что Звезда делает его желанным повсюду, но только сейчас понял, что заблуждался. Но тут девушка улыбнулась и продолжила свою речь:

— Что же, если уж пришел, то придется тебе танцевать со мной.

С этими словами она взяла его за руку и ввела в круг танцующих.

Они танцевали недолго, но и этого ему хватило, чтобы ощутить себя необыкновенно сильным и гибким, как никогда счастливым — и все это благодаря ее присутствию. Но кончился танец, снова замер хоровод, и она наклонилась, чтобы сорвать белую лилию, своими руками вплела цветок в волосы Кузнеца и сказала:

— А теперь, прощай! Может, мы и свидимся снова, если на то будет королевская воля.

Кузнец сам не помнил, как добирался домой в тот раз, потому что пришел в себя он только уже перед самым Вуттоном. Он ехал по знакомым дорогам через соседние села, и во многих люди смотрели на него в изумлении и провожали взглядом до самой околицы. Обрадованная дочь выбежала ему навстречу на крыльцо — отец вернулся раньше, чем обещал, и все же она успела его заждать.

— Где ты был, папа? — спросила она. — Почему так ярко сияет твоя Звезда?

Стоило ему переступить порог, как Звезда померкла вновь. Тогда Нелл взяла его за руку, подвела к очагу и сказала:

— Муж мой любимый, где ты странствовал и что видел? В твоих волосах цветов...

Она взяла цветок и положила его на раскрытую ладонь. Цветок был там, и в то же время казалось, что он где-то страшно далеко. Вечерело, в комнате стало темно, и в этой темноте цветок сиял так ярко, что тени заплясали на стенах. Тень мужа, что стоял рядом с ней, склонив к цветку голову, была огромной.

— Ты совсем как великан, папа! — сказал сын Кузнеца, который до этого не проронил ни слова.

Этот цветок не увял, и свет его не померк. Семья Кузнеца хранила его в тайне, как сокровище. Кузнец сам сделал потайную шкатулку, и в ней цветок сберегали на протяжении многих поколений. Те в его роду, кто наследовал ключ, порой открывали шкатулку, чтобы полюбоваться, но шкатулка, однажды открытая, затем сама захлопывалась, и никому не дано было предугадать, как долго она останется открытой.

А время в деревне не стояло на месте. Кузнецу не исполнилось еще и десяти лет, когда на празднике ему досталась Звезда. Прошло двадцать четыре года, и справили новый Пир. К тому времени Эльфи уже стал Кухмейстером и взял себе нового ученика по имени Харпер. Еще через двенадцать лет после этого Кузнец обрел Вечноживой Цветок. Потом прошло еще двенадцать лет, и наступило время очередного зимнего Праздника.

Но пока была осень. Осенним днем Кузнец медленно брел по лесам Внешних Земель. Золотилась листва на деревьях, и землю уже покрыл красный ковер. За спиной у Кузнеца слышались шаги, но он ничего не замечал — так глубоко погрузился в свои мысли.

В этот раз он явился, потому что его позвали, и путь его обещал быть долгим, как никогда раньше. В пути его оберегали и направляли, но сам путь не запомнился — слишком часто приходилось идти сквозь туман или во мраке Тени. И вот вышел он на какое-то высокое место под ночным многозвездным небом и предстал там перед лицом Королевы. Не было на ее голове короны и не восседала она на троне, а просто стояла перед Кузнецом в своем величии и славе, окруженная грозным воинством. Сверкали мечи, и горели, как звезды, наконечники копий, но Королева была выше самого высокого из воинов, и над челом ее сияло белое пламя. Она сделала Кузнецу знак приблизиться, и он подошел к ней, дрожащий и испуганный. Затем прозвучала труба, свита исчезла, и Кузнец с Королевой остались вдвоем.

Он стоял перед ней в растерянности, не решаясь преклонить колени, зная, что у такого низкородного, как он, даже этот жест вышел бы неуместным. Кузнец посмотрел Королеве в лицо, и она ответила ему пристальным взглядом, и тут Кузнец изумился, потому что узнал ее. Это с ней он танцевал в Зеленой Долине, это под ее легкой стопой расцветали лилии. Королева улыбнулась, заметив смущение Кузнеца, и подошла к нему. И вели они долгие, бессловесные речи, потому что все мысли Королевы стали открыты Кузнецу. То, что она ему поведала, было и радостным, и печальным. Затем память Кузнеца обратилась к событиям прожитой жизни и повела его назад по времени, пока не вспомнился тот праздник, на котором он обрел звезду, и не вспомнилась крошечная танцующая фигурка с волшебной палочкой в руке. Охваченный стыдом, отвел глаза Кузнец от прекрасной Королевы.

Но она только рассмеялась в ответ тем же смехом, который он слышал в Вечнотренней Долине.

— Не печалуйся, Звездноликий, — сказала она. — И не стыдись за своих односельчан. Пусть они лучше играют в куклы, чем забудут совсем о Волшебной Стране. Одним даны сны, другим дана явь. В тот день сердце твое возжелало увидеть меня, и я выполнила желание твоего сердца. Большого я дать тебе не могу. Но я сделаю тебя своим посланником. Если ты встретишь Короля, скажи ему: «Час пробил. Дай ему право выбора».

— Но, Повелительница, — сказал Кузнец. — Где же он, Король?

Этот вопрос Кузнец часто задавал обитателям Волшебной Страны, но единственным ответом было: «Он не сказал нам».

И Королева ему ответила:

— Если он не сказал тебе, позволь и мне промолчать. Скажу только, что он — великий странник, и его

можно встретить в самых неожиданных местах. А теперь преклони колена.

Кузнец встал перед Королевой на одно колено, а она возложила руку ему на чело, и великое спокойствие овладело Кузнецом. Ему казалось, что он в один и тот же миг пребывает и в Волшебной Стране, и в Мире Людей, смотрит на эти миры изнутри и снаружи, испытывая при этом и горечь расставания, и радость обладания, и примирение со всем сущим. Затем этот миг прошел. Кузнец поднял голову и вскочил на ноги. Небо уже окрасилось зарей, и побледнели звезды. Королева исчезла. Далеко в горах эхом отозвалась труба. Вокруг не было ни души, и Кузнец понял, что выбрал горечь расставания.

Место, где он повстречал Королеву, осталось далеко позади, и вот Кузнец брел среди листопада, а шаги все звучали у него за спиной. Вот они стали ближе, и чей-то голос спросил:

— Не по пути ли нам, Звездоликий?

Кузнец очнулся от забытья и увидел рядом с собою странника. Это был высокий человек с легкой и быстрой поступью, одетый в темно-зеленый плащ с капюшоном, скрывавшим лицо. Кузнец был озадачен, потому что только обитатели Волшебной Страны звали его этим именем, но этот человек был вроде бы не из них, хотя Кузнец припоминал смутно, что они уже где-то встречались.

— А каков твой путь? — переспросил Кузнец странника.

— Я возвращаюсь к себе в деревню, — ответил тот. — Кажется, нам по пути.

— Видно, так, — сказал Кузнец. — Что же, пойдем вместе. Да, кстати, перед расставанием Королева дала мне поручение, но вот вскоре мы выйдем за пределы Волшебной Страны, и я не знаю, вернусь ли я в нее когда-нибудь. Может, тебе туда будет дорога?

— Конечно. В чем состоит поручение?

— Это послание, но оно — для Короля. Доведется ли тебе его встретить?

— Да. Каково же послание?

— Повелительница просила меня сказать Королю следующие слова: «Час пробил. Дай ему право выбора».

— Я все понял. Можешь не беспокоиться.

И они проследовали дальше в молчании, только листья шуршали у них под ногами. Но через несколько миль, все еще в пределах Волшебной Страны, странник остановился, посмотрел Кузнецу в лицо и откинул свой капюшон. И тогда Кузнец узнал его. Это был Эльфи, Ученик по прозвищу Ник, как про себя все еще называл его Кузнец, вспоминая тот день, когда в Ратуше Ник держал острый нож для разрезания Кекса и огоньки свечей сверкали в его зрачках. По годам он должен был состариться, ведь сколько лет был он Кухмейстером, но здесь, под сенью Волшебного Леса, выглядел юным, как тот давнишний Ник, только осанка его стала величественной. Не был он ни седым, ни изборожденным морщинами, и глаза его были лучистыми, как у юноши.

— Мне бы хотелось побеседовать с тобой, Кузнец, Кузнецов сын, прежде чем мы вернемся в твою страну, — молвил Ник.

Кузнец удивился. Ему и самому хотелось побеседовать с Эльфи, да никак не удавалось. Эльфи всегда радушно здоровался с Кузнецом и смотрел на него с приязнью, но бесед один на один явно избегал. Он и сейчас смотрел на Кузнеца с добротой во взгляде, но вдруг поднял руку и указательным пальцем коснулся Звезды. Свет в его глазах померк, и Кузнец понял, что свет этот был лишь отражением света Звезды, которая ярко сияла, но погасла от прикосновения. В изумлении он отпрянул.

— Не полагаешь ли ты, Кузнец, — сказал Эльфи, — что пора тебе с ней расстаться?

— А твое какое дело, Кухмейстер? Почему это я должен? Разве она — не моя? Она ко мне сама пришла, почему бы мне не оставить ее себе на память?

— То, что тебе было подарено, храни сколько хочешь. Но есть вещи, которые человеку не дарятся и не

переходят по наследству. Они даются лишь на время. Ты, пожалуй, и не догадывался, что она может понадобиться кому-нибудь еще. Тем не менее это так. Час пробил.

Кузнец задумался. Он был человеком нежадным и всегда поминал Звезду с благодарностью за все, что она ему дала.

— Что же мне делать? — спросил он. — Должен ли я отдать ее одному из властителей Волшебной Страны? Может быть, Королю?

Он сказал это, потому что тайно искал повода посетить еще раз Волшебную Страну.

— Ты мог бы отдать ее мне, — сказал Эльфи, — но боюсь, что это будет для тебя слишком большой жертвой. Лучше пойдем-ка ко мне в кладовую и ты положишь ее обратно в тот ларец, куда положил ее твой дедушка.

— Об этом я не знал, — удивился Кузнец.

— Никто этого не знал, кроме меня. Никого больше рядом не было.

— Тогда, наверное, тебе ведомо, и как он нашел Звезду и почему он положил ее в ларец?

— Он принес ее из Волшебной Страны — об этом ты и сам мог бы догадаться. Он спрятал ее в надежде, что ты, единственный его внук, когда-нибудь найдешь ее. Он рассказал мне об этом, рассчитывая на мою помощь. Это был отец твоей матери. Не знаю, что она тебе о нем рассказывала, но вряд ли многое. Его звали Рейдер-Путешественник, потому что в молодости он много путешествовал и многое успел повидать. Потом он осел в Вуттоне и стал Кухмейстером, но ушел из деревни, когда тебе было всего два года, и на его место, за неимением лучшего, выбрали этого бедолагу Нокса. Как мы и рассчитывали, в свое время стал Кухмейстером и я. В этом году мне снова предстоит стряпать Большой Кекс. На памяти людей не было еще Кухмейстера, который делал бы это дважды. Я хочу положить твою Звезду в Большой Кекс.

— Хорошо, возьми ее, — сказал Кузнец и посмотрел Кухмейстеру в глаза, пытаясь проникнуть в его мысли. — Ты знаешь, кто ее найдет?

— Что тебе до того?

— Просто хотелось бы знать. Мне было бы легче с ней расстаться, если бы я знал. На беду, сын моей дочери еще слишком мал.

— Может быть, может быть. Поживем — увидим.

Больше они не проронили ни слова и продолжали путь в молчании до самых пределов Волшебной Страны. Дойдя до Вуттона, они вошли в Ратушу. Это было на закате, и через просторные окна лился алый свет. Позолота на резной парадной двери светилась, а под потолком, в витражных окнах, маячили причудливые многоцветные фигуры. Незадолго до того Ратушу вновь выстеклили и вызолотили, хотя перед этим и поспорили немало на Общинном Сходе. Кое-кто называл позолоту «дурным новшеством», однако умные головы понимали, что это не что иное, как возврат к обычаю. Но, как только Кухмейстер сказал, что это не будет стоить общине ни гроша, поскольку он платит из своего кармана, сразу воцарилось единодушие. Кузнецу никогда раньше не приходилось видеть эту новую отделку в предзакатном свете, так что он стоял, разинув рот и позабыв, с чем пришел.

Эльфи тихо взял его за руку и провел к маленькой дверце. Открыв дверцу, он впустил Кузнеца в кладовую. Там он зажег длинную свечу, открыл шкаф и извлек из него черный ларец. Ларец недавно почистили, навели блеск и украсили серебряной филигранью.

Кухмейстер открыл крышку и показал ларец Кузнецу. Только один ящичек был пуст — все остальные были полны свежих пряностей, таких душистых, что у Кузнеца потекло из глаз. Тогда он приложил руку ко лбу, и Звезда с готовностью легла ему на ладонь. В этот же миг он почувствовал боль, такую острую, что слезы рекой хлынули по его лицу. Хотя Звезда сияла как никогда ярко, он видел вместо нее лишь размытое и далекое пятно света.

— Я ничего не вижу, — сказал Кузнец. — Положи ее в ящичек сам.

Он протянул руку, и Эльфи взял с его ладони Звезду и положил ее в ящичек. Звезда сразу погасла.

Не проронив ни слова, Кузнец повернулся и начал на ощупь искать путь наружу. На пороге он снова прозрел. Уже наступил вечер, и в небе сияла яркая луна, а под ней — звезда вечерняя. Он залюбовался было на их красоту, но чья-то рука легла ему на плечо, и Кузнец очнулся.

— Ты отдал мне Звезду по собственной воле, — сказал Эльфи. — Если ты все еще желаешь знать, кому достанется Звезда, я скажу тебе.

— Скажи.

— Она достанется тому, на кого укажешь ты.

Кузнец вздрогнул.

После некоторого молчания он молвил нерешительно:

— Не знаю, что скажешь ты про мой выбор, потому что нет у тебя особых причин любить Ноксову родню. Я знаю, что его маленький правнук Тим Нокс из Таунсенда зван на Праздник... Те Ноксы, которые из Таунсенда, они совсем другие...

— Я знаю. У мальчика мудрая мать...

— Да, это сестра моей Нелл. Но Тим мне нравится не по родству. Хотя, конечно, можно и другого выбрать.

Эльфи улыбнулся.

— И вместо тебя можно было другого выбрать. Но, скажу тебе, выбор наш совпадает.

— Зачем тогда ты просил меня выбирать?

— Такова была воля Королевы. Если бы ты назвал другого, мне бы пришлось уступить.

Кузнец пристально посмотрел на Эльфи и низко тому поклонился.

— Теперь мне ясно, сир! — сказал Кузнец. — Мы не заслужили этой чести.

— Ты вел себя достойно, — ответил Эльфи. — Ступай с миром.

Когда Кузнец добрался до своего дома на западной окраине деревни, он увидел своего сына на пороге кузницы. Сын только что ее запер, исполнив дневной урок, и теперь вглядывался в белую пыль дороги, по которой обычно возвращался из странствий отец. Заслышав шаги, он удивился, когда понял, что они звучат со стороны Вуттона, и побежал отцу навстречу. Нежно обнял он отца, радуясь его возвращению.

— Я ждал тебя со вчерашнего дня, папа! — сказал он.

Вглядевшись в лицо Кузнеца, он добавил:

— У тебя такой усталый вид! Верно, много пришлось шагать?

— Порядком, сынок. От Утренней Зари и до самого Заката.

Они вместе вошли в дом. Внутри было темно, тускло мерцал очаг. Сын зажег свечи и присел рядом с отцом. Они не говорили, потому что Кузнец был опечален душой и измучен телом. Наконец он огляделся, словно приходя в себя.

— Почему больше никого нет? — спросил он.

Сын посмотрел на него с упреком:

— Неужели ты не помнишь, что сегодня исполняется два года сыночку Нэн? Мама ушла к ним, в Малый Вуттон. Они и тебя сегодня ждали.

— Да, верно. Я должен был прийти, но попал в такой переплет, что обо всем позабыл. Не обо всем, однако. Про маленького Тима-то я помню.

Он извлек из-под куртки мешочек из мягкой кожи.

— Я тут ему подарок принес. Не Бог весть что, конечно, — безделица, как говорит старик Нокс, но ведь она все же из Волшебной Страны, Нед!

Из мешочка Кузнец достал серебряную вещицу, очень похожую на тонкий стебелек лилии с тремя хрупкими цветками-колокольчиками на верхушке. Колокольчики они и были, потому что стоило потрясти стебелек, как цветы отзывались разноголосым звоном. От тихого ясного их звука замерцало пламя свечей, а затем вспыхнуло на миг нестерпимо белым огнем.

Нед смотрел на чудо изумленными глазами.

— Дай мне посмотреть, папа! — сказал он и осторожно взял вещицу из отцовых рук.

— Какая тонкая работа... — выдохнул он, вглядевшись получше. — Да еще и пахнет-то как! И запах знакомый, только вот никак не вспомню, на что же это похоже...

— Как звук умолкнет, так и начинают пахнуть цветы. Да не держи ты ее так бережно! Это же для малыша сделано, не сломается, не бойся. И все продумано, чтобы не поцарапался, если заиграется.

Кузнец положил вещицу обратно в мешочек и убрал мешочек в карман.

— Завтра я сам схожу в Малый Вуттон, — сказал он. — Надеюсь, Нэн и Том ее, да и твоя мать тоже зла на меня не держат. А малыш Тим, тот еще дней не считает... и недель не считает, и месяцев, и годов...

— Это верно. Ты иди, папа. Я бы тоже с тобой отправился, да вот времени нет. Сегодня я не пошел не потому, что тебя ждал. Просто с работой запозднил. Много ее сейчас и с каждым днем все прибывает.

— Нет уж, Кузнецов сын! Пора и тебе отдохнуть. Хотя и величают меня уже дедом, руки мои еще не ослабели, им только работу подавай. А в две пары рук мы с любой работой управимся. Потому что странствовать мне больше не суждено. Особенно в дальних краях, если ты понимаешь, о чем это я, сынок.

— Неужто это правда, отец? То-то я смотрю, что Звезда погасла... Какая жалость!

Он взял руку отца в свою.

— Горько мне, отец, но, может, это на пользу нашему дому. Ведь теперь у тебя будет время научить меня тому, чего я еще не умею. Я веду речь не только о кузнечном деле, Мастер.

Они поужинали вместе, а потом долго еще сидели за столом, потому что Кузнец рассказывал сыну про последнее путешествие в Волшебную Страну и про многое-многое другое. Только о том, кто станет новым обладателем Звезды, он не проронил ни слова.

И в конце беседы сын посмотрел на отца и сказал:

— Отец, помнишь тот день, когда ты принес Вечноживой Цветок? Я еще сказал, что тень твоя — это тень великана. Тень мне не солгала. Ведь ты танцевал с самой Королевой. И все же ты уступил Звезду по собственной воле. Надеюсь, она достанется достойному. Он должен быть тебе благодарен.

— Он не будет знать, чей это дар. Некоторые дары можно давать только так. Ну да ладно. Что было, то прошло, а мне пора назад, к молоту да клещам...

Как это ни странно, старый Нокс, хоть и посмеялся над Учеником, но сам тот случай со Звездой никак не мог выкинуть из головы, даром что столько времени прошло. Нокс сильно разжирел и стал ленивым. На покой он ушел в шестьдесят лет (а это в Вуттоне не считалось стариковским возрастом). Теперь Нокс завершал свой восьмой десяток. Хотя уже стал он толще бочки, а все был обжора и сладкоежка. Когда он не ел, то сидел в кресле у окна своего домика, а в солнечные дни кресло ставили у открытой двери. Он был, как и раньше, болтлив и всегда имел что сказать по любому поводу. Но больше всего в последнее время старик любил рассказывать про то, как испек Большой Кекс (он уже полностью уверовал в то, что это была его собственная работа). Кекс этот ему даже снился.

Иногда Ник приходил к Ноксу, чтобы перекинуться парой слов. Нокс по-прежнему звал его Ником, а Ник по-прежнему звал Нокса Мастером, что нравилось Ноксу, хотя, по правде говоря, был Ник для Нокса не самым приятным собеседником.

Однажды Нокс, плотно пообедав, дремал в своем кресле у открытой двери. Проснулся он от пристального взгляда Ника, который стоял рядом.

— Привет! — сказал Нокс. — Рад тебя видеть. Знаешь, я тут опять об этом Кексе думаю. Что ни говори, а это был мой лучший Кекс. Ты его, часом, не забыл?

— Конечно нет, Мастер. Я его прекрасно помню. Но почему вы так переживаете? Отменный был Кекс, все его хвалили.

— Еще бы, испек-то его я. Но я не из-за него переживаю. Безделушка та, звезда или как ее там — вот что я понять не могу. Куда она подевалась? Растаять она не могла — это ясно. Я сказал, что она растаяла, чтобы дети не перепугались. Я все думаю — может, кто ее проглотил? Опять-таки, навряд ли. Монетку еще можно проглотить, но звезду... Она хоть и маленькая, но с остренькими такими зубчиками...

— Мало ли из чего она была сделана, Мастер. Не стоит так переживать. Проглотил ее кто-нибудь, да и все тут.

— Да, но кто? Память у меня цепкая, а этот день в ней особо засел. Я даже всех детей по именам помню. Дай-ка поразмыслить... Пожалуй, ее проглотила Мельникова дочка — Молли. Она всегда была обжорой и глотала куски не прожевывая. Теперь-то толста, что твой куль с мукой!

— Вы правы, Мастер, некоторые люди совсем есть не умеют. Но в тот вечер Молли была внимательна и нашла целых две монетки.

— Неужто? Ну, тогда сын бондаря — Гарри. Сам как бочонок, а рот как у лягушки. Это, верно, был он.

— По-моему, Мастер, Гарри был славный мальчишка. А что рот большой, так только потому, что всем улыбался. К тому же я отлично помню, что, перед тем как есть, он раскрошил свой кусок на маленькие кусочки и все равно ничего не нашел.

— Тогда это дочь суконщика — Лили. Маленькая такая бледная девчонка. Она в детстве наглоталась булавок и хоть бы хны.

— Нет, Мастер. Она съела только глазурь и корку, а мякиш отдала соседу.

— Ну, раз так, то я сдаюсь. И кто же это был? Ты, видать, все глаза тогда проглядел, если только не сочиняешь.

— Ее проглотил Кузнецов сын, Мастер, и, по-моему, это пошло ему на пользу.

— Да ты меня дурачишь! — рассмеялся старый Нокс. — Слушать тебя смешно! Кузнецов сын тогда был мальчик тихий, спокойный. Теперь, я слышал, певуном стал, но это не беда, если в остальном человек порядочный. Он из тех, кто жует дважды, глотает одинажды, если ты понимаешь, что я сказать хочу.

— Отлично понимаю, Мастер. Но это был он, хотите — верьте, хотите — нет. К тому же какая сейчас разница? Может быть, вам станет легче, если я скажу, что Звезда вернулась обратно в ларец. Вот она!

Нокс только сейчас заметил, что на Нике был темно-зеленый плащ, которого он никогда не видел на нем прежде. Из-под складок этого плаща Ник извлек черный ларец и открыл его перед носом у старого повара.

— Звезда здесь, Мастер, в углу.

Старый Нокс зачихал и закашлял, но в ларец заглянул.

— И верно! — сказал он. — Очень похожа.

— Это она самая, Мастер. Я сам положил ее туда несколько дней тому назад. А этой зимой я снова положу ее в Большой Кекс.

— Вот оно что... — сказал Нокс, покосившись на Ника, и так захохотал, что его жиры заходили ходуном, как студень. — Вот это дела! Двадцать четыре ребенка, двадцать четыре сюрпризка, а звездочка-то вроде как лишняя, вот ты ее и припрятал до лучших времен. Ты всегда был парень не промах; скажу даже, ловкач. И бережливый — крошки масла зря у тебя не пропадало. Ха-ха-ха! Вот оно как все было — и как это я не догадался. Ну теперь-то все яснее ясного. Можно и вздремнуть спокойненько.

Он устроился поудобнее в кресле.

— Не спускай глаз со своего ученика, а то и тебя разыграют. На всякого мудреца довольно простоты!

И с этими словами он закрыл глаза.

— Прощай, Мастер! — сказал Ник, с таким грохотом захлопнув ларец у того под носом, что старый

повар открыл глаза.

— Нокс! — продолжал Ник. — Мудрость твоя так безгранична, что я всего лишь дважды осмелился поучать тебя. Первый раз — когда я сказал тебе, что Звезда эта из Волшебной Страны, второй раз — когда я сказал, что она досталась Кузнецу. Оба раза ты только посмеялся. Теперь я ухожу, но прежде, чем уйти, я тебе скажу вот что. И вряд ли тебе это покажется смешным. Ты — старый тщеславный мошенник, Нокс, к тому же ленивый и жирный. Я всегда все делал за тебя. Ты всему выучился у меня и даже спасибо не сказал. Одному только ты научиться никак не мог — почтению к Волшебной Стране, да еще — вежливости. Ты даже попрощаться по-человечески не можешь.

— Что до вежливости, — огрызнулся Нокс, — то уж куда как невежливо срамить людей, которые тебя будут постарше да поважнее. Подавись ты своей Волшебной Страной и проваливай куда знаешь. Да забери себе мое «до свидания», если ты без этого не можешь! — (Тут Нокс притворно всплеснул руками.) — А своим друзьям-чародеям скажи, чтобы они не прятались на Кухне, а приходили сюда, а то я на них поглядеть хочу. Может, кто-нибудь из них взмахнет волшебной палочкой и сделает меня обратно худым. Тогда я, поди, и поверю в чудеса!

И он снова принялся хохотать.

— Не соблаговолите ли вы выслушать, что вам скажет Король Волшебной Страны? — раздалось в ответ, и, к ужасу Нокса, Ник начал расти у него на глазах. Плащ слетел с его плеч, и оказалось, что под плащом он одет, как обычно Кухмейстеры одеваются на Пир, но только белые одежды его мерцали и искрились, а чело украшал огромный бриллиант, сверкавший ярче самых ярких звезд. Молодо было его лицо, и непреклонен был его взгляд.

Он молвил:

— Старик, уж ты-то никак не старше меня. А кто из нас двоих важнее, это мы сейчас увидим. Ты часто хихикал у меня за спиной, решишься ли ты принять мой открытый вызов?

Он шагнул к Ноксу, тот задрожал и отпрянул. Он хотел было позвать на помощь, но обнаружил, что потерял от страха голос.

— Сир! — хрипло прошептал он. — Не делайте мне зла! Я старый больной человек.

Лицо Короля смягчилось.

— Увы! Наконец-то ты сказал правду. Не бойся! Я не сделаю тебе зла. Но неужели ты полагаешь, что Король Волшебной Страны не выполнит на прощание твоего желания? Твое желание сбудется, прощай! Сейчас ты уснешь.

Король вновь накинул на плечи свой плащ и удалился в сторону Ратуши. Не успел Король скрыться из виду, как выпученные глаза старого повара сами собой захлопнулись, и он захрапел.

Нокс проснулся только на закате. Он протер глаза и зябко поежился, потому что была уже осень и с темнотой быстро холодало.

— Уф, ну и сон мне приснился! — вымолвил он. — Не надо есть на обед жареную свинину.

И с того дня он так стал бояться кошмаров, что ограничил себя в еде самым необходимым. Он скоро истощал, да так, что не только одежда, но и собственная кожа висела на нем мешком. Дети прозвали его старым Мешком-С-Костями. Вскоре он обнаружил, что снова может ходить по деревне, опираясь на палку. Жил он еще долго, не в последнюю очередь благодаря тому, что перестал обжорствовать. Говорят, ему недавно исполнилось сто лет. Это — единственное его несомненное достижение. Но до последних дней он рассказывал свой сон каждому, у кого хватало терпения его слушать, неизменно заканчивая рассказ следующими словами:

— Конечно, это можно назвать предупреждением, но по правде говоря — дурацкий сон и не больше того. Король Волшебной Страны — ишь чего выдумал. Да у него даже волшебной палочки не было! А когда люди едят меньше, они худеют, и это — в порядке вещей. Давайте рассуждать здраво — никаких чудес не бывает!

Настало время для Пира Двадцати Четырех. Кузнец был приглашен на Пир петь песни, а Кузнецова жена — помогать управляться с детьми. Кузнец смотрел, как мальчики и девочки плясали и пели, и удивлялся, насколько дети в деревне стали красивее и смысленнее, чем товарищи его детства. «Интересно, чем Эльфи занимался в свободное время?» — промелькнуло у Кузнеца в голове. Каждый из детей казался достойным Звезды, но глаза Кузнеца, разумеется, были прикованы к Тиму, пухленькому мальчишке — неуклюжему танцору, но прекрасному певцу. За столом он сидел, не проронив ни слова, глядя, как затачивают нож и режут Кекс. И вдруг сказал:

— Дорогой Кухмейстер, отрежьте мне совсем маленький кусочек. Я уже обедал и много съесть не смогу.

— Ладно, Тим! — сказал Эльфи. — Я отрежу тебе особый кусочек. Ты его съешь и даже не заметишь.

Кузнец видел, что Тим ест свою порцию медленно, но с видимым удовольствием. Правда, не найдя в тарелке никакого сюрприза, он несколько огорчился. Но вскоре в глазах его засиял свет, он рассмеялся, повеселел и стал напевать вполголоса. Затем встал из-за стола и принялся танцевать с изяществом, которого за ним прежде не замечали. Остальные дети тоже радостно засмеялись и захлопали в ладоши.

«Все в порядке, — подумал Кузнец. — Значит, ты теперь — мой наследник. Ах, как хотел бы я знать, в какие дивные места заведет тебя твоя Звезда! Бедолага Нокс. Впрочем, он никогда не узнает, что за срам приключился в его семье...»

Нокс, конечно же, не узнал, что нашел Тим. Зато он узнал, что сказал Кухмейстер, и это немало его порадовало. В конце Пира Кухмейстер попрощался с детьми и со всеми присутствующими.

— Прощайте все, — сказал он. — Через день-другой я уеду от вас. Мастер Харпер уже готов занять мое место. Он очень хороший повар и к тому же ваш земляк. А мне пора домой. Думаю, вы не будете слишком скучать по мне.

Дети очень мило попрощались с Кухмейстером и от души поблагодарили его за Кекс. Только маленький Тим взял его за руку и печально сказал:

— Как жалко!..

Что бы ни говорил Эльфи, а в нескольких домах в Вуттоне без него очень скучали. Его друзья, и перво-наперво Харпер и Кузнец, сильно горевали, когда он ушел, и в память о нем договорились всегда обновлять позолоту в Ратуше. Но большинство, как это водится, было довольно. На Эльфи они уже насмотрелись, и теперь им хотелось чего-нибудь новенького. А старый Нокс, тот просто стукнул палкой об пол и сказал напрямик:

— Наконец-то убрался на радость мне. Хитрый был и шустрый, а я таких не жалую.

ФЕРМЕР ДЖАЙЛЗ ИЗ ХЭМА

Перевод А. Ставиской

*Aegidii Ahenobarbi Julii Agricole de Hammo Domini de
Domito Aule Draconarie Comititis Regni minimi Regis et
Basilei mira facinora et mirabilis exortus,*

или по-нашему:

*Возвышение и удивительные приключения фермера
Джайлза, лорда-хранителя Ручного Дракона,
графа-смотрителя Драконария, повелителя
Малого Королевства*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дошедшие до нас сведения об истории Малого Королевства крайне скудны и отрывочны. Правда, по чистой случайности сохранился рассказ о его основании, вернее, даже не рассказ о подлинных событиях, а скорее легенда. Это, очевидно, какая-то поздняя версия, и содержит она много небылиц, почерпнутых не из надежных источников, а из народных песен, на которые автор неоднократно ссылается. Для него излагаемые события — дела давно минувшего прошлого, но, судя по всему, сам он был жителем Малого Королевства. Об этом говорят и его познания (хотя и весьма неглубокие) в географии именно данной страны, но как только речь заходит о землях, лежащих за пределами ее южных, северных и западных границ, тут он выказывает себя полнейшим профаном.

Причина, побудившая нас издать это весьма любопытное сочинение в переводе с островной жаргонной латыни на современный английский язык, кроется в том, что оно приподнимает завесу над одним из самых темных периодов британской истории и заодно проливает свет на происхождение ряда названий тамошних мест. Не исключено, что некоторых читателей заинтересуют сама личность главного героя и его удивительные приключения.

Из-за скудости имеющихся у нас сведений трудно очертить временные и пространственные границы Малого Королевства. Много воды утекло с той поры, как Брут высадился на Британских островах, — после этого не раз сменялись королевства и стирались с карты царства. Локрин, Камбр, Альбанак положили начало бесчисленным дальнейшим переделам; суетное желание любой ценой добиться независимости, с одной стороны, и непомерная жадность монархов, стремящихся расширить свои владения, с другой, вызвали, как утверждают историки артуровского времени, этот бесконечный калейдоскоп войн и мира, горестей и радостей. То была эпоха шатких границ, когда ничего не стоило неожиданно возвыситься и так же легко пасть. Народным сказителям, бардам все это давало богатейший материал и привлекало благодарных слушателей. Очевидно, к этому затянувшемуся надолго периоду истории, примерно после царствования короля Коля, но еще до появления Артура и Семи Королевств, можно отнести описываемые здесь события; местом же действия служила долина реки Темзы и горы Уэльса на северо-западе.

Столица Малого Королевства, по всей видимости, находилась, как и наша, в юго-восточной оконечности острова, однако пределы земель Королевства представляются весьма смутно. Очевидно, они

на западе никогда не распространялись далеко вверх по течению Темзы, а на севере не доходили дальше Отмура. Восточные рубежи очертить еще труднее. Правда, в дошедших до нас фрагментах легенды о Георгии, сыне Джайлза, и его паже Суоветаврили (Суэте) имеются указания на то, что в Фартингоу одно время держали аванпост (на случай нападения Срединного Королевства). Но — это все не имеет прямого отношения к повествованию, которое мы приводим без изменений и дополнительного комментария, заменив, однако, для удобства пышное название более простым и коротким — «Фермер Джайлз из Хэма».

Фермер Джайлз из Хэма

Жил в самом сердце острова Британия человек по имени Эгидиус де Хаммо. Полностью его звали Эгидиус Агенобарбус Юлиус Агрикола де Хаммо — в те далекие, теперь уже незапамятно далекие времена, когда остров, ко всеобщему удовольствию, был разделен на множество мелких королевств, на имена не скупилась. У людей было больше досуга, да и народу в те дни было поменьше, а значит, и легче было прославиться. Те времена, однако, прошли, и впредь своего героя я буду называть попросту — фермер Джайлз из Хэма^[1]. У фермера была ярко-рыжая борода, а Хэм был всего-навсего деревней, но в ту пору деревни еще сохраняли свой независимый дух и очень этим гордились.

У фермера Джайлза был пес по имени Гарм^[2]. Собакам приходилось довольствоваться короткими кличками на родном языке, так как мудреные латинские имена приберегали для хозяев. Гарм не знал даже собачьей латыни, но зато, как и все деревенские собаки, прекрасно владел уличным жаргоном, который и пускал в ход всякий раз, когда нужно было похвалиться, кого-нибудь запугать или же, наоборот, улестить. Пугал он, главным образом, бродяг и нищих, бахвалился перед своими братьями-псами, а подхалимничал перед хозяином. Хозяином он гордился, но в то же время и побаивался его — Джайлз мог кого хочешь застрашать, а если понадобится, умел и прихвастнуть не хуже Гарма.

В те дни никто никуда не торопился, да и суетиться было ни к чему, так как от суеты и спешки дело быстрее не делается. Поэтому люди и обходились без суеты и, надо сказать, споро управлялись с работой и еще успевали потолковать обо всем на свете. А потолковать находилось о чем, так как знаменательных событий было хоть отбавляй. Правда, к началу нашего повествования в Хэме уже довольно давно ничего знаменательного не происходило. Это вполне устраивало фермера Джайлза, человека по натуре медлительного, закоренелого в своих привычках и поглощенного хозяйством. Его только и хватало на то, чтобы, по его же собственному выражению, не пускать волка в дом, а иными словами, гнать нужду от дверей и пить да есть не хуже своего отца. Гарм был тоже по уши в заботах, помогая на ферме, и ни ему, ни его хозяину некогда было думать о Большом Мире, лежащем за пределами их поля, деревни или ближайшего рынка.

А между тем этот Большой Мир был совсем рядом. Неподалеку от деревни начинался лес, а к северу и западу от него тянулись Дикие Холмы, где было немало весьма сомнительных болот. Среди прочей нечисти в горах водились великаны, народ грубый и неотесанный, подчас чинивший всяческие безобразия. Один из этих великанов, самый большой и глупый, был особенно несносен. Я не нашел упоминаний о нем в исторических документах, но это не имеет значения. Он был огромного роста и ходил, тяжело ступая и опираясь на палку высотой с большое дерево. Ему ничего не стоило смахнуть на пути старые вязы, словно это была трава. Он был губителем дорог и разорителем садов, — его гигантские ноги оставляли в земле ямы, глубокие, как колодцы. Если он случайно набредал на дом, то дома после этого как не бывало. Куда бы ни пошел, он крушил все вокруг, поскольку голова его торчала высоко над крышами, и ноги разбойничали сами по себе. Вдобавок он был близорук и слегка глуховат. К счастью, жил он далеко в Диких Холмах и редко посещал места, населенные людьми. В горах у него был огромный развалюха-дом, однако друзей он так и не завел, в основном из-за своей глухоты и глупости, да и великанов-то уже осталось маловато. И поэтому он в одиночестве гулял по Диким Холмам и ненаселенным предгорьям.

Однажды ясным летним днем великан вышел на прогулку. Он бесцельно бродил по окрестным лесам, уничтожая на пути деревья. Неожиданно он заметил, что солнце почти село, а это означало, что настало время ужина. Однако места вокруг были ему незнакомы, и вскоре он понял, что заблудился.

Решив, что идет не туда, он повернул совсем в другую сторону. Он шел и шел, пока не наступила ночь. Тогда он уселся и стал ждать луну. Затем он продолжал путь уже при лунном свете, делая огромные шаги, так как ему не терпелось скорее попасть домой. Уходя, великан оставил на огне свой лучший медный котел и боялся, что у котла прогорит дно, но горы теперь были у великана за спиной, и он уже ступил во владения людей, а точнее, двигался к ферме Эгидиуса Агенобарбуса Юлиуса Агриколы, к деревне под названием Хэм.

Ночь была теплая, и коров оставили в поле. Собака фермера Джайлза выбежала из дому, не спросив хозяина, и отправилась прогуляться по округе. Гарм питал слабость к лунному свету и кроликам. Собаке, естественно, было невдомек, что одновременно с ней под луной гуляет великан. А ведь это могло бы послужить достаточным основанием, чтобы уйти из дому без спросу, и еще большим — чтобы остаться дома и тихо лежать на кухне.

Около двух часов ночи великан ступил на поле Джайлза, сломал изгородь, потоптал посевы и помял траву для покоса. За пять минут он нанес столько вреда, сколько и за пять дней лисей охоты не могли бы нанести королевские ловчие.

Услыхав громкий топот, доносившийся с реки, Гарм побежал к западному склону невысокого холма, на котором стояла ферма, взглянуть, что там происходит. Великан как раз перешагнул через реку, наступив при этом на Галатею, любимую корову Джайлза. В мгновение ока расплющил он бедное животное, все равно как фермер жука.

Нервы Гарма не выдержали. С громким визгом он стрелой помчался к дому. Забыв от страха, что убежал не спросив, он стал громко лаять и скулить под окном хозяйской спальни. Из дома долгое время не доносилось ни звука — фермера не так-то легко было будить.

— Караул! Караул! Караул! — продолжал лаять Гарм.

Окно неожиданно отворилось, и оттуда вылетела хорошо нацеленная бутылка.

— Ай-ай-ай! — завизжал Гарм, привычно увернувшись ловким прыжком. — Караул! Караул! Караул!

В окне появилось заспанное лицо фермера.

— Холера тебя заberi, чертова псина. Какая муха тебя укусила?

— Никакая, — сказал Гарм.

— Я покажу тебе «никакая». погоди, утром спущу с тебя шкуру.

Фермер захлопнул окно.

— Караул! Караул! Караул!

Голова снова появилась в окне.

— Еще раз твякнешь — и от тебя останется мокрое место. Ты что, спятил, дурья твоя башка? Что на тебя нашло?

— Ничего, — сказал Гарм. — А вот на твое поле уж точно кое-что нашло.

— Что ты мелешь?

Джайлз вдруг не на шутку встревожился, и от этого у него даже злости поубавилось. Гарм никогда не отвечал ему так дерзко.

— А то, что у тебя в поле великан, — сказал пес, — самый великанский великан. Сейчас он и сюда явится. Караул! Караул! Он топчет твоих овец. Бедняжку Галатею раздавил, как клопа. Караул! Караул! Он сломал все твои изгороди, а сейчас уничтожает посевы. Смелее вперед, хозяин, иначе у тебя ничего не останется. Карау-у-у-л!

И Гарм громко завыл.

— Заткнись! — приказал фермер и захлопнул окно.

«Боже милостивый», — прошептал он. Его охватила дрожь, несмотря на то, что ночь была теплая.

— Иди, ложись и не валяй дурака, — сказала жена. — А собаку утром утопи. Еще не хватало слушать ее брехню. Она и не то скажет, когда попадется на воровстве.

— Может статься, так, Агата, а может, и не так. Что-то неладное творится на поле, хотя, может, Гарм и напел с три короба. С него станется, хотя он явно чем-то напуган. И с чего ему вдруг поднимать такой визг ночью? Ведь он мог юркнуть через черный ход рано утром, когда разносят молоко.

— Что толку стоять и молоть языком, — сказала жена. — Коли ты веришь псу, поступай, как он советует — смело вперед!

— Говорить-то проще, чем делать, — проворчал Джайлз.

Но по-честному, он только наполовину поверил рассказам Гарма. Трудно себе вообразить, что ни свет ни заря у вас на поле вдруг может появиться великан.

Однако собственность есть собственность. От этого никуда не денешься. С правонарушителями разговор у фермера был короткий, и, пожалуй, немногие на него бы согласились. Он натянул штаны, пошел на кухню и снял со стены ружье с раструбом. Читатели, наверное, спросят, что такое ружье с раструбом. Говорят, что именно этот вопрос был задан Четырем Мудрым Грамотеям из Оксенфорда[3], которые после некоторого размышления ответили на него следующим образом: ружье с раструбом — это короткое старинное ружье, выстреливающее множеством пуль. Поражает цель на небольшом расстоянии (в цивилизованных странах вышло из употребления, так как вытеснено другим огнестрельным оружием).

Ружье фермера Джайлза имело широкий раструб наподобие рога и стреляло любой дрянью, которую в него заталкивали. Ружье давно не поражало никаких целей, так как фермеру редко приходилось заряжать его, а стрелять он из него так ни разу и не стрелял. Как правило, одного вида ружья было достаточно, чтобы обратить в бегство любого нарушителя. Страна в то время была недостаточно цивилизована, и потому ружья с раструбом еще не вышли из употребления. Тогда это был единственный вид огнестрельного оружия, да и тот встречался довольно редко. Люди предпочитали лук и стрелы, а порох использовали главным образом для фейерверков.

Итак, фермер Джайлз снял со стены ружье и вложил туда большой заряд пороха на случай, если понадобится прибегнуть к крайним мерам. В широкий раструб он насовал ржавых гвоздей, кусков проволоки, черепков, костей, камней и еще какой-то дребедени. Он натянул высокие сапоги, накинул плащ и огородами прошел до калитки. Низкая луна стояла у него за спиной, деревья и кусты отбрасывали длинные темные тени. Со стороны холма доносился какой-то странный топот. Он не чувствовал в себе решимости смело идти вперед, что бы ни говорила Агата. Но все же собственность есть собственность, и ее нужно защищать, не жалея шкуры. Чувствуя, что внутри у него все холодеет, Джайлз медленно двинулся к уступу горы.

Неожиданно над вершиной холма возникло лицо великана, мертвенно-бледное от лунного света, отражавшегося в огромных круглых зрачках, при этом ноги его бесчинствовали далеко внизу, оставляя на поле огромные ямы. Луна слепила великана, и поэтому он не видел фермера. Джайлз же, напротив, видел его очень ясно и от страха едва не лишился рассудка. От неожиданности он спустил курок, и ружье выстрелило. Раздался невероятный грохот. По счастью, фермер точно попал в цель — то есть прямо в огромное уродливое лицо великана. Дождем посыпался мусор, затем камни, кости, черепки, куски проволоки и добрый десяток гвоздей.

Поскольку дальность выстрела была небольшая, то по воле случая и совсем не по воле фермера большая часть этих мелких предметов угодила великану в лицо, при этом какой-то черепок впился ему в глаз, а большой гвоздь застрял в носу.

— Проклятье! — воскликнул великан со свойственной ему грубостью. — Меня кто-то ужалил!

Шум на него не произвел ни малейшего впечатления (не надо забывать, что он был туговат на ухо), но гвоздь в носу ему пришелся явно не по нраву. Он и не помнил, когда в последний раз встречал злых насекомых, которые могли так больно жалить. Правда, он слышал, что где-то на востоке в болотах водятся стрекозы, чьи укусы жгут, как раскаленные угли. Он и решил, что напоролся на нечто подобное.

— Сразу видно, какая тут гнусная, нездоровая местность, — произнес он вслух. — С меня хватит.

Прихватив со склона холма пару овец, чтобы съесть их дома на завтрак, он вернулся к реке и оттуда семимильными шагами двинулся на северо-запад. В конце концов он отыскал свой дом, так как теперь шел в правильном направлении. Но все же дно медного котла безнадежно прогорело.

Между тем фермер Джайлз, оглушенный выстрелом, свалился назвничь и теперь лежал, глядя в небо, и не знал, минуют ли его великаны ноги, когда тот побежит мимо. Однако ничего ужасного не произошло. Когда топот смолк вдаль, Джайлз поднялся, потер плечо и подобрал с земли ружье. Неожиданно он услышал приветственные крики.

Большинство жителей Хэма выглядывали из окон, а самые смелые даже наскоро оделись и вышли на улицу (но не раньше, чем ушел великан). Теперь некоторые бежали с криками вверх по склону.

Деревенские жители, слышав ужасный топот великанских ног, тут же бросились в постель и спрятались под одеялом, а самые ретивые даже забились под кровать. Гарм с чувством гордости и страха взирал на своего хозяина, — во гневе тот всегда казался ему самым свирепым и самым великолепным существом на свете, и он, что вполне естественно, считал, что и великан не может думать иначе. Поэтому, завидев Джайлза с ружьем в руках (что обычно было признаком крайнего гнева), пес с громким лаем бросился в деревню.

— На улицу! На улицу! Все на улицу! Вставайте! Вставайте! Поглядите на хозяина! Хозяин великий человек! Какой он смелый и проворный! Он хочет наказать великана за разбой. На улицу! Все на улицу! Выходите!

Вершина холма была хорошо видна из всех окон. Как только деревенские жители и Гарм узрели лицо великана, они разом ахнули и затаили дыхание. Все они, за исключением собаки, были уверены, что Джайлзу не справиться со своей задачей. Когда после выстрела великан неожиданно удалился, от изумления и радости они стали кричать и хлопать в ладоши. Что касается Гарма, то от собственного лая он едва не оглох.

— Урра! — кричала толпа. — Будет знать, как соваться куда не следует! Мастер Эгидиус показал ему, почем фунт лиха. Теперь он уползет домой и там испустит дух. Будет ему урок!

И они снова разразились радостными криками. А в промежутке между радостными криками успели подметить кое-что весьма для себя интересное, а именно, что ружье фермера может и выстрелить в нужную минуту. Раньше на эту тему немало спорили в деревенских трактирах, но тут все пришли к единому выводу, а фермер Джайлз отныне был избавлен от посягателей на его собственность.

Когда опасность миновала, те, кто были посмелее, поднялись на вершину холма позвать Джайлзу руку. Несколько человек, среди них священник, кузнец, мельник и еще две-три персоны поважнее, даже похлопали его по спине. Это не доставило Джайлзу удовольствия, так как у него болело плечо. Они расселись на кухне вокруг круглого стола, пили за здоровье Джайлза и громко его расхваливали. Фермер откровенно зевал, но никто не обращал на это ни малейшего внимания.

После трех кружек (гости еще только успели опрокинуть по две) фермер заметно осмелел, а пропустив шестую (тогда как гости третью), он почувствовал себя настоящим храбрецом, каким он и рисовался Гарму. Расстались все дружески. Джайлз усердно хлопал гостей по спине. Ручищи у него были большие, красные и тяжелые, так что он не остался перед гостями в долгу.

Назавтра он обнаружил, что новость облетела всю деревню, а сам он стал местной знаменитостью. К середине следующей недели о нем узнали еще в нескольких деревнях, отстоящих от Хэма миль на двадцать, и фермер был провозглашен Героем Округа. Это его очень обрадовало, так как в ближайший базарный день дарового пива для него было хоть залейся. Он упился всласть и по дороге домой горланил старинные геройские песни.

Наконец весть дошла и до короля. Столица Срединного Королевства, как она называлась в те счастливые дни, находилась в шестидесяти милях от Хэма, и при дворе, естественно, никто не интересовался делами провинциальных мужланов.

Однако такое неслыханно быстрое изгнание вредоносного великана было сочтено достойным внимания и даже легкого поощрения. Примерно месяца через три после памятного события, в праздник

святого Михаила, король наконец-таки собрался и отправил Джайлзу торжественное послание. Оно было написано красными чернилами на белом пергаменте и выражало высочайшее одобрение «нашему верному и возлюбленному слуге Эгидиусу Агенобарбусу Агриколе де Хаммо». Вместо подписи стояла большая красная клякса, но придворный писец расшифровал ее и добавил: «Я, Август Бонифаций Амброзий, Аврелий, Антонин, Благочестивый и Великий Король, Тиран, Базилевс и Повелитель Средиземья»[4]. Внизу же была привешена большая красная печать.

Послание доставило много радости Джайлзу и вызвало всеобщее восхищение, особенно когда стало известно, что любому, пришедшему взглянуть на него, были уготовлены кружка и место у фермерского очага.

Но еще большее удовольствие, чем письмо, доставили Джайлзу сопровождавшие его дары. Король прислал ему пояс и длинный меч. По правде говоря, сам король ни разу не воспользовался этим мечом. Меч принадлежал королевской семье и висел с незапамятных времен в оружейном зале. Оружейник не мог вспомнить, как он там появился и каково было его назначение. Тяжелые мечи без украшений были при дворе не в моде, и потому король решил, что он вполне подходит для подарка деревенщине.

Но фермер Джайлз пришел от меча в восторг, а его репутация среди местных жителей сильно возросла.

Джайлз был очень доволен таким поворотом событий, и не менее, чем хозяин, был счастлив Гарм. Он так и не дождался обещанной выволочки. Джайлз по-своему был человек справедливый и в глубине души отдавал должное роли Гарма в этой истории, хотя никогда этого вслух не высказывал. Когда он был в дурном расположении духа, он поносил пса на чем свет стоит и швырял в него тяжелые предметы, но в то же время спускал ему мелкие промашки. Гарм теперь пристрастился к далеким прогулкам по полям. Фермер ходил по своим владениям уверенными шагами, и удача ему улыбалась. Осень и начало зимы прошли благополучно, и все, казалось, благоприятствовало Джайлзу, пока не объявился дракон.

Надо сказать, что в те дни драконов на острове заметно поубавилось. В Срединном Королевстве Августа Бонифация их не видели годами. Оставались, конечно, подозрительные болота, населенные нечистью, и необитаемые горы на западе и на севере королевства, но они были далеко. В них когда-то водилось множество всевозможных драконов, совершавших набеги на окрестные земли. Срединное Королевство славилось в те времена своими отважными рыцарями, и от их мечей полегло немало бродячих тварей. Те, кому удавалось избежать смерти, уползали с поля брани совершенно изувеченными. Это служило предостережением для остальных драконов и отбивало у них охоту к далеким путешествиям.

В королевстве сохранился обычай подавать королю драконьи хвосты во время Рождественского пиршества. Каждый год выбирали рыцаря для охоты на дракона. По традиции он должен был отправиться в путь в день святого Николая и возвратиться накануне Рождества. Однако все последние годы королевский кондитер к этому дню готовил кулинарное чудо — фальшивый драконий хвост из бисквита и миндального крема, искусно украшенный чешуйками сахарной глазури. Рыцарь, специально избранный для торжества, в канун Рождества вносил блюдо в пиршественный зал под звуки скрипок и труб. Фальшивый драконий хвост ели после Рождественского обеда, и, чтобы польстить кондитеру, все как один утверждали, что он много вкуснее настоящего.

Таково было положение дел в королевстве, когда снова объявился живой огнедышащий дракон. А повинен в этом был великан. После своего приключения он повадился ходить в гости к родственникам, живущим в горах и, надо сказать, навещал их гораздо чаще, чем им бы хотелось. Он неизменно просил одолжить ему большой медный котел, но независимо от того, получал он его или нет, он усаживался и начинал рассказывать своим нудным грубым голосом о замечательной стране на востоке и чудесах Большого Мира. Он вбил себе в голову, что он великий, смелый путешественник.

— Прекрасная земля, совсем плоская, — начинал он обычно свой рассказ. — Ступать мягко и есть чем поживиться: коровы, овцы повсюду пасутся. Бери сколько хочешь, но только глядеть надо в оба.

— А как насчет людей?

— Я их ни разу не видел и не встретил ни одного рыцаря. Так вот, самое противное там, дорогие

сородичи, — мухи на реке. Жалят, как пчелы.

— А почему ты там не остался?

— Сами ведь знаете — в гостях хорошо, а дома лучше. Может, я туда еще вернусь. Если, конечно, придет охота. Но что ни говори, я все-таки побывал в тех местах, а это не всякому удастся. Так как насчет котла?

Тут хозяева спешили задать новый вопрос.

— А где же находятся эти богатые земли? Эти изобильные пастбища, на которых скот пасется без присмотра? Далеко отсюда?

— На востоке, вернее, на юго-востоке. Но путь туда неблизкий.

И он снова принимался рассказывать о своем путешествии, явно преувеличивая расстояние и протяженность лесов, гор и равнин, которые ему пришлось пересечь.

Его речи заставили призадуматься других великанов, не столь длинноногих, и отбили у них охоту к странствиям по чужим землям. Но толки тем не менее пошли.

Теплое лето сменилось студеной зимой. В горах гуляли ледяные ветры, и еды не хватало. Слухи между тем упорно росли. Вокруг только и было разговоров, что об овцах и коровах с богатых пастбищ внизу. Навострили уши и драконы. Они голодали и поэтому особенно жадно ловили все слухи.

— Рыцари? — удивленно спрашивали молодые, совсем еще зеленые драконы. — Бабушкины сказки! Кто ж поверит в их существование?

— Хорошо хоть нынче их стало поменьше, — вздыхали мудрые драконы старшего поколения. — Они далеко и, судя по всему, их так немного, что можно и не бояться.

Один из драконов особенно близко к сердцу принимал эти разговоры. Он носил пышное имя Хризофилакс^[5] Коршун, происходил из древнего царского рода и был несметно богат. При этом он слыл на редкость жадным и хитрым, но несмотря на защищавший его непробиваемый панцирь, большой храбростью не отличался. Мухи да и вообще любые насекомые, независимо от их размера, были ему не страшны, зато он был смертельно голоден.

И вот в один из зимних дней, примерно за неделю до Рождества, Хризофилакс расправил крылья, поднялся в воздух и полетел. Он преспокойно приземлился среди ночи прямо в центре владений Августа Бонифация, тирана и базилевса. За очень короткое время он наделал много бед — сжег все вокруг, сожрал всех овец, коров, лошадей.

Все это произошло в местности далекой от Хэма, но Гарм чуть не рехнулся от страха. Дело в том, что, воспользовавшись добрым расположением хозяина, он решил провести ночь-другую подальше от дома и с этой целью отправился в поход. Он бежал вдоль лесной опушки, обнюхивая землю. Вдруг за очередным поворотом ему ударил в ноздри резкий незнакомый запах, и он со всего размаху ткнулся в хвост Хризофилакса Коршуна, который только что приземлился. Гарм бросился наутек, да так, что за ним не угналась бы ни одна собака на свете.

Дракон, услышав его визг, повернул голову и фыркнул, но пес был уже далеко. Гарм бежал весь остаток ночи и только к утру примчался домой. Фермер как раз собирался завтракать, когда у задней двери раздался лай.

— Караул! Караул! Караул!

Лай не понравился Джайлзу. Он живо напомнил ему о том, что на свете иногда случаются непредвиденные события, даже когда все, казалось бы, идет гладко.

— Жена,пусти эту тварь. И задай ему хорошую трепку.

Гарм пулей влетел в кухню — язык у него свисал на сторону, глаза вылезали из орбит.

— Караул! Караул! Караул!

— Ну, что ты натворил на этот раз? — спросил фермер и швырнул в него куском колбасы.

— Ничего не натворил.

Гарм никак не мог отдышаться. На колбасу он даже не взглянул.

— Прекрати этот дурацкий лай, а не то я с тебя шкуру спущу, — пообещал фермер.

— Ничего я дурного не делал. И в мыслях у меня ничего дурного не было. Просто я наткнулся на дракона, и он меня до смерти напугал.

— Дракон?!! Вот нечистая сила, вечно сует свой нос куда не следует, бездельник проклятый! И что тебе вдруг приспичило искать драконов в такую пору, когда на ферме работы невпроворот? Где ты его видел?

— К северу от холмов. Далеко отсюда, за каменными столбами.

Фермер вздохнул с облегчением.

— Ишь куда тебя занесло! Там, я слышал, водится чудной народ. Для драконов там самое место. Пусть себе живут. А ты перестань пугать меня своими баснями. А ну, пошел вон!

Пес выбежал на улицу, и вскоре новость облетела всю деревню. Рассказывая о драконе, Гарм не забывал повторять, что его хозяина весть нисколько не испугала.

— Он даже глазом не моргнул, завтракает себе, как ни в чем не бывало.

Деревенские жители судачили у всех домов.

— Совсем как в прежние времена! — восклицали они весело. — Тут как раз и Рождество. Подумать только, так подгадать. Вот обрадуется король! Теперь на Рождество у него будет настоящий драконий хвост.

Но на следующий день пришли новые вести. Дракон, судя по всему, был колоссальных размеров и необыкновенной свирепости. За короткое время он успел причинить огромный ущерб.

— Куда смотрят королевские рыцари? — то и дело слышались голоса.

Тот же самый вопрос задавали не только в Хэме. Из деревень, особенно сильно пострадавших от набегов дракона, в столицу были направлены гонцы, которые уже достигли королевского дворца и прямо, насколько позволяла им храбрость, спросили короля:

— Сир, а как насчет королевских рыцарей?

Между тем королевские рыцари и в ус не дули, так как официально о драконе не было объявлено.

Наконец король довел новость до их сведения по всей форме и просил их предпринять необходимые действия, когда они сочтут это для себя удобным. Однако вскоре, к своему неудовольствию, он обнаружил, что действия эти откладываются со дня на день и что день, который рыцари сочли бы удобным, видно, никогда не наступит.

При всем том отговорки рыцарей были бесспорно обоснованными. Во-первых, королевский кондитер принадлежал к породе людей, которые считают, что лучше не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, он позаботился заранее и уже приготовил драконий хвост. Внести в пиршественный зал хвост настоящего дракона в последний момент означало бы нанести кондитеру смертельное оскорбление. А этого не следовало делать, поскольку он был отменным кулинаром.

— Наплевать на хвост! Отрубите ему голову, и дело с концом! — заявили посланцы деревень, находившихся в непосредственной опасности.

Наступило Рождество, и, как на грех, день Большого Турнира совпал с днем Святого Иоанна: рыцари, приглашенные из многих соседних королевств, должны были состязаться за ценный приз. Лишить рыцарей Средиземья шансов на победу, отправив сильнейших из них на охоту за драконом до окончания турнира, было бы чистым безрассудством.

Затем подоспел Новый год.

Дракон передвигался теперь только в темноте. Расстояние между ним и Хэмом еженощно сокращалось. Под Новый год жители деревни видели отдаленные вспышки пламени. Дракон поселился в лесу в десяти милях от Хэма. Лес весело потрескивал от огня, ибо дракон становился огнедышащим, если на него находило соответствующее настроение.

Люди с надеждой посматривали на Джайлза. Они, не стесняясь, перешептывались за его спиной, отчего ему становилось неловко, но он делал вид, что ничего не замечает.

На следующий день после Нового года дракон приблизился еще на несколько миль. Теперь уже и сам фермер начал вслух осуждать королевских рыцарей.

— Хотел бы я знать, за что им платят жалованье, — говорил он громко.

— И мы бы хотели знать, — вторили ему жители Хэма.

А мельник добавлял:

— Не скажите, есть еще люди, получающие рыцарское звание за истинные заслуги. Взять, к примеру, нашего дорогого Эгидиуса. Чем он не рыцарь, фигурально выражаясь? Недаром король прислал ему письмо, написанное красными буквами, и меч.

— Одного меча недостаточно, чтобы стать рыцарем, — сказал Джайлз. — Насколько я понимаю, нужно еще посвящение и куча церемоний. Мне некогда всем этим заниматься. Своих дел хватает.

— Король, если его попросить, посвятит тебя в рыцари. Я нисколько в этом не сомневаюсь, — настаивал мельник. — Давай попросим его, пока не поздно.

— Нет, не надо. Все это не для нашего брата. Я фермер и этим горжусь. Я простой честный человек, а честным людям, говорят, не прижиться при дворе. Вот ты, наверное, мог бы, господин мельник.

Священник ухмыльнулся, но отнюдь не находчивости фермера. Как любили говорить в Хэме, Джайлз и мельник были старыми добрыми врагами и старались при случае воздать друг другу сполна. Священнику неожиданно пришла в голову любопытная мысль, которой он пока не хотел ни с кем делиться. Мельнику же было совсем не до веселья, он мрачнел на глазах.

— Что правда, то правда. Ты человек, несомненно, простой и, допустим, честный, — сказал он. — Но так ли уж необходимо ехать ко двору и получать рыцарское звание перед тем, как убить дракона? Смелость — вот все, что нам требуется, как вчера, если я не ослышался, громогласно заявил сам мастер Эгидиус. А смелости у него не меньше, чем у любого рыцаря. У кого-нибудь есть сомнения?

В ответ раздались радужные крики:

— Нет! Нет! никаких сомнений! Троекратное ура в честь героя из Хэма!

Фермер Джайлз вернулся домой в сильном смятении. Он понимал, что его репутация в округе накладывает большие обязательства, но не знал, удастся ли ему оправдать оказанную честь.

Он злобно пнул ногой собаку и убрал в кухонный шкаф меч, до этого висевший над очагом.

На следующий день дракон перебрался в соседнюю деревню Кверцетум (а попросту Окли)^[6]. В придачу к овцам и коровам он съел еще двух-трех жителей нежного возраста, мало того, он слопал еще и священника. Священник этот опрометчиво бросился увещевать дракона, желая наставить его на путь праведный.

Поднялась страшная паника. Все жители Хэма во главе со своим священником пришли на холм и стали всячески восхвалять фермера.

— Ты наша надежда, — говорили они ему.

Обступив Джайлза, они долго стояли и смотрели, пока лицо его не залилось краской более яркой, чем его борода.

— Когда ты собираешься выступить? — вопрошали фермера жители Хэма.

— Сегодня уж, во всяком случае, мне не собраться. Дел по горло, особенно сейчас, — мой работник

заболел, и овцы ягнятся.

Все разошлись, недовольно перешептываясь. С лица мельника не сходила ухмылка.

Один священник медлил: он явно решил остаться, и избавиться от него было не так-то просто... В конце концов он напросился на ужин. Судя по вопросам, которые он задавал Джайлзу, у него что-то было на уме. Он хотел знать, что случилось с мечом, и попросил достать его.

Меч хранился в шкафу на полке, которая явно была для него коротка. В тот момент, когда Джайлз взял меч в руки, он выскочил из ножен, притом так неожиданно, что фермер выронил его, будто обжегшись о раскаленную сталь. Священник вскочил, опрокинув кружку с пивом. Он осторожно поднял меч с полу и попытался всунуть его обратно в ножны, однако меч не входил до конца. Как только священник убрал руку с рукоятки, меч тут же выпрыгнул снова.

— Силы небесные, до чего ж это все странно! — пробормотал священник, пристально разглядывая ножны и клинок.

Он был человек ученый, тогда как Джайлз едва мог по складам прочитывать свое имя и с грехом пополам нацарапать инициалы. Именно поэтому он не обратил внимания на старинные полустертые буквы на ножнах и клинке. (Что касается королевского оружейника, он, надо сказать, так привык ко всяким стихотворным посвящениям, именам, геральдическим знакам на мечах и ножнах, что давно перестал ломать над ними голову, считая, что они устарели и отжили свой век.)

Чем дольше священник изучал надпись, тем озабоченнее становился его взгляд. Он заранее был уверен, что найдет ее на мече (в этом-то и заключалась его догадка), но то, что он увидел, превзошло все его ожидания: перед ним были значки и буквы, совершенно ему неизвестные.

— На ножнах имеется надпись и, кроме того, какие-то значки на клинке.

— Смотри-ка, и в самом деле! — удивился Джайлз. — А что бы это могло значить?

— Буквы очень древние, а язык, похоже, какой-то варварский, — сказал священник, чтобы выиграть время. — Все это требует внимательного изучения.

Он попросил фермера дать ему меч до утра, на что тот с легкостью согласился.

Придя домой, священник достал с полки много ученых книг, над которыми и просидел до глубокой ночи. Наутро он узнал, что дракон подобрался совсем близко к деревне. Жители заперлись на засовы и задернули шторы, а те, у кого были погреба, спустились туда и сидели при свечах, дрожа от страха...

Священник же незаметно выскользнул из дому и отправился в обход по деревне. Он стучался во все двери и тем, кто слушал его через щель и замочную скважину, сообщал, что ему удалось узнать из книг:

— Наш добрый Эгидиус, по милости короля, владеет знаменитым мечом Каудимордаком. Этот меч в народных песнях зовется попросту Хвосторуб.

Заслышав это, люди, как правило, отпирали двери. Кто не знал о прославленном Хвосторубе? Меч принадлежал Белломариусу, величайшему истребителю драконов. Если верить некоторым источникам, Белломариус приходился королю прапрадедом по материнской линии. В свое время о его подвигах сложили множество песен и сказаний. Забытые при дворе песни были все еще живы в деревнях.

— Меч не удержать в ножнах, если в пяти милях дракон, — рассказывал священник. — А уж если он попадет в руки смельчака, можете не сомневаться, никакому дракону несдобровать.

Тут к жителям Хэма вновь стала возвращаться храбрость. Некоторые даже решились раздвинуть шторы и высунуть головы. В конце концов священнику удалось уговорить несколько человек выйти на улицу и присоединиться к нему. Только мельника не пришлось долго уговаривать. Стоило рискнуть жизнью, чтобы посмотреть, как выкрутится фермер из создавшегося положения.

Они поднялись на холм, то и дело бросая беспокойные взгляды за реку, в сторону севера. Дракона не было ни видно, ни слышно. Он, очевидно, отсыпался, вдоволь поживившись на Рождество.

Священник, а вслед за ним и мельник изо всех сил стали колотить в дверь фермерского дома. Им

никто не открыл. Они заколотили еще громче. Наконец к ним вышел Джайлз. Лицо его было багровым. Он тоже не спал до глубокой ночи и проглотил немало эля. Едва продрал глаза, он снова взялся за кружку.

Вся компания, во главе со священником, окружила фермера и стала осыпать его комплиментами. Его величали добрым Эгидиусом, храбрым Юлиусом, смелым Агенобарбусом, верным Агриколой, гордостью Хэма, Героем Округи. Все при этом восхваляли и Каудимордакс, меч-Хвосторуб, когда надо выскакивающий из ножен, несущий смерть врагу. Меч называли славой ратников, оплотом страны, ценнейшим достоянием королевства так громко и так долго, что у фермера голова пошла кругом.

— Не галдите! Не все сразу, — умоляюще сказал он, как только ему удалось вставить слово. — Что все это значит? О чем вы толкуете? У меня без вас полно забот. Я с утра на ногах.

Тогда священник взялся объяснить суть дела. Мельник мог торжествовать: Джайлз на сей раз попал в тугой переplet. Но дальше все события повернулись не совсем так, как ожидал мельник. Во-первых, он недооценил того, что Джайлз влил в себя не одну кружку крепчайшего эля. Во-вторых, узнав о том, что подаренный ему меч и есть знаменитый Хвосторуб, фермер испытал сложное чувство гордости и воодушевления. В детстве он очень любил истории про Белломариуса и совсем несмышленишем нередко мечтал о волшебном мече и героических подвигах. И вот теперь он мог взять меч и отправиться на охоту за драконом. Однако он привык всю жизнь торговаться и поэтому сделал еще одну попытку приостановить ход событий.

— Мне идти на поединок с драконом?! В этих старых опорках и в этом жилете?! Для того чтобы сражаться с драконом, нужны особые доспехи. Я не раз об этом слышал. В моем доме уж точно нет ничего подходящего, — заявил он.

Все согласились, что это серьезная помеха и тут же послали за кузнецом. Узнав, в чем дело, кузнец бурно запротестовал. Человек он был угрюмый и флегматичный. В деревне его все звали Сэмми Солнышко, хотя настоящее его имя было Фабрициус Кунктатор^[7]. Он имел обыкновение весело насвистывать в своей кузне в тех случаях, когда сбывались его мрачные предсказания (например, мороз в мае). А поскольку он ежедневно предсказывал что-нибудь дурное, то редко случались беды, которых он заранее не предрекал. Поэтому он приписывал себе дар угадывать несчастья, и это составляло главный смысл его жизни. Неудивительно, что он не выразил желания предотвратить очередную беду. Еще раз протестуя помотав головой, он заявил:

— Не могу же я делать доспехи из воздуха. И вообще это не моя специальность. Вы бы лучше обратились к плотнику и попросили его вырезать из дерева щит. Впрочем, проку все равно не будет — дракон-то ведь огнедышащий.

Лица у всей честной компании вытянулись. Мельника, однако, не так-то просто было заставить расстаться с намерением послать фермера к дракону или же, на худой конец, подмочить его репутацию в деревне, если тот вдруг заупрямится.

— А как насчет кольчуги? — спросил мельник. — По-моему, это выход из положения. Кольчуга ведь не обязательно должна быть самой тонкой работы. В данном случае она нужна для дела, а не для того, чтобы красоваться при дворе. Где твоя старая кожаная куртка, дружище Эгидиус? В кузнице я видел кучу цепей и колец. Мастер Фабрициус, мне кажется, и сам толком не знает, что у него там валяется.

— Говорят невеста что, — сказал кузнец, заметно повеселев. — Если вы имеете в виду настоящую кольчугу, нам ее сроду не сделать. Только тролли с их мастерством могут пригнать крошечное колечко к четырем другим и все это скрепить вместе. Владей я таким искусством, мне все равно понадобилось бы несколько недель, а к этому времени мы будем уже в могиле или же в желудке у дракона.

Все стали в отчаянии заламывать руки, а на лице кузнеца появилась довольная улыбка. Люди были не на шутку встревожены — им не хотелось отказываться от спасительного плана мельника, и они все разом уставились на него.

— Ну, что ж, надо что-то придумать, — сказал он. — Я слышал, что в старину те, кто не мог обзавестись дорогой кольчугой из стран полуденного солнца, нашивали стальные колечки на рубаху из кожи и это их вполне устраивало. Поглядим, может быть, и мы сумеем сделать что-нибудь в этом роде.

Джайлзу пришлось принести свою старую кожаную куртку, и вся компания последовала за кузнецом в кузницу. Пошарив по углам, они всем скопом wygrебли кучу металлического лома, лежавшего там годами. В самом низу кучи они нашли много мелких, потемневших от ржавчины колец, которые некогда были нашиты на допотопную кольчугу вроде той, о которой говорил мельник. Кузнеца сразу же засадили выбирать, сортировать и очищать кольца, а когда он радостным голосом объявил, что колец явно не хватит на широкую спину и могучую грудь фермера, его попросили разбить цепи и, пустив в ход все свое умение, сделать из крупных колец мелкие.

Стальные колечки помельче пошли на перед куртки, а более крупные и грубые — на спину. Между тем бедняга Сэм уже не мог остановиться и делал все новые и новые кольца. Кому-то пришло в голову взять старые штаны фермера и нашить кольца и на них.

В темном дальнем углу кузницы на полке, заваленной всяким хламом, мельник отыскал железный остов шлема. Он тут же посадил за работу башмачника и велел ему, вложив все свое старание, обшить его кожей.

Они трудились, не покладая рук, остаток дня и весь следующий день в канун Крещения. О празднике никто не вспоминал. Один только фермер в честь такого события позволил себе двойную порцию эля.

Ранним крещенским утром вся компания поднялась на холм, торжественно неся диковинное произведение своего искусства. Фермер поджидал гостей. Теперь у него больше не было предлога оттягивать поход. Он безропотно облачился в кольчужные куртку и штаны. Мельник не мог скрыть довольной ухмылки. Затем Джайлз натянул высокие сапоги, пристегнул к ним старые шпоры, а на голову надел обшитый кожей шлем. В последний момент он нахлобучил поверх шлема свою выдавшую виды фетровую шляпу, а поверх кольчуги набросил широкий серый плащ.

— Для чего ты это делаешь? — спросили его.

— По вашим понятиям, на драконью охоту ходят с бубенцами или под звон Кентерберийских колоколов. У меня на этот счет свое мнение. Какой смысл раньше времени оповещать дракона о своих планах? Шлем есть шлем, это — вызов на битву. Пусть дракон увидит над изгородью старую фетровую шляпу, и тогда мне, может быть, удастся подойти поближе до того, как грянет гром.

Кольца на кольчуге были нашиты так, что находили одно на другое. Ударяясь ряд о ряд, они при движении издавали звон. Плащ приглушил звук, но все равно фермер в своем одеянии являл весьма странное зрелище. Его друзья, разумеется, об этом ему не сказали. Они с трудом застегнули на нем пояс и подвесили ножны. Меч Джайлзу пришлось взять в руки, так как удержать его в ножнах нельзя было никакими силами.

Фермер кликнул Гарма. Что ни говори, он был человек справедливый.

— Собака, пойдешь со мной! — сказал он.

Пес завыл:

— Караул! Караул-у-л!

— А ну, прекрати! Не то схлопочешь так, что дракон тебе покажется ангелом. Ты ведь этих червей чуешь издалека. Хоть раз в жизни будет от тебя польза.

Затем фермер кликнул сивую кобылу. Она бросила на него загадочный взгляд, фыркнула при виде шпор, но все же позволила взобраться себе на спину. Так они втроем и тронулись в путь, не чувствуя никакого подъема духа.

Они рысью проскакали через всю деревню; жители, высунувшись из окон, провожали их напутственными криками. Фермер, как и его кобыла, старался не ударить лицом в грязь перед народом и держался с достоинством, тогда как Гарм, забыв стыд, трусливо поджал хвост.

Не замедляя аллюра, они проехали мост через реку на краю деревни и только вдали от людских глаз наконец сбавили темп. Но, увы, слишком скоро остались позади поля Джайлза и уголья других жителей Хэма. И теперь они проезжали места, где уже побывал дракон. Повсюду виднелись сломанные деревья,

сожженные изгороди, обуглившаяся трава, и надо всем этим стояла напряженная зловещая тишина.

Солнце жарило вовсю. Фермер начал подумывать, не сбросить ли ему с себя одно из одеяний. Кроме того, он решил, что перебрал утром эля. «Вот тебе и конец праздников. Считаю, повезет, если сам в живых останусь», — размышлял он.

Вытащив из кармана огромный зеленый платок, он вытер им лицо. Из предосторожности он взял с собой именно зеленый, вместо красного, так как ходил слух, что красная тряпка вызывает у драконов особую ярость.

Дракона, однако, он нигде не нашел. Они проехали много проселочных дорог, покинутых полей, но червя нигде не было видно. Как и следовало ожидать, от Гарма толку было мало, он прятался за кобылой и не желал никого вынюхивать.

В конце концов они попали на извилистую дорожку, вдоль которой почти не видно было следов разрушений. Все вокруг казалось мирным и спокойным. Проехав с полмили, Джайлз решил, что уже выполнил свой долг и сделал все, что мог, чтобы не уронить своей чести. Он проделал долгий и дальний путь и теперь стал подумывать о доме и обеде. Своим друзьям он намеревался сказать, что дракон, завидя его, обратился в бегство, но вдруг дорога резко повернула.

Тут, за поворотом, и лежал дракон, перекинув хвост через сломанную изгородь. Его страшная голова находилась как раз на середине дороги.

— Караул! — взвизгнул Гарм и дал тягу. Сивая кобыла от неожиданности плюхнулась на задние ноги, а фермер полетел в канаву.

Когда он высунул голову, на него в упор смотрел дракон.

— Доброе утро, — приветствовал он фермера. — Мне кажется, ты несколько удивлен.

— Доброе утро. Ты не ошибся, — ответил Джайлз.

Услыхав, как звякнули кольца, когда фермер упал в канаву, дракон насторожил уши.

— Прости меня. Прости, пожалуйста, мое праздное любопытство, — сказал он. — Не меня ли ненароком ты искал?

— Тоже скажешь! Кто б мог подумать, что ты здесь? Я просто катался.

Он торопливо выбрался из канавы и стал пятиться в сторону сивой кобылы. К этому времени кобыла встала на ноги и как ни в чем не бывало щипала на обочине траву.

— Значит, нас свела счастливая случайность, — сказал дракон. — Я безмерно рад. На тебе, я полагаю, твой праздничный костюм? Что, нынче такая мода?

Фетровая шляпа Джайлза слетела при падении, а серый плащ распахнулся. Но фермер не растерялся:

— Да, конечно. Последний крик. Впрочем, мне пора. Я должен догнать собаку. Полагаю, она выслеживает кроликов.

— Не думаю, — сказал Хризофилак, облизываясь от удовольствия. — Пес твой, наверное, домой попадет много раньше хозяина. Но, прошу тебя, продолжай свой путь, мастер... Прости, я так и не знаю твоего имени.

— А я твоего. Но оставим все так, как есть.

— Как хочешь, — сказал Хризофилак, снова облизываясь и притворно закрывая глаза.

Душа у него была темной (как у всех драконов), но он был трусоват (что среди драконов тоже не редкость) и предпочитал пищу, за которую не нужно драться. Однако после здорового крепкого сна к нему снова вернулся зверский аппетит. Пастор из Окли был жилистым — правда, дракон уже и не помнил, когда он последний раз лакомился мясом хорошо упитанного человека. Теперь он твердо настроился поживиться легкой добычей и только ждал момента, когда старый дурень утратит бдительность.

Но старый дурень был не так глуп, как казалось. Взбираясь на лошадь, он не спускал глаз с дракона. Кобыла, однако, была своенравна и имела свой собственный взгляд на происходящие события. Как только

фермер попытался на нее сесть, она заржала и начала лягаться.

У дракона лопнуло терпение, и он приготовился к прыжку.

— По-моему, ты что-то уронил.

Трюк был избитым. Тем не менее он сработал: Джайлз-то знал, что он уронил. Свалившись в канаву, он выпустил из рук Каудимордакс (или попросту Хвосторуб), который теперь лежал на обочине. В ту минуту, когда Джайлз наклонился, чтобы его поднять, дракон прыгнул, но Хвосторуб его опередил. Не успел фермер дотронуться до меча, как тот вырвался у него из рук и молнией ударил дракона по голове.

От неожиданности дракон замер.

— Вот так штука! — воскликнул он, обретя дар речи. — Что это у тебя?

— Всего лишь Хвосторуб. Подарок короля.

— Ошибка, — сказал дракон. — Прошу прощения.

Он начал пресмыкаться, и фермер почувствовал себя уверенней.

— Не очень-то честно ты со мной обошелся, — продолжал дракон.

— Неужели?! А почему это я должен с тобой хорошо обходиться?

— Ты скрыл от меня свое имя и сделал вид, что наша встреча произошла случайно. Ты, оказывается, очень знатный рыцарь. А рыцарский обычай, сэр, всегда требовал, чтобы противники, прежде чем бросить вызов, сообщали друг другу свои имена и титулы.

— Может быть, и требовал, а может быть, и сейчас еще требует.

Джайлз был собой доволен. Я думаю, можно простить небольшую долю самодовольства человеку, перед которым пресмыкается огромный царственный дракон.

— Ты, однако, допустил еще одну ошибку, старый червь. Я не рыцарь. Я фермер Эгидиус из Хэма, вот кто я такой. И я ничего не прощаю правонарушителям. Я стрелял в великанов из ружья за ущерб куда меньший, чем причинил ты. Им я тоже не посылал вызова.

Дракон был встревожен.

«Чертов лгун этот великан, — выругался он про себя. — Так меня облапошить! И что теперь мне делать с этим храбрым фермером? А меч так и норовит огреть по шее. Смотри, как он сверкает!»

Сколько он ни напрягал память, он не мог вспомнить, как поступают в подобной ситуации.

— Меня зовут Хризофилакс. Богач Хризофилакс. Чем я могу служить вашей милости? — спросил он с чарующей вежливостью, косясь одним глазом на клинок меча и все еще надеясь избежать битвы.

— Убирайся отсюда подобру-поздорову, чешуйчатая тварь, — сказал в ответ Джайлз, который тоже надеялся избежать сражения. — У меня одно желание — как можно скорее от тебя избавиться. Катись в свою вонючую берлогу, да поживее. Проваливай!

Он шагнул навстречу дракону, размахивая руками, будто распугивал ворон.

Этого оказалось достаточно. Хвосторуб сверкнул в воздухе и, описав дугу, звонко ударил дракона в сочленение правого крыла. Удар был так силен, что у Хризофилакса искры из глаз посыпались. Джайлз, естественно, не был сведущ во всех тонкостях драконоборчества. Знай он правила, его меч поразил бы более чувствительное место. Но Хвосторуб даже в неопытных руках делал чудеса.

Фермер вскочил на кобылу. Дракон пустился наутек. Кобыла за ним. С хриплым воем дракон перемахнул через поле. Кобыла не отставала ни на шаг. Фермер гикал и орал, будто на скачках, и при этом не переставал размахивать Хвосторубом. Чем быстрее дракон улепетывал, тем меньше он понимал, что происходит. Кобыла неслась во весь опор, едва не наступая дракону на хвост.

Нырять в просветы между изгородями, они промчались по всем просекам и полям, перескочили через все ручьи. Дракон выпускал пламя и ревел, вконец потеряв ориентировку. Неожиданно они очутились перед мостом на окраине Хэма. Прогромыхав через мост, они понеслись по деревенской улице под

оглушительный рев дракона. Откуда-то из проулка выскочил Гарм и как ни в чем не бывало присоединился к погоне.

Жители Хэма столпились у окон, а некоторые высыпали на крыши. Они испускали одобрительные крики, хохотали, колотили в сковородки, кастрюли, котлы, трубили в рога и дудки, а священник даже приказал звонить в церковные колокола. Такого шума и гама никто в Хэме не слышал уже добрую сотню лет.

Неподалеку от церкви дракон выдохся. Он лежал посреди дороги и ловил пастью воздух. Гарм, осмелев, подошел ближе и обнюхал ему хвост, но дракон даже не отреагировал на такое оскорбление.

Когда подъехал на кобыле фермер и к церкви стали сбегаться (не забывая, однако, сохранять почтительное расстояние) деревенские жители, вооруженные кто вилами, кто шестом, кто кочергой, дракон, с трудом переводя дыхание, обратился к ним с такой речью:

— Милосердные люди, доблестный воин, не убивайте меня! Я очень богат. Я заплачу за причиненный ущерб. Я возмещу затраты на похороны убитых мною людей, в том числе священника из Окли. Ему высекут роскошное надгробие, хотя, честно говоря, был он скелет скелетом. Все вы получите щедрые подарки, если, конечно, разрешите мне за ними сходить.

— Какова стоимость подарков? — спросил фермер.

— Сейчас прикину.

Дракон начал быстро считать в уме. Он успел заметить, что толпа растет.

— Тринадцать шиллингов и восемь пенсов каждому.

— Ерунда! — воскликнул фермер.

— Чепуха! — подхватила толпа.

— Чушь! — пролаял Гарм.

— По две золотых гинеи каждому, детям в два раза меньше.

— А собакам? — спросил Гарм.

— Давай, давай, говори! Мы ждем, — настаивал фермер.

— Десять фунтов и мешок серебра на душу, а собакам золотые ошейники?

В голосе дракона промелькнула тревога.

— Убить его! — закричали люди — им явно надоела торговля.

— Мешок золота каждому и бриллианты дамам, — поспешил предложить дракон.

— Это уже похоже на разговор, но этого мало, — заявил Джайлз.

— Опять забыл про собак, — вставил Гарм.

— Какого размера мешки? — спросили мужчины.

— А сколько бриллиантов? — любопытствовали их жены.

— О горе мне, горе! — воскликнул Хризофилакс. — Я разорен!

— Ты это заслужил, — сказал фермер. — Выбирай, что лучше — разориться или быть убитым прямо на месте?

Он поиграл Хвосторубом, и дракон испуганно пригнулся к земле.

— Решай! — закричали люди; они совсем расхрабрились и теперь подходили все ближе и ближе. Хризофилакс стал часто мигать. Однако в глубине души он смеялся. К счастью для него, беззвучный этот смех остался незамеченным. Торговля его забавляла. Люди, очевидно, и впрямь надеялись что-то от него получить. Они почти ничего не знали об обычаях его подлого племени — в целом королевстве теперь нельзя было сыскать человека, которому когда-либо приходилось иметь дело с драконами и сталкиваться с их повадками. Дракон постепенно обретал дыхание, а с ним и сообразительность.

— Назовите вашу цену, — предложил он, облизываясь.

Все разом загалдели. Хризофилакс прислушивался с большим любопытством. Один только голос в этом хоре ему не понравился — голос кузнеца.

— Ничего хорошего из этого не выйдет, попомните мои слова. Червяк не вернется, даю голову на отсечение. В любом случае ничего хорошего не ждите.

— Тебя никто не заставляет участвовать в сделке, коли ты не веришь, — возражали ему люди.

Они продолжали ожесточенно спорить, не обращая внимания на дракона.

Хризофилакс поднял голову. Но если он и хотел прыгнуть на толпу, пока все были заняты спором, его постигло разочарование. Рядом стоял фермер Джайлз и рассеянно жевал соломинку. В руке у него поблескивал Хвосторуб. Фермер ни на секунду не сводил глаз с дракона.

— Ни с места! Лежи как лежишь, а не то получишь сполна — и золото тебя не спасет, — предупредил он.

Хризофилакс прижался к земле. Наконец, из толпы выступил священник, которому было поручено вести переговоры.

— Презренный червь, — обратился он к дракону, — ты обязан принести вот на это самое место все свои бесчестно нажитые сокровища. Часть пойдет на возмещение убытков, а все остальное мы разделим поровну. Потом, если ты дашь торжественную клятву никогда больше не тревожить нашу землю и не подстрекать других чудовищ, мы отпустим тебя восвояси. А сейчас ты поклянешься особой клятвой, что вернешься с выкупом. Заклятие это, учти, держит в тисках даже драконью совесть.

Хризофилакс согласился на все условия после притворных колебаний. Он даже принялся лить горячие слезы, оплакивая свое разорение, пока по улице не потекли клубящиеся потоки. Он дал много торжественных замысловатых клятв, обещая возвратиться со всеми сокровищами к празднику святых Хилариуса и Феликса^[8]. Это означало, что на путешествие туда и обратно у него было всего восемь дней, срок смехотворно малый, что, казалось бы, должен был понимать даже полный профан в географии, но тем не менее его отпустили, проводив всей деревней до моста.

— До встречи! — крикнул он уже с другого берега. — Буду ждать ее с нетерпением.

— Мы тоже, можешь не сомневаться! — прокричали ему в ответ.

Жители Хэма были люди очень легковверные. Клятвы, которые дал дракон, безусловно, легли бы камнем на его совесть и наполнили его страхом перед возмездием, будь у него совесть. Но совесть, увы, у него начисто отсутствовала. Простым людям трудно было предположить, что особа королевского происхождения может иметь столь досадный порок, но книгочей священник мог бы и догадаться. Не исключено, впрочем, что он догадался — он ведь был ученый человек и предвидел будущее лучше других.

Кузнец, направляясь в свою кузню, недоверчиво покачивал головой.

— А звучит-то как зловеще — Хилариус и Феликс! Нет, не нравятся мне эти святые, — изрек он мрачно.

Новость, разумеется, не замедлила достичь королевских ушей. Как пожар, пронеслась она по стране, не утратив по пути ни одной детали. Она произвела на короля глубокое впечатление по многим причинам, не последней из которых была пустая казна. Он тут же принял решение самолично ехать в Хэм, в котором произошли такие странные события.

Он прибыл на четвертый день после ухода дракона, проехав через мост на белом коне в сопровождении бесчисленных рыцарей и герольдов. Следом двигался огромный обоз. Жители в праздничной одежде выстроились по обе стороны дороги, приветствуя своего короля. Кавалькада остановилась на поляне перед церковными воротами. Когда король выразил желание видеть фермера Джайлза, тот подошел и опустился перед ним на одно колено. Король приказал ему встать и в знак особой милости похлопал его по спине. Присутствовавшие рыцари сделали вид, что не заметили такой фамильярности. Король велел созвать всех жителей деревни на принадлежавшем фермеру просторном выгоне у реки. Когда народ собрался (включая Гарма, который считал себя причастным ко всем событиям),

Август Бонифаций, тиран и базилевс, милостиво обратился к нему с речью.

Он пространно объяснил, что все богатства подлого Хризофилакса принадлежат ему, королю, как повелителю государства. Он упомянул мимоходом о своем феодальном праве владения также и горной страной (что было всегда предметом нескончаемых споров).

— В любом случае, у нас нет ни тени сомнений, что все сокровища презренного червя были украдены у наших предков. Вам, однако, известна наша щедрость и справедливость и потому можете не сомневаться, что наш верный вассал Эгидиус получит должное вознаграждение. Никто из присутствующих здесь наших достойных подданных, начиная от священника и кончая самым малым ребенком, не уйдет с пустыми руками без знака нашего уважения. Мы выражаем наше высокое одобрение Хэму. Его здоровые неиспорченные жители все еще не утратили отваги, которой с давних времен славился наш народ.

Рыцари во время речи короля не переставали шушукаться, обсуждая последние фасоны шляп.

Жители Хэма кланялись и смиренно благодарили короля, но про себя они думали, что допустили ошибку. Им следовало остановиться на десяти фунтах на брата и не трезвонить по всему свету о предложении дракона. У них хватило ума смекнуть, что знаки королевского уважения вряд ли могут простираться до такой суммы.

Гарм отметил, что в речи не было упоминаний о собаках. Единственный, кто был всем доволен, — это фермер Джайлз. Он не сомневался, что получит поистине королевскую награду, а кроме того, был рад, что так благополучно удалось покончить с тяжелым делом, да еще и упрочить свою репутацию в глазах соотечественников.

Король остался в деревне дожидаться четырнадцатого января. Он приказал раскинуть шатры в поле фермера Джайлза и старался скрасить вынужденное пребывание в жалкой деревушке вдали от столицы веселыми пирами и играми. За три дня королевская свита уничтожила весь имевшийся у жителей запас хлеба, мяса, яиц, цыплят, окороков и баранины и выпила весь эль до последнего бочонка. После этого они принялись ворчать и жаловаться на скудный рацион. Король, надо отдать ему должное, щедро платил за все съеденное и выпитое его свитой, правда, всего лишь чеками (чеки эти впоследствии казначей должен был обменять на золото, так как король надеялся в скором времени сильно пополнить казну). Жителей Хэма, однако, все это вполне устраивало, поскольку они и не подозревали об истинном состоянии казны.

Наступило четырнадцатое января, день двух святых — Хилариуса и Феликса. Народ с утра был на ногах. Рыцари, по случаю праздника, вырядились в доспехи, а фермер облачился в свою самодельную кольчугу. Глядя на него, придворные не скрывали улыбки, пока не заметили неодобрения на лице короля. Фермер пристегнул к поясу Хвосторуб, который без помех вошел в ножны, где и остался преспокойно лежать. Все это не ускользнуло от внимательного взора священника, который, взглянув на меч, задумчиво покачал головой. Кузнец же только посмеивался.

В полдень люди были настолько взбудоражены, что кусок не шел им в горло. Вторая половина дня тянулась мучительно долго. Хвосторуб, однако, не выказывал ни малейшего беспокойства и не делал попытки выскочить из ножен.

Ни наблюдатели, специально высланные на вершину холма, ни мальчишки, усеявшие верхушки деревьев, не заметили ни на земле, ни в воздухе ничего, что предвещало бы приближение дракона. Кузнец ходил, весело насвистывая. И лишь поздно вечером, когда на небе зажглись звезды, в сердца жителей Хэма впервые закралось подозрение, что дракон и не собирается возвращаться. Тем не менее они не могли так быстро расстаться с надеждой, вспоминая замысловатые торжественные драконьи клятвы. Трудно измерить глубину охватившего их отчаяния, когда в полночь истек назначенный срок. Кузнец торжествовал.

— Надо было слушать меня, — повторял он.

Но люди все еще не хотели верить.

— Не забывайте, он ведь был сильно изранен, — говорили одни.

— Мы дали ему слишком мало времени, — заявляли другие. — С гор путь не близкий, да еще с таким

грузом. Может быть, надо было послать кого-нибудь ему в помощь.

Миновал следующий день, а за ним еще один. Последние оптимисты утратили надежду. Король пришел в страшную ярость. Еда и питье были на исходе, рыцари открыто роптали. Им хотелось скорее вернуться к привычным удовольствиям при дворе. Однако король нуждался в деньгах. Он объявил своим подданным о том, что он их покидает, но говорил сухо и не скрывал раздражения. Половину чеков он отписал в пользу казны. Король холодно принял фермера Джайлза, кивком дав ему понять, что аудиенция окончена.

— О нашем решении мы сообщим позднее, — заявил король и отбыл в сопровождении рыцарей и герольдов.

Самые доверчивые и простодушные из деревенских жителей считали, что король непременно пришлет какое-нибудь послание, вызовет ко двору мастера Эгидиуса и уж во всяком случае посвятит его в рыцари. И правда, через неделю пришло письмо, но весьма неожиданного содержания. Составлено оно было в трех экземплярах и под каждым стояла королевская подпись. Один экземпляр предназначался для Джайлза, второй для священника, а третий было велено прибить к церковной двери, но только один лишь священник мог прочесть послание, так как при дворе писали в то время очень витиевато, а потому для жителей Хэма это было все равно что книжная ученая латынь. Священник перевел письмо на простой, доступный язык и прочитал его с кафедры. Для королевского послания оно было непривычно коротким и деловым. Видно было, что король торопился.

Послание гласило:

В Хэме считали, что фермер удостоился высокой чести и рыцарское звание теперь — дело решенное. Мельник откровенно завидовал Джайлзу.

— Друг Эгидиус, — говорил он, — ты идешь в гору. Не уверен, узнаешь ли ты нас по возвращении.

— А может быть, он вообще не вернется, — не преминул вставить кузнец.

Фермер не на шутку рассердился:

— Типун тебе на язык, старая образина! Плевал я на честь! А коли вернусь, так и мельнику буду рад. Сейчас одно утешение — хоть недолго, да отдохну от вас обоих.

С этими словами он повернулся и ушел.

От короля, к сожалению, не отвертеться, как от деревенских соседей. Ягнята — не ягнята, вспахано — не вспахано, хороший удой или плохой — полезай на сивку и отправляйся в путь-дорогу. Священник пришел проводить Джайлза.

— Ты, надеюсь, запасся крепкой веревкой? — спросил он.

— Для чего? Чтоб повеситься?

— Придет же такое в голову! Мне кажется, мастер Эгидиус, ты должен поверить в свою удачу. А вот длинную веревку возьми с собой непременно. Она тебе пригодится, если меня не обманывает предчувствие. Ну, а теперь прощай и возвращайся целым и невредимым.

— Да, уж могу себе представить, в каком виде я застану дом и ферму. Проклятые драконы! Житья от них нет!

Смотав веревку, Джайлз запихал ее в сумку, привязанную к седлу, взобрался на кобылу и тронулся в путь.

На сей раз он не взял с собой пса. Тот, правда, все утро не показывался, но, как только уехал хозяин, прокрался в дом и лег. Ночью он принялся громко выть, получил за это трепку, но вой не прекратил.

— На помощь! На помощь! Не видать мне больше дорогого хозяина! Такого свирепого! Такого прекрасного! Лучше бы я пошел вместе с ним!

Жена фермера не выдержала:

— Я с тебя шкуру спущу, еще до того как вернется хозяин! Прекрати сейчас же!

— Это плохая примета, — поспешил радостно объявить кузнец, как только слышал собачий вой.

Между тем шли дни, а фермера не было ни слуху ни духу.

— Вестей нет, значит, плохи дела, — говорил кузнец и тут же начинал насвистывать веселый мотив.

Когда усталый и покрытый дорожной пылью Джайлз наконец добрался до королевского двора, рыцари в сверкающих кольчугах и металлических шлемах стояли наготове, каждый возле своего коня. Они были сильно раздражены призывом короля и участием Джайлза в походе и теперь настаивали на точном исполнении приказа — то есть ждали Джайлза, чтобы тут же тронуться в путь. Джайлз едва успел промочить глотку и проглотить кусок хлеба, как уже снова сидел в седле. Кобыла была оскорблена. К счастью, она не могла выразить словами все то, что она думала о короле, — речь ее сочли бы крайне непочтительной.

День был уже на исходе. «Поздновато начинать драконью охоту», — подумал Джайлз. Опасения его, однако, были напрасны — отряд двигался черепашьям шагом. Теперь, когда королевский двор остался позади, торопиться было некуда. Рыцари ехали не спеша — беспорядочной вереницей тянулись за ними оруженосцы, слуги, кони с перекинутыми через спину тюками. Позади всей процессии на своей усталой кляче трусил фермер Джайлз.

Как только стемнело, все спешили и разбили лагерь. Никто не подумал позаботиться об ужине для фермера, и ему достались лишь жалкие крохи. Кобыла, которая была вне себя от негодования, отреклась от своей верности дому Августа Бонифация.

Они ехали весь следующий день и затем еще день. На третьи сутки вдаль замаячили неясные очертания каких-то неприятных гор. Спустя короткое время охотники достигли местности, где власть Августа Бонифация признавалась далеко не всеми. Здесь они двигались, соблюдая осторожность и стараясь держаться поближе друг к другу.

На четвертый день они добрались до Диких Холмов и границы подозрительных земель, где, как принято было считать, водились мифические существа. Один из рыцарей, едущий впереди, неожиданно наткнулся на чьи-то странные следы на песке, неподалеку от ручья. Тотчас же позвали фермера.

— Что это такое, мастер Эгидиус? — спросили его.

— Драконьи метки, — ответил он не колеблясь.

— Тогда веди нас сам, — тут же предложили рыцари.

Они повернули на запад, и фермер Джайлз теперь возглавлял отряд. Колечки на его кожаной кольчуге непрерывно позвякивали, но теперь их не было слышно, так как рыцари смеялись и болтали, а сопровождавший их менестрель пел героическую песню. Время от времени все дружно подхватывали припев. Рыцари приободрились, так как это была хорошая старинная песня, которую сложили в далеком прошлом, когда битвы случались гораздо чаще, чем турниры. Но, несмотря на это, поведение рыцарей вряд ли было разумным, поскольку все обитатели страны теперь знали об их приближении. Во всех пещерах на Западе драконы наострили уши, а это означало, что упущен был последний шанс застать Хризофилакса спящим.

На сей раз судьба (впрочем, не исключено, что не судьба, а фермерская кобыла) распорядилась весьма странным образом — как только они въехали под сень мрачных гор, кобыла охромела. Теперь они карабкались по крутым каменистым тропкам, с трудом одолевая все новые и новые подъемы. Тревога охватила душу фермера. Кобыла понемногу начала отставать, ежеминутно спотыкаясь и припадая на одну ногу, пока не очутилась в арьергарде. Во всем ее облике при этом было столько терпеливой покорности и грусти, что фермер, не выдержав, слез на землю и двинулся дальше пешком. Вскоре они оказались в самом хвосте отряда, позади выючных лошадей. Но этого никто не заметил. Рыцари были поглощены обсуждением чинов и этикета, и внимание их было полностью отвлечено. Иначе они бы заметили, что количество драконьих следов резко возросло и теперь они были отчетливо видны. Отряд как раз проходил места, где Хризофилакс часто прогуливался, чтобы поразмяться, или приземлялся после каждодневных

тренировочных полетов. Невысокие холмы и склоны по обе стороны тропинки были во многих местах сожжены и вытоптаны. Трава осталась лишь кое-где, а скрученные обугленные стебли вереска и утесника чернели среди белесых пятен усеянной пеплом земли. Этот район издавна служил Хризофилаксу площадкой для игр. Впереди, прямо перед ними, маячила мрачная громада гор.

Фермер Джайлз был сильно обеспокоен поведением своей кобылы, хотя и рад, что это избавило его от необходимости торчать все время на виду. Ему не доставляло ни малейшего удовольствия возглавлять кавалькаду в этих унылых, зловещих местах. Как затем показали обстоятельства, он должен был благодарить судьбу (и, соответственно, свою кобылу), что все сложилось именно так, а не иначе, ибо примерно в полдень, на седьмой день их путешествия, Хвосторуб неожиданно выскочил из ножен, а дракон — из пещеры. Презрев необходимые формальности, дракон бросился в бой без предупреждения. С диким ревом налетел он на отряд. Вдали от родных мест он не выказал себя большим храбрецом, несмотря на свою древнюю царскую родословную. Сейчас, однако, он был преисполнен боевой ярости, защищая сокровища у врат своих владений. Как гроза, с гулом и воем, вылетел он из-за склона горы, в сполохах красных молний.

Спор о чинах и рангах разом оборвался. Испуганные лошади метнулись к обочинам по обе стороны дороги, сбросив часть седоков. Пони с поклажей пустились рысью, за ними слуги — они-то знали, что им по чину полагается спасать собственную шкуру.

Неожиданно дракон выпустил облако удушающего дыма и тут же обрушился на передовую часть отряда. Несколько рыцарей было убито на месте, прежде чем они успели бросить по всем правилам вызов, многие вылетели из седел и в тяжелых доспехах покатались под ноги лошадей. Об остальных позаботились кони — они повернули назад и припустили галопом, унося на спине своих хозяев, хотели те того или нет. Впрочем, вряд ли нашлось бы среди рыцарей много желающих остаться на поле битвы.

Старая кобыла, однако, не тронулась с места. Может, она боялась переломать ноги на крутом каменистом спуске, а может, слишком устала и у нее не было сил бежать. Кроме того, она твердо знала, что с летящим драконом лучше столкнуться нос к носу, чем ждать его нападения с тыла, ибо в этом случае понадобились бы ноги во сто крат более быстрые, чем у скаковых лошадей. Следует учесть, что это была не первая ее встреча с Хризофилаксом, и она едва ли забыла, как гнала его через поля и ручьи у себя на родине, пока он не свалился, как подкошенный, на главной деревенской улице: так или иначе, но она широко расставила ноги и фыркнула. Фермер Джайлз смертельно побледнел, но выхода у него не было, и он остался стоять рядом с кобылой.

И нужно же было так случиться, чтобы дракон, налетевший вихрем на рыцарский отряд, опустился носом к носу со своим заклятым врагом, в руках которого к тому же поблескивал Хвосторуб. Такого сюрприза Хризофилакс не ожидал. Он метнулся в сторону, словно гигантская летучая мышь, и рухнул всей тяжестью на склон, неподалеку от дороги. Кобыла, забыв о своей хромоте, проворно двинулась за ним. Это придало Джайлзу смелости, и он торопливо взгромоздился ей на спину.

— Прости, пожалуйста, — обратился он к дракону, — не меня ли, не ровен час, ты ищешь?

— Нет, что ты! Кто б ожидал тебя здесь увидеть? Я просто так, от нечего делать, летал по округе.

— Значит, нам повезло. Особенно мне, так как я-то как раз тебя и искал. Но это далеко не все. Нам с тобой необходимо уладить одно дельце. Даже не одно, к слову сказать.

Дракон фыркнул, фермер поднял руку, защищая лицо от его палящего дыхания. И в ту же минуту Хвосторуб, сверкнув в воздухе, стрелой пронесся мимо носа дракона.

— Прошу прощения, — сказал Хризофилакс и прекратил фыркать. Он задрожал и начал пятиться от кобылы, а огонь внутри него погас.

— Ты, надеюсь, не убивать меня пришел? — спросил дракон.

— Как тебе это могло прийти в голову? Об убийстве нет речи.

Тут сивая кобыла засопела.

— В таком случае позволь спросить, что ты здесь делаешь в обществе рыцарей? Рыцари всегда

убивают драконов, если, конечно, мы не убиваем их первыми.

— Ничего не делаю, — сказал Джайлз. — Рыцари для меня — пустое место, что они есть, что нет. Да что теперь толковать? Те, кто уцелел, уже удрали. Лучше скажи, как насчет клятвы, что ты дал в Крещение?

— А что случилось? Что-нибудь неладно? — обеспокоенно спросил дракон.

— Прошел почти месяц, и ты просрочил свой долг. Мне пришлось специально ехать за ним. Тебе бы следовало извиниться за все хлопоты, которые ты мне причинил.

— Прошу прощения, — сказал дракон. — Мне жаль, что тебе пришлось проделать такой путь.

— Но теперь уж тебе придется расстаться со всеми сокровищами без остатка. И не вздумай торговаться, а не то спущу шкуру, вывешу ее на колокольне, чтоб другим было неповадно.

— Это бесчеловечно, — сказал дракон.

— Сделка есть сделка.

— А можно мне оставить себе хотя бы пару колец или немного золота, учитывая, что я плачу наличными?

— Ни единой медной пуговицы, — предупредил Джайлз.

Они еще некоторое время громко спорили и бранились, как на ярмарке. Но кончилось все так, как и следовало ожидать, поскольку в искусстве торговаться фермер Джайлз не знал равных.

Дракон был вынужден всю обратную дорогу до пещеры идти пешком, так как рядом шагал Джайлз с Хвосторубом. Узкая тропинка, на которой едва могли поместиться двое, серпантином вилась вокруг горы. Кобыла шла следом, и вид у нее, надо сказать, был весьма глубокомысленный.

До пещеры было тютелька в тютельку пять миль, притом тяжелейшего пути. Фермер с трудом тащился, отдувался, пыхтел, но ни на секунду не спускал глаз с дракона. Наконец на западном склоне горы показалась пещера, огромная зияющая дыра. Тяжелые кованые ворота были подвешены на высоких железных столбах. Они ясно свидетельствовали, что когда-то, во время оно, здесь обитал сильный и независимый народ. Как известно, драконы никогда не возводят построек и не роют подземных ходов. Они предпочитают, когда представляется возможность, селиться в старых гробницах и сокровищницах великих воинов и гигантов прошлого. Ворота подземного дома были широко распахнуты, и, подойдя поближе, фермер и кобыла остановились под их сенью. Хризофилакс, до сих пор не имевший возможности ускользнуть из-под бдительного ока фермера, очутившись перед дверью собственного дома, сразу же попытался нырнуть в пещеру.

Джайлз ударил его наотмашь рукояткой меча.

— Тпру! Прежде чем идти, послушай, что я хочу тебе сказать. Если ты не вернешься сюда через очень короткое время и не принесешь что-нибудь стоящее, я сам приду к тебе и для начала отрублю хвост.

Кобыла снова фыркнула. Кто-кто, а она-то знала, что ни за какие коврижки фермер Джайлз не сунется один в драконью нору. Но Хризофилакс готов был поверить в угрозу фермера, тем более что в руке у того поблескивал острый клинок Хвосторуба да и вообще все его поведение не обещало ничего хорошего. Не исключается, однако, что на сей раз дракон был прав, а кобыла, несмотря на всю свою мудрость, не заметила перемен, которые произошли с ее хозяином. Фермер Джайлз, одержав две победы, уверовал в свою удачу и стал даже думать, что против него не устоит ни один дракон.

Как бы то ни было, но через очень короткое время появился Хризофилакс. Он нес слитки золота и серебра, явно попавшие к нему из какого-то клада, и ларец с кольцами, ожерельями и прочими украшениями.

— Вот, смотри, — сказал он фермеру.

— На что смотреть?! Здесь нет и половины обещанного, если ты это имеешь в виду. Голову дам на отсечение, это лишь малая толика твоих сокровищ.

— Да-да, конечно, — сказал дракон. Он очень встревожился, увидев, что фермер стал гораздо догадливее со дня их последней встречи в деревне.

— Конечно, это не все, — повторил он. — Не мог же я принести все за один раз.

— И даже за два не принесешь, бьюсь об заклад, — сказал фермер. — Живо туда и обратно, если не хочешь отведать Хвосторуба!

— Ой, не надо! — взмолился дракон и одним прыжком исчез в пещере. Не прошло и минуты, как он выпрыгнул обратно и положил перед фермером огромный слиток золота и два ларца с бриллиантами.

— Ну, а теперь еще раз! — скомандовал фермер. — Да потрудись как следует!

— Это бесчеловечно! В высшей степени бесчеловечно! — сказал дракон и снова скрылся в пещере.

Теперь не на шутку встревожилась кобыла. «Хотела бы я знать, кто потащит домой этот тяжелый хлам», — подумала она и при этом устремила такой печальный и долгий взгляд на мешки и ларцы, что фермер сразу понял, куда она клонит.

— Не беспокойся, девочка, — сказал он. — Мы заставим старого червя везти поклажу.

— Смилуйся, мастер! — взмолился дракон, невольно подслушавший его слова, — он как раз вышел из пещеры в третий раз, таща самый тяжелый груз: множество драгоценных камней переливалось всеми цветами радуги. — Смилуйся, мастер! Тащить весь этот груз для меня равносильно смерти. А если добавить еще мешок, то мне при всем желании не справиться, даже если ты убьешь меня.

— Значит, там еще что-то осталось?

— Да, ровно столько, чтобы обеспечить мне приличное существование.

Самое удивительное, что дракон говорил почти искренне и, как показали дальнейшие события, весьма разумно.

— Если ты оставишь мне крохи, что лежат в пещере, — сказал предусмотрительно дракон, — в моем лице ты обрешь верного друга. Я отнесу все сокровища в дом твоей милости, а не в королевский дворец. И главное, помогу тебе их сохранить.

Фермер достал левой свободной рукой из кармана зубочистку и глубоко задумался.

— По рукам! — воскликнул он через минуту, выказав тем самым похвальную рассудительность. На его месте рыцарь потребовал бы сполна все сокровища и наверняка бы навлек на себя драконье проклятие. А если бы фермер довел дракона до отчаяния, тот в конце концов мог бы на него кинуться, невзирая на Хвосторуб. И Джайлз, даже если бы остался цел, вынужден был бы покончить со своим возчиком и бросить часть сокровищ в горах.

Фермер недолго предавался сомнениям. На всякий случай он туго набил карманы драгоценностями и совсем уже легкий сундучок водрузил на кобылу. Весь остальной груз в ларцах и мешках он навалил на спину Хризифилаксу, так что тот стал похож на фургон для перевозки королевской мебели. Можно было не опасаться, что дракон сбежит — поклажа была слишком тяжелой, да к тому же фермер связал ему крылья.

«Вот и веревка пригодилась», — подумал Джайлз, с благодарностью вспомнив священника.

Приготовления были окончены, и дракон, кряхтя и задыхаясь, тронулся в путь, за ним, едва не наступая ему на хвост, трюхала кобыла, а за ней шел фермер с обнаженным грозным Хвосторубом. Дракону было не до шалостей.

Несмотря на тяжелый груз, дракон и кобыла двигались с большей скоростью, чем рыцарский отряд, фермер Джайлз все время их подгонял — он очень торопился, и его тощий мешок для провианта был не последней причиной такой спешки. Кроме того, он не доверял дракону после того, как тот нарушил торжественные и ко многому обязывающие клятвы. Фермер мечтал только о том, чтобы ночь миновала без кровопролития. Но еще до наступления темноты ему снова крупно повезло. Они нагнали полдюжины слуг, которые в спешке бежали вместе с лошадьми и теперь бродили, не зная, куда податься. Завидев диковинную процессию, они в смятении и страхе бросились врассыпную, так что фермеру пришлось долго кричать им вслед:

— Эй, парни! Вернитесь! Есть для вас работа и хорошее жалованье, пока с нами идет золотой мешок.

Поразмыслив, парни согласились пойти на службу к фермеру. Они обрадовались, что нашелся

человек, который положит конец их скитаниям по горам и, похоже, жалованье будет платить исправнее, чем прежние хозяева.

Итак, отряд теперь состоял из семи человек, шести пони, одной кобылы и дракона. Фермер почувствовал себя господином положения и шел, гордо выпятив грудь. Они старались делать как можно меньше привалов. На ночь Джайлз привязал дракона к четырем кольям, каждую лапу отдельно, и поставил троих слуг стеречь его поочередно. Сивая кобыла спала, на всякий случай приоткрыв один глаз, чтобы сторожа не выкинули какой-нибудь неожиданный номер.

Через три дня они добрались до границы своего государства. Их появление произвело ошеломляющий эффект и вызвало бурю ликования, неслыханного доселе на острове. В первой же деревне, где они остановились, им стали тащить в изобилии еду и пиво, притом совершенно бесплатно, а половина деревенских парней пожелали присоединиться к отряду. Джайлз отобрал дюжину пригожих молодцов. Он положил им хорошее жалованье и купил лошадей, лучших из тех, что удалось достать. Похоже, что в голове у фермера зародились какие-то новые идеи.

Отдохнув день, они отправились дальше в сопровождении новоиспеченного эскорта. Молодые люди пели песни в честь фермера, и, хотя песни эти были сложены наспех, Джайлзу они нравились и слушал он с удовольствием. При виде процессии большинство жителей раздражались приветствиями, а часть покатывалась со смеху, ибо зрелище, которое процессия являла, было одновременно потешное и удивительное.

Вскоре Джайлз круто повернул на юг и направился в сторону Хэма, минуя королевский двор. Он даже не послал к королю гонца. Но, несмотря на это, весть о возвращении мастера Эгидиуса пожаром пронеслась с запада на восток, вызывая повсюду изумление и растерянность, так как она шла по пятам королевского указа, предписывающего всем городам и деревням объявить траур по храбрым рыцарям, погибшим в горных ущельях.

Стоило, однако, появиться фермеру Джайлзу, как траур мгновенно был забыт: звонили колокола, толпы народа собирались на обочине, приветствуя фермера громкими криками, размахивая шапками и шарфами. Дракона, однако, встретили шиканьем и свистом и довели его до того, что он стал жалеть о своей сделке с фермером. Все это было нестерпимо унижительно для чести и достоинства особы древнего царского рода. Когда же они добрались до Хэма, то там даже собаки лаяли издевательским лаем, все, за исключением Гарма. Гарм никого не видел и не слышал, кроме своего дорогого хозяина. Он совершенно рехнулся от счастья и, не переставая, кувыркался и ходил колесом по всей улице.

Трудно описать прием, устроенный фермеру жителями Хэма, но, пожалуй, ничто не доставило ему такой радости, как растерянность мельника, который на сей раз не нашелся, как съязвить, а также вытянутая от разочарования физиономия кузнеца.

— Это еще не конец, помяните мои слова, — успел он все же сказать, но больше ничего не мог придумать и уныло повесил нос.

Фермер с шестью слугами, дюжиной пригожих молодцов, драконом и всем скарбом поднялся к себе на холм, и на некоторое время там воцарилась тишина. Из всех жителей один только священник был приглашен в дом.

Новости вскоре дошли и до столицы. Забыв об официальном трауре и, заодно, о своих делах, народ собирался на улицах и устраивал оглушительный галдеж и шум.

Король в это время сидел в своем огромном королевском дворце, кусал ногти и непрерывно дергал себя за бороду. В промежутках между приступами горя и ярости (и беспокойства о пустой казне), он впадал в такое мрачное уныние, что никто не решался с ним заговорить. Но в конце концов уличный шум достиг и его ушей, однако шум этот отнюдь не был траурным и в нем нельзя было различить рыданий.

Король пришел в ярость.

— По какому поводу там расшумелись? — спросил он. — Прикажите всем разойтись по домам и вести себя пристойно, как подобает при трауре. У меня ощущение, будто я на гусином базаре.

— Ваше Величество, дракон вернулся.

— Как!!! Сзывайте немедленно рыцарей, ну... словом, все, что осталось от отряда.

— В этом нет необходимости, Ваше Величество. Дракон при мастере Эгидиусе ручной, как котенок. Так по крайней мере говорят. Сведения свежие давно не поступали, а те, что есть, очень противоречивы.

— Благослови нас Господь! — сказал король с явным облегчением. — Подумать только, мы на послезавтра заказали панихиду за упокой души этого фермера. Отменить! А что слышно о наших сокровищах?

— Согласно сообщениям, там, вероятно, горы сокровищ, Ваше Величество.

— А когда они придут? — нетерпеливо спросил король. — Хороший малый этот Эгидиус!.. Пошлите его к нам, как только он появится.

Никто не решился ответить королю. Наконец один из придворных набрался храбрости.

— Прошу прощения, Ваше Величество, но мы слышали, что фермер свернул с пути и направился к себе в Хэм. Я уверен, что он поспешит сюда при первом же удобном случае, как только переменит платье.

— В этом можно не сомневаться. Но к черту платье! Он не имел права возвращаться домой, не доложив нам. Мы выражаем свое крайнее неодобрение.

Первый случай, видимо, оказался не очень удобным, как, впрочем, и второй, и третий. Фермер Джайлз добрую неделю, а то и больше, жил дома и не подавал о себе никаких вестей.

На десятый день терпение короля лопнуло, и он впал в страшный гнев.

— Пошлите немедленно за этим мужланом! — приказал он.

Тут же был снаряжен гонец. Каким путем ни езжай, меньше чем за день до Хэма добраться нельзя, притом путь туда нелегкий. Через два дня гонец вернулся.

— Фермер отказался приехать, Ваше Величество, — сообщил он дрожащим от страха голосом.

— Молнии небесные! — воскликнул король. — Велите ему прибыть сюда в следующий вторник, иначе он будет пожизненно заточен в темницу.

— Прошу прощения, Ваше Величество, но он не приедет, — доложил несчастный гонец, вернувшись ни с чем во вторник.

— Десять тысяч громов! — взревел король. — Бросьте невежу в темницу! Возьмите несколько человек, чтобы заковать деревенщину в цепи, и приведите его!

— А сколько человек? — спросил, заикаясь, один из придворных. — Там ведь дракон, и... и Хвосторуб...

— И... и... и... черт и дьявол! — крикнул в бешенстве король.

Он приказал седлать белого коня, созвал рыцарей (вернее, их жалкие остатки), отряд оруженосцев и покинул столицу в гневе и ярости.

Все его подданные выбежали на улицу и с изумлением смотрели вслед всадникам.

Фермер Джайлз отныне был не только первым Героем Округи, но и Первым Любимцем Страны. Жители деревень, через которые проезжала кавалькада, теперь встречали рыцарей молчанием, хотя еще по привычке снимали шапки перед королем. И чем ближе к Хэму, тем угрюмее становились лица. В нескольких деревнях люди заперлись в домах, и на улице нельзя было сыскать ни души.

Ярость короля сменилась холодным негодованием. С мрачным видом он подъехал к реке, на другом берегу которой лежал Хэм и стоял на холме фермерский дом.

Король едва удержался от того, чтобы не спалить его, но на мосту верхом на сивой кобыле восседал сам фермер Джайлз и в руке держал Хвосторуб. На дороге дремал Гарм, а больше никого вокруг не было видно.

— Доброе утро, Ваше Величество, — первым приветствовал короля Джайлз, улыбаясь широкой улыбкой.

Король бросил на него ледяной взгляд.

— Ты ведешь себя неподобающим для нашего присутствия образом. Кроме того, непростителен твой отказ приехать по нашему требованию.

— Честно говоря, Ваше Величество, у меня это просто из головы выскочило. Своих дел по горло, а тут еще уйма времени ушла на ваши поручения.

— Десять тысяч громов! — вскричал король, снова впадая в ярость. — Черт тебя побери вместе с твоим нахальством! Ничего ты не получишь, никакого вознаграждения! Считай, что тебе повезло, коли не будешь болтаться на веревке. Но все равно виселица тебе уготовлена, если ты сейчас же не попросишь прощения и не отдашь меч.

— Ну уж нет! И не проси. Мне кажется, я его честно заработал. Ты же знаешь поговорку: что нашел, то мое и никому не отдам. Хвосторуб надежней в моих руках, чем в руках у твоих вояк. Кстати, что здесь делают все эти рыцари и придворные? Если ты приехал в гости, мог бы обойтись и меньшей свитой, а если ты хочешь меня увести, тебе явно ее не хватит.

Король задохнулся от возмущения, а рыцари побагровели и презрительно фыркнули. Несколько оруженосцев ухмыльнулись, когда король отвернулся.

— Отдай мне мой меч! — завопил король, обретя голос, но забыв при этом про множественное число.

— Ну а ты тогда отдай нам корону! — сказал Джайлз.

Такого ошеломляющего предложения никто не слышал за всю историю Срединного Королевства.

— Молнии небесные! Хватайте его и вяжите! — закричал король уже вне себя от бешенства. — Что вы медлите? Хватайте его или убейте!

Оруженосцы выступили вперед. Но тут залиvistо залаял Гарм.

— Караул! Караул! Карау-у-ул!

В ту же минуту из-под моста вылез дракон. Он лежал, затаившись, глубоко под водой у противоположного берега. Теперь он выпустил огромный фонтан, так как втянул в себя галлоны воды. Все вокруг потонуло в густом тумане, лишь ярко сверкали драконьи глаза.

— Убирайтесь домой, идиоты! — проревел он. — А не то рразорву в клочья! Мало рыцарей кормит воронов в горных ущельях? Захотелось покормить еще и рыб? Недолго ждать, скоро туда отправится вся королевская конница, вся королевская рать!

Дракон прыгнул и ударил когтистой лапой белого королевского коня, который тут же сорвался с места и побежал со скоростью десяти тысяч громов, о которых так часто вспоминал король. Остальные лошади немедленно последовали его примеру. Тем более что часть из них в недавнем прошлом уже имела дело с драконом и воспоминания об этой встрече были не из приятных. Оруженосцы тоже разбежались во все стороны, лишь бы подальше от Хэма.

Белый конь получил сильные царапины, но удрать далеко ему не удалось. Король, оправившись, заставил его повернуть обратно. Как бы то ни было, но конь пока еще был ему подвластен. Никто не мог сказать, что король трус — он никого на свете не боялся, ни людей, ни драконов. Когда он вернулся на мост, туман рассеялся, а вместе с ним королевские рыцари и оруженосцы. Теперь положение изменилось: королю предстоял разговор один на один с этим грубо сколоченным фермером, владельцем Хвосторуба и дракона.

Разговор, однако, ни к чему не привел. Фермер Джайлз упорно стоял на своем. Он ни в чем не хотел уступить королю, но каждый раз отказывался от поединка, когда король бросал ему вызов.

— Нет, Ваше Величество, — отвечал он со смехом. — Ступай ты домой и приди в себя. Я не хочу тебя калечить. Но тебе лучше уйти, а иначе я не ручаюсь за червя. Всего тебе доброго!

Так закончилась Битва на Хэмском Мосту. Король не получил ни одного пенса из сокровищ дракона и

не дождался извинений от фермера Джайлза, который теперь сильно о себе возомнил. Более того, начиная с этого дня окончилась власть Срединного Королевства над жителями окрестных мест. На много миль вокруг теперь правителем считался Джайлз. Король, невзирая на высокие титулы, не мог никого уговорить выступить против мятежного Эгидиуса, ибо теперь Джайлз был Любимцем Страны и героем эпоса. Невозможно было истребить все песни, воспевающие подвиги фермера. Среди песен особой любовью и популярностью пользовались комические куплеты о героической встрече на мосту. Их было великое множество.

Хризофилакс еще долго прожил в Хэме, надо сказать, к большой выгоде фермера, так как нельзя не уважать человека, в доме которого живет ручной дракон. С разрешения священника дракона поселили в церковном амбаре, где его стерегли двенадцать пригожих молодцов. Так появился первый титул Джайлза «Dominus de Domito Serpente», или попросту «Лорд-хранитель Ручного Дракона». В качестве такового Джайлз пользовался огромным почетом. Он выплачивал символическую дань королю — шесть бычьих хвостов и пинту пива в день святого Матфея, который и был днем встречи на мосту. Прошло немного времени — и он стал графом и, как подобает графу-смотрителю дракона, опоясывался поясом необыкновенной длины.

Еще через несколько лет он стал герцогом Юлиусом Эгидиусом и перестал платить дань. Он был сказочно богат, выстроил себе роскошные покои и завел армию оруженосцев, бойких и веселых, так как на них были самые лучшие и дорогие доспехи. Все двенадцать пригожих молодцов стали капитанами. Гарм получил ошейник из чистого золота и вел свободную, счастливую жизнь гордой и независимой собаки. Его с трудом терпели собратья, так как он считал, что они должны разделять его восхищение грозным и великолепным хозяином. Кобыла, когда пришел ее час, спокойно отошла в мир иной, так до конца ничем и не выдав своих мыслей.

В конце концов Джайлз стал королем Малого Королевства. Он короновался в Хэме под именем Эгидиуса Дракониды, но известен больше как Старый Червячник Джайлз. При его дворе в моду вошел простой народный язык и больше не нужно было произносить речи на книжной латыни. Жена его стала королевой огромных размеров и величия. Была она прижимиста и королевство держала в ежовых рукавицах. И если бы нашелся хоть один смельчак, который решился бы обойти леди Агату, ходить ему пришлось бы долго.

Так Джайлз дожил до старости в почете и уважении. У него теперь была белая борода до колен, респектабельный двор (где люди часто награждались по заслугам) и совершенно по-новому организованный рыцарский орден с эмблемой дракона на знамени.

Удача, надо сказать, сыграла немалую роль в возвышении Джайлза, но у него хватило здравого смысла для того, чтобы разумно ею воспользоваться. Удача и здравый смысл не покинули его до конца дней, что было на руку всем его друзьям и соседям. Он щедро одарил священника, и даже кузнецу с мельником кое-что перепало. Джайлз теперь мог позволить себе быть щедрым. Став королем, он издал суровый закон против неблагоприятных пророчеств и сделал мукомольное дело государственной монополией. Кузнец поменял профессию и пошел в гробовщики, мельник, однако, остался рьяным приверженцем короны. Священник получил епископский сан и епархию в Хэме, где он перестроил соответствующим образом церковь.

Те, кто сейчас живет на землях Малого Королевства, найдут в его истории объяснение названий многих городов и деревень. В память дракона, главного виновника их славы и удачи, дракониды выстроили большой дворец в четырех милях к северо-западу от Хэма, как раз на том месте, где произошло первое знакомство Джайлза с Хризофилаксом. Это место прославилось в целом королевстве как Aula Dracopagia, что по-нашему значит дом червячника, в честь короля и королевского знамени с изображением дракона.

С той поры утекло много воды и переменилось лицо страны — королевства канули в лету, леса погибли и реки изменили русла. Остались неизменными только горы. Но название места тем не менее сохранилось, хотя люди обычно называют его Вунл (или что-то в этом роде, как мне сказали). Деревни давно утратили свой независимый дух. Однако во времена, о которых говорится в нашем предании, здесь

был Драконарий, королевская резиденция, и над деревнями развевался флаг с изображением дракона. Жизнь была веселой и беспечной, пока на страже стоял Хвосторуб.

ENVOY

[9]

Хризофилакс не раз просил Джайлза отпустить его на свободу. С годами его все труднее было прокормить, поскольку он, как все драконы и деревья, рос не переставая.

Через несколько лет, когда положение Джайлза полностью упрочилось, он решил отпустить бедного червя. Расстались они с многочисленными изъявлениями взаимного уважения, причем обе стороны подписали пакт о ненападении. В самой глубине своей злой души дракон чувствовал нечто похожее на расположение к Джайлзу, насколько вообще может чувствовать расположение дракон. Немаловажную роль здесь играл Хвосторуб: в любую минуту он мог лишить дракона жизни, а заодно и припрятанных сокровищ. Что ни говори, но дома в пещере его ждал солидный клад, о чем догадывался Джайлз.

Хризофилакс поднялся в воздух и медленно полетел в направлении гор. Крылья его слушались плохо: он почти не летал все эти годы, а кроме того, сильно прибавил в размере и весе. Добравшись до своего дома, он немедленно выдворил из пещеры молодого дракона, у которого хватило наглости поселиться в ней, воспользовавшись отсутствием хозяина. Шум битвы, как рассказывают, слышен был во всех концах Змееленда. Когда, наконец, Хризофилакс с большим удовольствием сожрал своего поверженного противника, он сразу почувствовал себя лучше — душевные раны стали затягиваться, и он заснул крепким сном. Потом неожиданно вскочив, он отправился на поиски самого высокого и самого глупого великана, который заварил всю эту кашу летней ночью много лет назад. Дракон выложил ему все, что думал по этому поводу, и, нужно признать, бедняга великан был сражен.

— Так, значит, то было ружье? — произнес он, почесывая голову. — А я-то думал — это оводы.

FINIS,

или по-нашему

КОНЕЦ

ЛИСТ КИСТИ НИГГЛЯ

Перевод М. Каменкович

Жил да был маленький человек по имени Ниггль, которому предстояло совершить далекое путешествие. Но ехать ему было неохота. По правде сказать, ему сама мысль об этом путешествии претила. Но изменить он ничего не мог. Ниггль знал, что когда-нибудь пуститься в дорогу все же придется. Однако чемоданы укладывать не спешил.

Ниггль был художник. Правда, он не слишком-то преуспевал, отчасти потому, что его постоянно отвлекали другие дела. Сам он считал эти дела по большей части докучными и обременительными, но, если уклониться от них не удавалось, а не удавалось, по его мнению, почти всегда, выполнял он их более или менее добросовестно. На родине Ниггля действовали довольно жесткие законы... Но это была не единственная помеха работе. Например, подчас Нигглю попросту досаждала собственная лень, и он предавался ничегонеделанию. С другой стороны, он был на свой манер жалостлив. Такие жалостливцы не редкость: стоит кому-нибудь начать вздыхать да плакаться на жизнь, как они тут же раскисают, но чтобы сорваться с места и броситься на выручку — этого не жди. Если же Ниггль все-таки принимал решение что-то сделать, это не мешало ему раздражаться и ворчать, а иной раз он даже позволял себе втихомолку выругаться. И все равно жалостливое сердце втягивало его во множество дел и забот, причем особенно часто приходилось Нигглю подсоблять некоему господину Пэришу, проживавшему по соседству, — кстати, Пэриш был хром. Случалось Нигглю иной раз помогать и тем, кто жил от него гораздо дальше, чем Пэриш. При этом время от времени художник вспоминал о грозящем ему Путешествии и начинал суетиться со сборами, но без особого успеха. В такие дни он рисовал мало.

Вообще он писал одновременно несколько картин, но все они были чересчур велики: Ниггль замахнулся в них слишком на многое, притом что вообще-то он был из тех, кому листья удаются лучше деревьев. Ему случалось целыми днями биться над каким-нибудь крошечным листиком, силясь во что бы то ни стало показать в красках, как этот листик очерчен, как он встречает луч, как поблескивают на его зубчиках капельки росы. Однако Ниггль неизменно покушался изобразить все дерево целиком, со всеми листьями, и следил, чтобы все они были разные и в то же время походили друг на друга.

Одна из картин художника беспокоила особо. Он затеял ее когда-то ради одного-единственного подхваченного ветром листка, но вскоре листок превратился в дерево, а дерево принялось расти, да еще как — не по дням, а по часам! Ствол его пустил бесчисленные ветви, на поверхность земли выползли причудливо изогнутые корни. Еще к дереву слетались какие-то диковинные птицы... И еще. За Деревом, в просветах между листьями и сучьями, на холсте явственно проступала некая страна. Обозначились леса, а на горизонте соткались и забелели вершины гор... Ниггль утратил интерес к прочим картинам. Если их не удавалось пристроить к большой где-нибудь сбоку, их уделом становилось забвение. Главная же картина мало-помалу достигла таких внушительных размеров, что художник даже обзавелся лесенкой и сновал по ней вверх-вниз: где наложит новый мазок, где сотрет старый. Если заявлялся посетитель, Ниггль держался с ним достаточно вежливо, только беспрестанно перебирал карандаши на столе. Выслушивал он гостя терпеливо, но мыслями пребывал всецело с большой картиной, которая ждала его в саду, в высоком сарае-мастерской, который Ниггль специально для нее выстроил, пожертвовав ради такого дела грядками из-под картошки.

Со своим жалостливым сердцем он по-прежнему ничего поделывать не мог. «Мне бы волю посильнее!» — говорил он себе зачастую, разумея под этим: «Как бы так исхитриться, чтобы не обращать внимания на чужие неурядицы!» Впрочем, в то время его как раз оставили в покое и довольно долго не трогали. «Что бы ни случилось, уж эту-то картину — главную, настоящую — я закончу до того, как уехать, разрази гром это проклятое Путешествие!» — повторял он, но не мог скрыть от себя, что вечно откладывать отъезд не удастся. Нужно было закругляться — ведь требовалось еще время на отделку мелочей.

Однажды Ниггль отошел на несколько шагов, чтобы окинуть взглядом свое детище. Он долго и с особой пристальностью изучал Картину, но никак не мог понять — хороша она или дурна? К сожалению, посоветоваться было не с кем. По чести говоря, самого Ниггля совершенно не устраивало то, что вышло

из-под его кисти, но, с другой стороны, смотрелась картина очень хорошо. Более того, это была единственная истинно прекрасная картина на всем белом свете. Желать оставалось только одного: чтобы в дверь постучался сам Ниггль собственной персоной, вошел, хлопнул самого себя по плечу и воскликнул бы (без сомнения, с неподдельным жаром): «Просто великолепно! Вижу, вижу, к чему ты ведешь. Заклинаю тебя: работай и ни о чем больше не беспокойся! Мы выхлопочем для тебя общественную пенсию, так что всем заботам придет конец».

Но время шло, а о пенсии не было и помину. Нигглю же было ясно: чтобы довести картину до конца хотя бы вчерне, нужно трудиться не покладая рук. Что ж!.. Художник засучил рукава. Он принял решение не заниматься ничем, кроме картины, и день-два этому решению не изменял, но вскоре все благие намерения потерпели крушение. Заботы так и посыпались. Сначала в доме все пошло кувырком; потом Ниггля избрали присяжным, и пришлось ехать в город, чтобы принимать участие в заседании суда; потом захворал дальний знакомый; господин Пэриш слег, жалуясь на прострел, а о визитах нечего и говорить — они посыпались как горох. Ниггль, надо сказать, жил в славном маленьком домике довольно далеко от города. Поэтому с весной хозяин домика становился жертвой тех, кто не дурак почаевничать на лоне природы. В душе (не вслух, разумеется) Ниггль проклинал этих любителей свежего воздуха, но не мог отрицать, что сам же приглашал их на свою голову еще зимой, когда ему почему-то не казалось в тягость бегать по магазинам да попивать чаек с приятелями из города. Ниггль попытался ожесточиться сердцем — никакого результата. Слишком многому не имел он мужества сказать «нет» в лицо, даже если и не считал своим долгом непременно соглашаться; к тому же были вещи, которые он был обязан исполнять вне зависимости от того, что он о них думает. Между прочим, некоторые из визитеров позволяли себе намекнуть, что садик у гостеприимного хозяина изрядно запущен, — как бы Инспектор не нагрязнул... Разумеется, редкий гость подозревал о существовании Картины. Но даже прознай о ней все — можно ручаться, ничего не изменилось бы. Сомнительно, чтобы гости усмотрели в Картине что-то ценное. Осмелюсь, кстати, сказать, что, по большому счету, это была в общем-то так себе картина, хотя, возможно, отдельные фрагменты Нигглю и удались. Впрочем, Дерево получалось довольно интересное. Да Ниггль и сам был под стать своему Дереву, хотя это не мешало ему оставаться человечком маленьким и невеликого ума.

Так или иначе, а время у Ниггля пошло на вес золота. О ту же пору городские знакомые припомнили, что этот маленький человечек скоро будет вынужден отправиться в некое малоприятное путешествие, и кое-кто уже подсчитывал за спиной у хозяина, долго ли еще тому удастся тянуть с отъездом, кому достанется дом и будет ли новый хозяин рачительней прежнего...

Грянула осень, мокрая и ветреная. Маленький художник проводил все свое время в мастерской. В один из таких часов, стоя на лесенке с кистью в руках, он попытался перенести на холст отсвет заходящего солнца, окрасивший далекую заснеженную вершину чуть левее одной из больших ветвей, к тому времени уже почти сплошь одетой в листву. Ниггль знал, что отъезд уже близок. Не исключено было, что отправиться придется уже в начале наступающего года. Только-только управиться, а о том, чтобы тщательно отделать каждую мелочь, не могло быть уже и речи. Картине, похоже, так и суждено было остаться лишь намеком на те чудеса, что, бывало, воображались Нигглю.

В дверь постучали. «Войдите!» — отозвался художник раздраженно, но спустился с лестницы и встал рядом с ней, вертя в руках кисточку. Вошел сосед, господин Пэриш. Других соседей у Ниггля не было — его домик стоял на отшибе. Тем не менее Ниггль не очень-то жаловал господина Пэриша, отчасти потому, что с тем то и дело случались какие-то заковыки и ему требовалась помощь; кроме того, он ни во что не ставил живопись, зато любил придрататься к Нигглеву садику. Оглядывая его (что случалось часто), он видел только сорняки; и, наоборот, подняв глаза на Картину (что случалось редко), Пэриш не различал на ней ничего, кроме серо-зеленых пятен и черных полосок, казавшихся ему бессмысленными. Он полагал, что сделать замечание по поводу сорняков — это первый долг соседа, а что до картины — то лучше воздержаться от высказываний. Он полагал, что оказывает этим Нигглю большую любезность, но не отдавал себе отчета в том, что даже если это и считать любезностью, то уж особенно большой ее назвать было никак нельзя. Лучше бы он помог выкопать сорняки, а еще лучше — похвалил бы Картину!

«А, это ты, Пэриш! Что стряслось?» — зевнул Ниггль.

«Я смотрю, у тебя какое-то важное дело, — сказал Пэриш (и взглянул на Картину). — Наверное, ты

страшно занят».

Ниггль бы и сам ему это сказал, но опоздал.

«Ну, занят, — буркнул он и тяжело вздохнул как бы про себя, но так, чтобы и Пэриш мог расслышать. — Чем могу быть полезен?»

«Да вот, сосед, супруга-то моя захворала! Я прямо сам не свой, — выложил Пэриш. — А тут еще этот ураган. Добрую половину черепицы сорвало, дождь хлещет прямо в спальню, кошмар! Нужен врач. И рабочие... Только сомневаюсь я, чтобы они вовремя прибыли. Не заведено у них этого. Выделил бы лучше ты мне два-три денечка! Взались бы и законопатили. У тебя, глядишь, и холстина какая-нибудь ненужная отыщется или там фанеры кусок...» — Тут он наконец взглянул на Картину с некоторым интересом.

«Ах ты, бедолага! — посочувствовал Ниггль. — Вот уж не повезло так не повезло! От души надеюсь, что у твоей жены обыкновенный насморк. Так и быть, сейчас я приду, и мы с тобой перенесем ее постель вниз».

«Премного благодарен, — довольно холодно отозвался Пэриш. — Только никакой это не насморк. Это самая настоящая лихорадка. Стал бы я тебя беспокоить из-за какого-то насморка! Да и постель уже внизу. Не те у меня, сам знаешь, ноги, чтобы бегать вверх-вниз по лестнице с подносами... Но, вижу, ты занят. Прошу прощения, не хотел мешать. Я, собственно, вот что хотел сказать: кто-то ведь должен потратить время и съездить в город за врачом. Ты же видишь, в каком я положении. И за рабочими. Коли у тебя и впрямь нет лишнего куска холстины...»

«Ну, конечно! О чем разговор! — воскликнул Ниггль, хотя на язык просились совсем другие слова. Никакого сострадания к Пэришу он на этот раз не испытывал, но, как и всегда, отказать не решился. — Я съезжу. Не паникуй!»

«Как же мне не паниковать? — заупрямился Пэриш. — Я очень беспокоюсь. Если бы не распроклятая нога...»

И Ниггль отправился в дорогу. Как видите, другого выхода у него не было. Разве можно отказать в помощи единственному соседу? Ведь больше поблизости домов не было. Потом, у Пэриша не имелось велосипеда, а у Ниггля имелся. Пэриш действительно хромал, и хромая нога изрядно побаливала — обо всем этом приходилось помнить, да и невозможно было спокойно смотреть на кислую мину господина Пэриша и выслушивать его плаксивые сетования. Правда, Ниггля ждала Картина, а времени на то, чтобы ее закончить, оставалось в обрез, но упоминать об этом ему было неловко. Он мог бы ожидать от Пэриша уважения к своей работе. Но тому не было до картин никакого дела. «Проклятие!!» — сказал Ниггль, выводя велосипед.

Было сыро и ветрено. Дневной свет начинал уже понемногу тускнеть. «На сегодня с работой все», — подумал художник. Крутя педали, он то мысленно честил все подряд на чем свет стоит, то грезил, будто касается кистью той вершины или ветви с листьями неподалеку от нее, — эти листья возникли в его воображении еще весной... Пальцы его судорожно сжимали руль. Теперь, когда в мастерскую было не попасть, он наконец догадался, как следовало писать прозрачное свечение, окаймлявшее далекое видение горы. Но сердце его не хотело утешиться: оно как будто не верило, что случай опробовать догадку еще представится.

Ниггль разыскал врача и оставил записку строителям: контора к тому времени уже закрылась и мастера разошлись по домам, греться у камина. Зато Ниггль вымок до нитки и простудился. Доктор не так спешил и прибыл не вдруг, а только на следующий день, что, кстати, оказалось и удобнее: в двух соседних домах он застал уже не одного пациента, а сразу двух. Второй был Ниггль. Он лежал в жару, а в голове у него и на потолке комнаты сплетались небывалые узоры из листьев и ветвей. Нигглю сообщили, что госпожа Пэриш отделалась легким насморком и быстро идет на поправку, но эти вести не принесли больному облегчения. Ниггль только отвернулся к стене и с головой зарылся в опавшие листья.

Некоторое время он оставался в постели. Ветер не прекращался. С крыши у Пэриша сорвало почти всю черепицу. Не избежал беды и дом Ниггля: с потолка потекло, но рабочие все не ехали, а хозяину дома все было безразлично. Прошло несколько дней, прежде чем он смог выйти из дома и раздобыть себе пищи — Ниггль был холост. Господин Пэриш соседа так ни разу и не навестил: его нога плохо ладила с

ненастьем. Что касается госпожи Пэриш, она сражалась с водой, хлеставшей с потолка, и только осведомлялась время от времени: уж не позабыл ли, часом, «этот самый Ниггль» заявить в строительную контору? Она, между прочим, не задумываясь послала бы к соседу своего супруга, если бы потребовалось что-нибудь одолжить, и не посмотрела бы на его больную ногу. Но этого так и не случилось, и Ниггль оказался предоставлен самому себе.

Только в конце недели художник нашел в себе силы доковылять до мастерской. На лестницу он взобраться не смог: закружилась голова. Тогда Ниггль просто сел на пол и уставился на Картину. Но в голове у него было мертво и пусто: ни лиственных узоров, ни блистания далеких гор. Можно было бы еще взяться и дописать песчаную пустыню, видневшуюся на горизонте; но и на это не стало сил. К утру следующего дня больному полечало настолько, что он смог наконец взобраться на лестницу и приступить к работе. Но не успел он снова по-настоящему втянуться, как в дверь постучали.

«Чтоб вам всем провалиться!» — воскликнул Ниггль. Но дверь все равно отворилась — как если бы он вежливо пригласил гостя войти. На пороге стоял человек очень высокого роста. Ниггль видел его впервые в жизни.

«Это частная студия, — сказал Ниггль. — Я занят. Уходите!»

«Я — инспектор по жилищным вопросам», — сказал незнакомец, протягивая свою визитную карточку.

«О!» — сказал Ниггль.

«Дом, что по соседству с вашим, находится в совершенно неудовлетворительном состоянии», — сказал Инспектор.

«Знаю, — сказал Ниггль. — Я уже давно подал заявление в строительную контору, но мы до сих пор не дождались ответа. Потом я был болен».

«Пусть так, — сказал Инспектор. — Но вы же поправились».

«Но ведь я не строитель. Пускай Пэриш пожалуется в Городской Совет и ему пришлют бригаду из Аварийной Службы».

«У них там есть дела поважнее, — сказал Инспектор. — Да будет вам известно, что в долине наводнение. Многие семьи остались без крова. Так что придется вам самому оказать помощь вашим соседям. Надо произвести предварительный ремонт, так как, если этого не сделать теперь же, впоследствии это обойдется дороже. Так велит Закон. Материала у вас вполне достаточно. Холст, фанера, водостойкая краска — все, что нужно».

«Где это тут вполне достаточно материала?» — возмутился Ниггль.

«А вот!» — сказал Инспектор, указывая на Картину.

«Моя Картина!» — вскрикнул Ниггль.

«Боюсь, что так, — сказал Инспектор. — Но жилье в первую очередь. Так велит Закон».

«Но ведь не могу же я...» — начал было Ниггль, но тут на пороге возник еще один человек. Он был похож на Инспектора как близнец: такой же высокий, только одет во все черное.

«Пошли со мной, — сказал двойник Инспектора. — Я — Водитель».

Ниггль послушно полез вниз, то и дело попадая ногой мимо ступеньки.

Его снова залихорадило — или ему это почудилось? Перед глазами все плыло. Вернулся и озноб.

«Водитель? Какой водитель? — лепетал он на ходу. — Что за водитель?»

«Я — твой Водитель. Это значит, что я поведу машину. Она уже на дворе — машина, давным-давно заказанная на твой адрес. Она наконец прибыла. И ждет тебя. Видишь ли, сегодня ты отправляешься в Путешествие».

«Вот как! — молвил Инспектор. — Делать нечего, вам придется ехать. История скверная: каково это — пускаться в такой путь, не исполнив того, что от тебя требуется! Ну, по крайней мере, мы хоть холстину эту приспособим».

«О мои милостивые государи! — начал было Ниггль и заплакал. — Ведь она не окончена! Даже начерно!»

«Не окончена? — переспросил Водитель. — Может быть, она и не окончена, но с нею все равно покончено теперь навсегда, по крайней мере для тебя. Идем!»

Ниггль покорно пошел за Водителем. Тот не дал ни минуты на сборы. Загодя нужно было собираться, сказал он, поезд не ждет. Ниггль, правда, успел подхватить портфельчик, валявшийся в передней, но там, кроме блокнотика с зарисовками и старого этюдника, не было ничего: ни пищи, ни одежды. На поезд они поспели точно в срок. Ниггль очень устал и норовил заснуть на ходу. Он плохо понимал, кто и зачем вталкивает его в купе. Ему было все равно. Он забыл, куда его везут, а тем более — с какой целью. А поезд, отойдя от платформы, сразу же нырнул в черный туннель. Проснулся Ниггль на каком-то громадном тусклом вокзале. С окном, на ходу что-то выкрикивая, поравнялся носильщик. Ниггль ожидал услышать название станции, но тот выкрикал: НИГГЛЬ!

Ниггль поспешно выскочил из вагона и уже на перроне вспомнил, что этюдник остался в купе. Но возвращаться было поздно: обернувшись, Ниггль поезда уже не увидел.

«А! Вот и вы, — сказал Носильщик. — Сюда, пожалуйста! Но что я вижу?! Где ваш багаж?! Как, совсем нету? Ну, тогда ничего не напишешь — поехали в Работный Дом».

Ниггль был совершенно разбит и потерял сознание прямо на платформе. Машина «скорой помощи» отвезла его в госпиталь, приписанный к Работному Дому.

Больничный уход пришелся Нигглю весьма не по вкусу. Его поили каким-то на редкость горьким лекарством; санитары и сиделки были молчаливы, строги и неласковы, а других людей Ниггль не видел — за исключением необыкновенно сурового лечащего врача, который изредка заходил осмотреть пациента. По чести сказать, этот госпиталь больше смахивал на тюрьму. Здесь заставляли много работать. Для этого были отведены особые часы, в течение которых Ниггль или копал, или плотничал, или красил все в один и тот же тусклый цвет какие-то доски. На улицу никогда не пускали, а окна палаты смотрели во внутренний двор. Еще Ниггля подолгу держали в полной темноте. По их словам, он должен был «кое о чем поразмыслить». В конце концов Ниггль потерял счет времени. Ему не стало ни на чуточку лучше: он по-прежнему не знал никаких радостей, и даже сон не приносил никакого утешения. Если это было одним из признаков болезни, то до выздоровления оставалось еще очень далеко.

Прошло около ста лет (по ощущению Ниггля), и все это время он не переставал как-то бесцельно мучиться своим прошлым. Лежа в темноте, он твердил про себя всегда одно и то же: «Надо было мне зайти к нему, когда еще только начинало задывать. Тогда еще ничего не стоило поправить крышу. Госпожа Пэриш не схватила бы насморка, я бы не простудился, и у меня в запасе оставалась бы еще целая неделя». Тут мысль обрывалась, потому что он позабыл, зачем ему нужна была лишняя неделя. Тогда он начинал беспокоиться о работах, которые выполнял в госпитале: обдумывал их во всех мелочах, прикидывал, сколько времени уйдет на то, чтобы починить скрипучую скамью, перевесить дверь, приколотить ножку к столу. Казалось, он уже начинал приносить какую-то пользу, хотя никто не говорил ему об этом ни слова. Но не по этой же причине лечение бедняги так затянулось?! Видимо, доктора ждали, когда ему станет лучше, но при этом имели какие-то свои понятия о том, что такое «лучше».

Как бы то ни было, ничто не радовало несчастного Ниггля. Точнее, он не испытывал того, что когда-то звал радостью или удовольствием. Ничего интересного в своей работе он не видел. Но нельзя отрицать, что в нем начинало иногда шевелиться что-то вроде... ну, своеобразного удовлетворения. Раньше он не прочь был полакомиться вареньем — а теперь полюбил и пустой хлеб. Он научился браться за дело точно по звонку и откладывать работу со звонком к ее окончанию, успев привести в порядок рабочее место, готовый на следующий день продолжить начатое. Теперь Ниггль работал с утра до вечера без перерыва, успевал сделать довольно много и аккуратно исполнял все мелкие поручения. Никакого «досуга» у него не было (разве что ночью, в кровати), зато он стал понемногу овладевать своим временем и в точности знал теперь, как им распорядиться. Он перестал суетиться, успокоился. Настала пора, когда он научился наконец отдыхать и полностью восстанавливал силы в скудные часы, отведенные для сна.

Внезапно часы работы поменялись. Ниггля лишили столов и табуреток и заставили копать землю не разгибая спины, день за днем, оставив на сон всего ничего. Ниггль подчинился без малейшего ропота.

Прошло много, много времени, прежде чем где-то в глубине его памяти шевельнулось смутное воспоминание о том, как он любил когда-то выругаться крепким словечком. Но теперь он забыл все ругательства и продолжал копать, пока спину ему не разломило окончательно, а руки не покрылись кровавыми волдырями. Настал миг, когда Ниггль выронил из рук лопату и уже не смог больше ее поднять. Никто не сказал ему «спасибо». Правда, пришел врач, осмотрел его — и бросил отрывисто: «С этим все! Прописываю полный покой и абсолютный мрак».

...Ниггль лежал неподвижно, ничего не делая, отдыхая и глядя в темноту. Он ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Очень может статься, что он пролежал так много часов или даже много дней, прежде чем понял, что тишина кончилась. Где-то совсем рядом, в соседней комнате, зазвучали голоса — новые, незнакомые, словно там заседала не то Медицинская Комиссия, не то Судейская Коллегия. Дверь в комнату, казалось, распахнута, но там, по-видимому, царил такой же темень, как и в его закутке.

«Перейдем к делу Ниггля», — сказал Первый Голос, необыкновенно строгий и серьезный — даже в сравнении с голосом лечившего Ниггля врача.

«Что же Ниггль? Сердце у этого человека было на должном месте», — сказал Второй Голос. Его можно было бы назвать мягким, если бы в нем не чувствовались непререкаемые власть и сила; звучал он печально, но стоило его услышать — и в сердце зарождалась надежда.

«Однако работало оно из рук вон плохо, — уточнил Первый Голос. — А голова на плечах сидела и вовсе задом наперед. Похоже, он вообще никогда не думал. Ты посмотри только, какую уйму времени он загубил! И добро бы отдыхал, развлекался, так нет же! К путешествию своему он так и не подготовился. У себя он был человеком среднего достатка, а к нам прибыл нищим оборванцем. Пришлось отправить его в крыло для бедняков. Боюсь, дела его плохи. Придется оставить его здесь еще на какое-то время».

«Это, вероятно, ему не повредило бы, — отозвался Второй Голос. — Но ведь Ниггль — человек маленький. Разве ему было написано на роду совершить великие подвиги? Он никогда не был сильным. Давай раскроем Записи. Ты знаешь, здесь кое-что говорит в его пользу».

«Не исключено, — уступил Первый Голос. — Но, боюсь, даже эта малость не выдержит беспристрастного разбора».

«Поглядим, — продолжал Второй Голос. — Итак, следи. Ниггль был прирожденный живописец. Не из гениальных, правда. И все-таки взгляни на этот Лист Кисти Ниггля — право же, в нем что-то есть! Ниггль много возился со своими Листьями, и все исключительно ради них самих. Ему в голову и мысли не закрадывалось, что его картина может превратить его в важную персону. В Записях нет ни слова о претензиях. Мало того, он и мечтать не смел, чтобы его как творческую личность освободили от обязанностей, налагаемых Законом».

«В это трудно поверить. Отчего же он так часто пренебрегал этими обязанностями?»

«Он не так уж редко откликался на Вызовы», — возразил Второй.

«Он откликнулся едва ли на половину, если не меньше. Да еще выискивал, какие попроще, — не говоря уже о том, что ему хватало дерзости жаловаться. Не говоря уже о том, что он называл их Докуками и Помехами. Это наши-то Вызовы! Записи пестрят этими словечками, попеременно с обильными сетованиями и бестолковыми попреками».

«Действительно. Но ему, бедному, и в голову не приходило, что это не просто «помехи». Да, вот оно: за свои дела он никогда не просил Вознаграждения, как называют это другие, подобные ему. Вот дело Пэриша, поступившее к нам немногим позднее. Жил он по соседству с Нигглем, а ведь и пальцем о палец для него ни разу не ударил, и «спасибо» за помощь говорил редко. Но нигде не отмечено, чтобы Ниггль ждал от Пэриша благодарности. Похоже, подобные мысли ему в голову не забредали».

«Пожалуй, это довод, — сказал Первый Голос, — но довод слабый. Я думаю, ты согласишься со мной, если я скажу, что чаще всего Ниггль просто забывал о Пэрише. Он помогал ему так неохотно, что, отделавшись, спешил все выкинуть из головы как можно скорее».

«Постой, тут есть еще одна запись, последняя, — сказал Второй Голос. — Эта велосипедная прогулка

под дождем. Я бы хотел о ней поговорить особо. Ведь это же чистопробная жертва! Ниггль догадывался, что упускает последнюю возможность закончить свою картину. Да и ясно было, что Пэриш палит из пушки по воробьям».

«Это, извини, уже слишком сильно сказано, — строго поправил Первый Голос, однако тут же смягчился: — Но делать нечего, последнее слово осталось за тобой. Истолковывать факты в лучшую сторону — твое обычное дело. И в некоторых случаях факты это терпят. Что же ты хочешь предложить? »

«Назначим ему новый курс лечения. Помягче».

Нигглю показалось, что щедрость Второго Голоса превосходит всякое разумение. Курс ПОМЯГЧЕ! Да это было как целая грудка богатых даров, как приглашение на царский пир!.. Тут ему вдруг стало стыдно. Это его-то — на пир?! Даже в темноте он понял, что краснеет. Известие о том, что его сочли достойным Курса Помягче, переполнило его выше краев. Ему показалось, что его вывели к миллионной толпе, а толпа ему устроила овацию, но ни для кого, в том числе и для него самого, не секрет, что он самозванец... Ниггль спрятал горящее лицо в складках грубого одеяла.

Наступило молчание. Внезапно Первый Голос зазвучал совсем рядом.

«Ты слышал», — сказал он.

«Да».

«И что же?»

«Скажите, прошу вас, как там Пэриш? — заволновался Ниггль. — Мне бы надо с ним повидаться. Что, опасно он болен? Не могли бы вы подлечить ему ногу? Если бы вы знали, сколько он с ней натерпелся! А что до наших с ним отношений, то, пожалуйста, не беспокойтесь! Пэриш был клад, а не сосед. Он продавал мне превосходный картофель, и к тому же по самой низкой цене, что сэкономило мне массу времени».

«Право? — спросил Первый. — Рад был услышать».

Некоторое время длилось молчание. Ниггль понял, что голоса удаляются. «Я даю согласие, — донесся еле различимый Первый Голос. — Пусть переходит на следующую ступень. Когда?.. Как тебе угодно. Хоть завтра».

Ниггль проснулся и понял, что ставни раскрыты настежь, а маленькая комнатка вся залита солнцем. Он сел на кровати и потянулся за больничной робой, но на стуле висела обыкновенная одежда, удобная и по мерке. После завтрака врач осмотрел стертые ладони пациента и втер ему в кожу какое-то снадобье, которое тут же подействовало.

Кроме того, Ниггль получил несколько полезных советов и флягу с освежающим напитком (на всякий случай), а ближе к полудню — бисквит, стакан вина и, наконец, билет на поезд.

«Можешь идти на станцию, — напутствовал его врач. — Носильщик не даст тебе заблудиться. Прощай».

Ниггль выскользнул из госпиталя через главный вход — и зажмурился: так слепило солнце. Он-то думал, что попадет в большой город, памятуя вокзал, где его когда-то встретил Носильщик... Ничего похожего! Прямо от ног начинался отлогий склон, поросший свежей травой, по которой порывами пробегал сильный, взбадривающий ветер. Ниггль был один. Далеко внизу поблескивала крыша железнодорожной станции.

Он быстро, но спокойно зашагал вниз по склону. Носильщик сразу заметил его.

«Сюда, сюда!»

У перрона уже дожидался славный, почти игрушечный на вид, пригородный поезд: вагончик, локомотив — и все это яркое, чистое, свежеевыкрашенное. Можно было подумать, что состав отправляется в свой первый рейс. Пути и те выглядели новыми: рельсы сверкали, скобы были выкрашены в зеленый цвет, а шпалы источали дивный запах нагретого солнцем дегтя. Других пассажиров, кроме Ниггля, не было.

«Носильщик, а Носильщик! Куда идет этот поезд?» — спросил Ниггль.

«С названием они еще не решили, — ответил тот. — Но ты не сомневайся, тебе там понравится». С этими словами он захлопнул дверь.

Поезд тотчас же тронулся. Ниггль откинулся на сиденье. Маленький локомотивчик, пыхтя, полз вперед между двух высоких, поросших травой насыпей, под синим небом. Путь оказался недолгим: локомотив дал свисток, затормозил, и поезд остановился. Платформы не было, не было и названия станции; только вверх по зеленому валу шла лесенка. Там, где она кончалась, виднелась калитка, прорубленная в живой изгороди. Рядом, прислоненный, одиноко стоял Нигглев велосипед. С руля свисала желтая табличка, и на ней крупными черными буквами было выведено: НИГГЛЬ.

Ниггль толчком распахнул калитку, вскочил в седло и покатил вниз, жмурясь от яркого весеннего солнца. Тропинка вскоре исчезла; начался отличный плотный дерн, густой и зеленый, на котором тем не менее необыкновенно резко выделялась каждая травинка. Нигглю почудилось, что он смутно припоминает место, где росла такая же трава. Может, он видел это место во сне? Но не только трава, а и сами изгибы земли казались знакомыми. Вот сейчас будет ровный участок — ага, так он и знал! Ну а теперь в горку... Все совпадает! Тут большая зеленая тень встала между ним и солнцем. Ниггль поднял голову — и упал с велосипеда.

Дерево. Это было его Дерево. Дорисованное. Живое — если можно так сказать о дереве: листья уже начинали распускаться, настоящие живые ветви раскачивались на ветру, — Ниггль часто чувствовал или догадывался, что так оно и должно было выглядеть, но ему слишком редко удавалось перенести свои чувства на холст! Он смотрел на Дерево не отводя глаз. Потом медленно поднял и распростер руки.

— Это — дар! — молвил он. Это слово могло означать сразу многое: оно могло относиться и к таланту, и к плоду этого таланта... Ниггль, однако, использовал слово в прямом смысле.

Он не мог оторваться от созерцания Дерева. Все когда-либо нарисованные им листья были на своих местах, но выглядели они скорее так, как он их задумал, а не так, как в итоге запечатлел на холсте. Были среди них и такие, что даже в мыслях у него еще не распустились, так и остались почками, но они могли бы распуститься — просто не достало времени. Все это были хоть и редкостно красивые, но все же самые обыкновенные листья, и на них не было никаких надписей. Тем не менее на каждом значилась дата — отчетливее, чем на листьях календаря. Самые красивые листья, самые совершенные образчики Нигглева стиля, явно были созданы в сотрудничестве с господином Пэришем, причем иного толкования быть не могло.

Птицы вили гнезда в кроне Дерева. И что это были за птицы! Как они пели! Ниггль слышал их влюбленное воркование, видел, как они вили гнезда, ставили птенцов на крыло и с пением летели в Лес — и все это можно было видеть одновременно. Ибо теперь Ниггль заметил, что и Лес был тут: он огибал Дерево с обеих сторон, и стволы уходили вдаль. На горизонте светились вершины Гор.

Настала минута — и Ниггль шагнул в сторону Леса. Нет! Ему не наскучило его Дерево. Просто теперь он вобрал его в себя целиком, и уже не разлучался с ним, и все знал о нем, и чувствовал его рост, где бы ни был, даже не глядя на него... И вот, удаляясь от Дерева, Ниггль открыл для себя удивительную вещь. Этот Лес был Дальним Лесом, но Ниггль мог подойти совсем близко к опушке, даже углубиться в чащу — а Лес все оставался дальним и не становился Близким. Чары не рассеивались. Раньше Ниггль, проникая в далекое, всегда портил его своим присутствием и превращал в близкое, но теперь все изменилось. И в этом был особый смысл. В дорогу тянуло сильнее — можно было идти и листать за далью даль, удваивая, утраивая, учетверяя расстояние, — и волшебство становилось вдвое, втрое могущественнее. И не было конца этому пути, хотя вся эта страна целиком помещалась в крошечном садике, — сказать ли «на картине»? Можно было идти и идти, — но, наверное, был где-то все же и предел. Ведь на заднем плане маячили Горы, и Горы приближались. Казалось, они не принадлежат Картина, а служат переходом к чему-то иному. Сквозь стволы брезжило нечто иное. Новая ступень. Другая Картина...

...Ниггль шагал вперед, но его вело не просто любопытство. Он примечал и запоминал все, что встречал на пути. Дерево было окончено, хотя с ним и не было «покончено навсегда». «Все, все то же самое, только не такое, как раньше», — думал он про себя. Но в Лесу еще оставалось столько недоделанных, недовоображенных мест! Не требовалось, правда, ничего ломать и придумывать заново —

все соответствовало главному замыслу, оставалось только довести труд до какой-то наивысшей точки, до совершенства. И куда бы Ниггль ни являлся, он сразу видел, что и как надо делать.

Усевшись под одним из очень красивых дальних деревьев (оно было очень похоже на Большое, но имело свое собственное лицо, особенно если над ним еще немного поработать), он углубился в размышления. Откуда начать? Чем закончить? Сколько потребуется времени? Но план никак не складывался. Наконец Ниггль догадался, в чем загвоздка.

«Ну разумеется! — воскликнул он. — Куда же я без Пэриша? Тут ведь земля, деревья, злаки! А в этих делах главный не я, а он. Может, я хочу занять себе весь этот край в частное владение? Ну уж нет: мне нужны совет и помощь. И хорошо бы поскорее».

Ниггль поспешил к месту, откуда собирался начать работу, по пути остановился скинуть куртку — и вдруг различил внизу, в укромной ложбинке, какого-то человека. Вся его фигура выражала крайнее недоумение. Человек опирался на лопату, но явно не понимал, что ему делать.

«Пэриш!» — позвал Ниггль.

Тот поспешил к нему с лопатой на плече. Стало заметно, что он все еще чуть-чуть прихрамывает. Говорить они ни о чем не стали, только кивнули друг другу, как в былые времена, разминувшись на огороде; но теперь они взялись за руки и пошли вместе. Не произнеся ни слова, они в точности во всем согласились и определили место, где построить дом и разбить сад: им почему-то показалось, что сделать это нужно непременно.

Ниггль теперь владел своим временем лучше, чем Пэриш, и работа у него спорилась ладнее. Чудно: Ниггль с головой ушел в строительство и не уставая возился с садом, а Пэриш больше полюбил блуждать по окрестностям и разглядывать деревья. Но сильнее всего его влекло к себе Большое Дерево.

Как-то раз Ниггль высаживал изгородь, а Пэриш лежал неподалеку в траве, погруженный в созерцание изысканного крошечного цветка, — когда-то Ниггль на такие не поспешил, и теперь они желтели на зеленом дерне, между корнями Дерева, в превеликом множестве. Внезапно Пэриш поднял глаза от цветка. Его лицо блестело в лучах солнца, он улыбался.

«Это все просто замечательно! — молвил он. — Мне бы ни за что не попасть сюда, если бы не ты. Спасибо тебе! Замолвил за меня словечко!»

«Чепуха, — возразил Ниггль. — Не помню, что я там такого сказал, но и без того ясно, что мои слова не могли ничего решить».

«Нет, твои слова значили кое-что, — не согласился Пэриш. — Мне из-за них намного сократили лечение. Тот... Второй. Ну, ты знаешь. Это он меня сюда послал. Говорил, ты обо мне справлялся. По всему выходит, что я тебе обязан».

«Не мне ты обязан, а Второму Голосу, — был ответ Ниггля. — И ты, и я. Мы оба».

Вот так они и зажили, трудясь бок о бок, а долго ли это продолжалось — точно сказать не могу. Поначалу — что греха таить — согласие в них царило далеко не всегда, особенно когда они уставали. А на первых порах это еще случалось. Но тут на помощь приходил освежающий напиток — оказалось, что Пэриша тоже им снабдили. На обеих бутылках красовались одинаковые надписи: «Принимать по две-три капли перед отдыхом, запивая водой из Источника».

Источник отыскался в самом сердце Леса, и Ниггль припомнил: да, действительно, как-то раз он мимоходом вообразил его, хотя нарисовать не успел. Теперь Ниггль заметил, что от этого ключа питалось и поблескивавшее вдали озеро, и все, что росло в округе. Освежающее средство делало воду Источника горьковатой и вяжущей, зато в тело возвращалась бодрость, а мысли прояснялись. Выпив целебного снадобья, друзья поодиночке отдыхали, а потом вновь поднимались — и работа спорилась лучше прежнего. В такие часы Ниггль выдумывал восхитительные новые цветы и разные новые растения, а Пэриш с первого взгляда догадывался, где они будут лучше себя чувствовать и в чем у них нужда. Но еще не иссяк напиток, а надобность в нем уже отпала, и Пэриш тогда же окончательно избавился от хромоты.

Видя, что работа близка к завершению, Ниггль и Пэриш стали позволять себе прогулки подлиннее. Они шли и разглядывали цветы и деревья, блики и тени, холмы и долины; иногда вместе пели. И Ниггль

заметил в себе перемену. Он все чаще устремлял взор в Горы.

Наконец домик в долине, лес, озеро, поле, деревья и сад были почти закончены; все стало таким, каким и должно было быть. Большое Дерево стояло в цвету.

«Сегодня вечером, — сказал Пэриш однажды, — мы поставим точку. А потом нас ожидает по-настоящему долгая прогулка».

Наутро они пустились в путь и шли так долго, что, преодолев все дали, добрались до Самого Края. Разумеется, никаких видимых признаков того, что это именно Самый Край, не было: ни черты, ни рва, ни плетня, но это был действительно Самый Край, и нельзя было этого не почувствовать. Здесь их страна кончалась. Они заметили человека, одетого как пастух; он шел им навстречу, спускаясь с зеленых предгорий.

«Нужен ли вам проводник? — спросил он, приблизившись. — Вы хотите идти дальше?»

Тут между Пэришем и Нигглем пробежала тень. Ибо Ниггль твердо знал: он хочет идти дальше. Более того, он чувствовал — от него в каком-то смысле ждут, чтобы он пошел за пастухом. Но Пэриш дальше идти не хотел, да и не был еще готов к этому.

«Я должен подождать свою жену, — сказал он. — Ей будет без меня одиноко. Я догадываюсь, что они пошлют ее вслед за мной рано или поздно, когда она будет готова и когда я все для нее приготовлю. Дом удался на славу, но я хотел бы показать его жене. Сдается мне, что она сможет сделать его лучше: более домашним, что ли. Я надеюсь, что и страна эта ей тоже понравится. — Он обратился к пастуху: — Так вы проводник?.. А скажите, как называется эта страна?»

«Кому же и знать, как не вам, — ответил незнакомец. — Это страна Ниггля. Видите ли, это не что иное, как его картина. По крайней мере большей частью. Теперь она включает в себя еще и Сад Пэриша».

«Как?! Это — Картина Ниггля?! — поразился Пэриш. — Так это все придумал ты, Ниггль?! Какой же ты умница! А я-то, я-то и не знал. Что же ты молчал?»

«Когда-то он порывался вам объяснить, — ответил за Ниггля Проводник. — Но вы и не думали слушать. В те дни все, что вы теперь видите, существовало только в краске и только на холсте, — и то вы посягали на этот холст, когда у вас протекла крыша: заплату хотели поставить. Тогда вы знали, как это назвать: НИГГЛЕВЫ ШТУЧКИ. А то еще — ВСЯ ЭТА ПАЧКОТНЯ».

«Так... разве ж оно было такое? Оно же было НЕНАСТОЯЩЕЕ!» — смутился Пэриш.

«Справедливо. Это был не более чем отсвет Настоящего, — сказал Проводник. — Но вы бы поняли, если бы постарались».

«Оставьте. Это моя вина, — вмешался Ниггль. — Я ведь не очень-то и заботился о том, чтобы объяснить. Я, между прочим, звал тебя когда-то Старым Бульдозером. Но теперь о том негоже вспоминать. Мы пожили и поработали вместе, так зачем же поминать старину? Все могло быть иначе, но лучше быть не могло. Однако я боюсь, что должен пойти дальше. Но я уверен, что мы еще встретимся. Мы многое еще могли бы сделать вместе. А пока до свидания!»

Они горячо пожали друг другу руки. Крепкая, честная рука у Пэриша, подумал Ниггль. Потом он обернулся. Большое Дерево стояло там, вдали, и волновалось на ветру, как пламя в цвету. Все птицы поднялись в воздух и пели. Ниггль улыбнулся, кивнул Пэришу — и зашагал прочь, вслед за пастухом.

Ему предстояло все узнать про овец и горные пастбища, ему дано было увидеть огромное небо и продолжать путь, поднимаясь все выше и выше в горы, к вершинам. И это все, что мне известно о судьбе художника Ниггля. Он был всего лишь маленький, незаметный человечек, а полыхнул же в его старой каморке отсвет ледников!.. Горы пришли к нему в картину, окаймили горизонт. Но что такое горы? ...И что ожидает нас за перевалом?.. Только те, кто восходил на вершины, знают на это ответ.

«Человек он был никчемный и к тому же круглый дурак, — сказал советник Томпкинс. — Никакой пользы обществу не приносил, уж вы мне поверьте».

«Ну, не знаю, — возразил Аткинс, не такая важная персона, как Томпкинс: тот был советник, а этот

всего лишь директор школы. — Не уверен. Прежде всего, что мы разумеем под словом „польза“?»

«Я разумею пользу практическую, если угодно — экономическую, — пояснил Томпкинс. — Осмелюсь полагать, что из него мог бы еще получиться приличный винтик в общественную машину, когда бы вы, учителя, смыслили что-нибудь в своем деле. Но вы своего дела не знаете и плодите бесполезных людей вроде этого типа. Будь моя власть, я бы приказал прочесать эту страну вдоль и поперек, выудил бы всех ему подобных и направил на какую-нибудь общественную работу, кто куда сгодится. Например, посуду мыть в столовой. И присматривал бы, чтоб не отлынивали. А начнут ломаться — совсем убрать с дороги. Этого я еще долго терпел».

«Убрать с дороги?! Вы что, хотите сказать, что с удовольствием приложили бы руку, чтобы он отправился в Путешествие раньше срока?!»

«Ах, ах, Путешествие! Да! Если вам угодно использовать это устаревшее, бессмысленное выражение, — да! Пусть себе катится по туннельчику на Большую Свалку — вот что я имею в виду!»

«Но разве живопись не стоит того, чтобы хранить ее в музеях и совершенствовать? Или она, с вашей точки зрения, бесполезна?»

«Живопись находит себе определенное применение, отчего же, — признал Томпкинс. — Только не такая, как у этого Ниггля. У нас все пути открыты художникам, но молодым, дерзким, таким, которые не боятся новых идей и методов. А ваш был ходячий анахронизм. Если человек спит с открытыми глазами — это его частное дело. Этот тип не смог бы и тумбы для афиш оформить, даже если бы речь шла о его жизни. Все возился с какими-то листочками да цветочками. Я его как-то раз спрашиваю: да на кой они вам нужны? А он отвечает: они мне, дескать, очень милы! Можете себе вообразить, господа? МИЛЫ! Я его и спрашиваю: это что же, мол, вам так мило — пищеварительные и детородные органы растений?.. Он даже не нашелся что ответить. Глупый бумагомарака!»

«Бумагомарака, говорите... — вздохнул Аткинс. — Да, он, бедняга, так и не показал, на что способен, так и не довел ни одного своего произведения до конца. Кстати, когда он отбыл, его полотна нашли „лучшее применение“... Но как знать, как знать, Томпкинс! Помните — была у него такая большая картина, ею еще чинили потом поврежденный дом по соседству с его жилищем, когда заварилась вся эта каша с ураганом и наводнениями? Так вот, мне попался тогда в руки обрывок холста. Он валялся на земле. Он был изрядно попорчен, но кое-что разобрать еще было можно. Там была гора и ветка с листьями. И гора эта, представьте себе, пойдет у меня из головы».

«Из головы? А у вас что, есть голова?» — поинтересовался Томпкинс.

«Это вы о ком говорите?» — вмешался Перкинс, желая предотвратить ссору: лицо Аткинса заметно побагровело.

«Да бросьте, не стоит и уточнять, — отмахнулся Томпкинс. — Я вообще не понимаю, что это мы надумали о нем говорить. Он и жил-то не в городе».

«Вот именно, — сказал Аткинс. — То-то вы заглядывались на его домик. То-то ездили к нему и смеялись над ним за его спиной, попивая его чаек... Что ж! Дом его вы заполучили, да и прежний, городской, за вами остался. Так хоть имя бедняге оставьте! Мы, Перкинс, говорили о Ниггле — о Ниггле, если вы и вправду хотите знать».

«Несчастный маленький Ниггль! — возвел очи Перкинс. — Так он, оказывается, умел рисовать?..»

Так имя Ниггля было в последний раз (или скорее всего в последний) упомянуто на прежней его родине. Правда, Аткинс сохранил тот странный обрывок холста. Краска с него почти вся осыпалась, остался только один, зато очень красивый лист. Аткинс вставил его в рамку. Потом он завещал Лист городскому музею, и Лист долго висел там в какой-то нише с надписью: «Лист кисти Ниггля». Мало кто обратил на него внимание. Кончилось все тем, что музей сгорел, и Ниггль с его Листом были окончательно позабыты.

«Оно действительно приносит пользу, и немалую, — сказал Второй Голос. — То это праздник, то санаторий, то привал. Это великолепное место для тех, кому нужно восстановить силы; и это еще не все. Для многих лучшей подготовки к Восхождению и придумать нельзя! Иногда это место творит чудеса. Я

посылаю туда одного за другим. И поверь, мало кого приходится отправлять обратно».

«Ну что ж, — молвил Первый Голос. — Не пора ли закрепить за этим местом достойное имя? Что ты предложишь?»

«Носильщик уже изобрел имя, — сказал Второй Голос. — Я как-то раз услышал, как он выкрикивает: „Поезд на Ниггль-Пэриш прибывает на первый путь!“ „Ниггль-Пэриш“ [\[10\]](#), каково? Я послал им обоим по весточке — пусть знают».

«И что же они на это сказали?»

«Они? Они расхохотались. Горы так и загудели от их хохота!»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА БОМБАДИЛА И ДРУГИЕ СТИХИ ИЗ АЛОЙ КНИГИ

Перевод С. Степанова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как известно, в Алой Книге имеется изрядное количество стихов. Однако лишь малая толика их вошла в повествование о Падении Властелина Колец, а также примыкающие к нему истории и хроники. Куда больше стихов оказалось на неподшитых страницах, а некоторые стихотворения были набросаны на полях или попросту втиснуты на пустое место. Из этих последних большая часть написана весьма неразборчиво, а то, что разобрать все-таки удалось, представляет собой либо разрозненные фрагменты, либо нечто бессмысленное, во всяком случае, теперь это совершенно непонятно. Стихотворения № 4, № 11 и № 13 — как раз из таких «маргиналий», но наилучшее представление об их достоинствах дает приводимый ниже набросок, оказавшийся на одной странице со стихотворением Бильбо «Когда зима в лицо дохнет»:

На крыше флюгер-петушок
мотало, как калитку,
и клювом дрозд никак не мог
хоть раз попасть в улитку.

И жаловался дрозд: «Беда!» —
а флюгер повторял: «Да-да!
Конца не будет никогда
Ужасной этой пытке!»

Этот сборник составлен из более древних стихотворений, связанных большей частью с засельскими легендами и забавными историями, относящимися к концу Третьей Эпохи. По-видимому, эти стихотворения были сочинены хоббитами, главным образом Бильбо и его друзьями, а может быть, и их потомками. К сожалению, подписывать стихи было не принято. Стихотворения, не вошедшие в основное повествование, написаны разными почерками и, возможно, восходят к устной традиции.

В Алой Книге упоминается, что № 5 сочинил сам Бильбо, а № 7 — Сэм Гэмги. № 8 имеет помету «С. Г.», и с авторством Сэма можно, пожалуй, согласиться. Однако, хотя № 12 имеет ту же помету, скорее всего, Сэм просто переделал давно известное стихотворение из шуточного бестиария, который, очевидно, пользовался у хоббитов широкой популярностью. Во «Властелине Колец» Сэм утверждает, что стихотворение под № 10 относится к засельской народной поэзии.

№ 3 дает пример совсем иного рода: это типичная хоббичья байка, то есть стихотворение или рассказ, которые в конце возвращаются к своему началу, и поэтому их можно повторять бесконечно, пока не возмутятся слушатели. В Алой Книге оказалось несколько подобных вещей, но, в отличие от № 3, они весьма незатейливы и грубоваты, а вот № 3 — самое длинное из них и самое, так сказать, замысловатое. Сочинил его, наверное, Бильбо. Об этом свидетельствуют очевидные переклички с длинным стихотворением, которое Бильбо прочитал в Доме Элронда как свое собственное сочинение. В Ривенделльском[11] варианте шуточный стих оригинала переделан (и подчас не особенно умело!) на высокий стиль эльфийских и нуменорских легенд об Эарендиле. Виной тому, наверное, тот факт, что Бильбо сам придумал такую стихотворную строфу, чем, кстати, очень гордился. К сожалению, в Алой Книге ничего подобного больше нет. Приведенный здесь первоначальный вариант относится, вероятно, к тому времени, когда Бильбо только что вернулся из своего Путешествия. Тут сильно чувствуется эльфийская традиция, но стихи эти написаны не вполне всерьез, а, кроме того, использованные названия (Деррилин, Теллами, Белмари, Аэри) — лишь попытка подражания эльфийскому, ибо на самом деле у эльфов таких

названий никогда не было.

В других стихотворениях можно проследить влияние событий, произошедших в конце Третьей Эпохи, и отметить расширение горизонтов засельских хоббитов, что было обусловлено их более тесным общением с Ривенделлом и Гондором. № 6, несомненно, гондорского происхождения, хотя это стихотворение помещено в сборнике сразу после «Лунного человечка», которое сочинил Бильбо. То же самое относится и к последнему стихотворению сборника — № 16. Очевидно, они основаны на легендах людей, которые жили на берегу Моря и были хорошо знакомы со впадавшими в него реками. Так в № 6 упоминается Белфалас (бухта Бель) и Башня — Тирит Азар, то есть Дол Амрот. В № 16 упоминаются Семь Рек, бегущие к Морю по земле Южного королевства^[12], а также использовано эльфийского типа гондорское имя смертной женщины^[13] — Фириэль^[14]. В Лангстранде и Дол Амроте бытовало много легенд о древних эльфийских поселениях и гаванях в устье Мортонда, где еще во Вторую Эпоху, после падения Эрегиона, поднимали паруса уходившие на Запад корабли. Отсюда следует, что эти стихотворения представляют собой просто обработку, так сказать, южных материалов, доступ к которым Бильбо получил, видимо, в Ривенделле. Точно так же стихотворение № 14 основано на материалах Ривенделльского архива, как эльфийских, так и нуменорских, которые относятся к героическим дням конца Первой Эпохи. Здесь, по-видимому, наличествуют отголоски нуменорского сказания о Турине и гноме Миме.

Стихотворения № 1 и № 2, несомненно, бэкландского происхождения. В них явно чувствуется близкое знакомство с этими местами, а также с Балкой, поросшей лесом долиной Ивьего Вьюна^[15], каким не могли похвастать хоббиты, жившие к западу от Плавней. Кроме того, из них следует, что бэкландские хоббиты были хорошо знакомы с Бомбадилом^[16], хотя наверняка они столь же мало понимали его волшебную силу, как хоббиты засельские — волшебную силу Гэндальфа. И тот, и другой воспринимались хоббитами как вполне добродушные старички, пусть немного таинственные, но какие-то непутевые. № 1 — вещь более ранняя, основанная на многочисленных вариантах хоббичьих легенд о Бомбадиле. Стихотворение № 2 основано на той же традиции, только шутки Тома обращены здесь на его друзей, которых они забавляют, хотя и немного пугают. Вероятно, это стихотворение сочинено значительно позже, то есть уже после того, как Фродо и его друзья побывали в гостях у Бомбадила.

Все представленные здесь хоббичьи стихи имеют две общие черты: пристрастие к необычным словечкам, а также к вычурным рифмам и разнообразным метрическим ухищрениям. По простоте душевной хоббиты, очевидно, видели в этом особенные достоинства и изящество, хотя на самом деле хоббиты всего-навсего подражали эльфийским образцам. Кроме того, смысл этих стихов достаточно прозрачен, они вполне простодушны и непринужденны, хотя подчас кое-кто может подумать, что не все в них так просто, как кажется. № 15 — стихотворение определенно хоббичье, но являет собой исключение. Оно относится к позднему периоду, то есть уже к Четвертой Эпохе. Оно приведено здесь потому, что имеет подзаголовок, написанный небрежно и другой рукой, — «Сон Фродо». А это нам важно. И хотя представляется маловероятным, что сочинил его сам Фродо, подзаголовок ясно указывает, что это стихотворение связано со страшными, полными отчаяния снами, которые посещали Фродо каждый март и октябрь в последние три года. Впрочем, существуют и другие предания о хоббитах, которые отправлялись в «сумасшедшие странствия», а по возвращении (если им, конечно, удавалось вернуться!) становились какими-то странными и замкнутыми. Так или иначе, мысль о Море неизменно присутствовала на заднем плане воображения хоббитов. Однако страх перед Морем и сильные сомнения в истинности эльфийских знаний не покидали засельских хоббитов в конце Третьей Эпохи, причем сомнений этих отнюдь не поколебали грандиозные события и большие перемены, которыми эта Эпоха завершилась.

1. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА БОМБАДИЛА

Славный малый Бомбадил, веселее нету,
в желтых кожаных штанах он ходил по свету,
в куртке ярко-голубой по лесу шагал он,
бела лебедя пером шляпу украшал он —
беззаботно пробежал по лесной тропинке,
и легко его несли желтые ботинки.
Ну, а жил он под Холмом, где под самым склоном
извивался Ивий Вьюн ручейком студеным.

Луговиною шел Том, лютики срывая,
чтобы посидеть в тени, песню напевая,
пальцем щекотал шмелей, пивших сок цветочный,
и за часом час сидел у воды проточной.

И у Тома до воды борода свисала.
Златовика, Дочь Реки, мимо проплывала —
дерг за бороду его! Том свалился с края —
под кувшинки, с головой, пузыри пуская!

— И зачем ты, Бомбадил, пузыри пускаешь?
Что ты там на дне забыл? Рыбу распугаешь?
Или чомгу в камышах изловить ты хочешь?
Или просто от жары шляпу в речке мочишь?

— Ну-ка, живо вороти шляпу Бомбадила!
Отчищай ее теперь от речного ила!
Водяная дева, ты больно уж игрива!
Спи на дне глубоком, где прячет корни Ива!

В омут, к матери своей, юркнула шутница.
Ну, а Том на бережок вылез обсушиться:
на корявый корень сел под скрипучей Ивой,
мокрые ботинки снял — и сидел счастливый!

Пробудилась Ива тут, спавшая сначала,
колыханием ветвей Тома укачала —
и как только на него навалилась дрема,
в трещине глубокой — щелк! — защемила Тома!

— А! Попался Бомбадил! Как тебе в дупле там?
Здесь отныне будешь жить и зимой и летом!
Фу! Щекоткою своей Иву разбудил ты!
И лицо мне замочил, гадкий Бомбадил ты!

— Ива Старая, пусти! Это же нечестно!
Больно ты жестка внутри и лежать тут тесно!
Лучше воду из реки пей корнями, Ива!
Златовика спит давно, засыпай-ка, живо!

Услыхав его слова, Ива задрожала,
заскрипела всем стволом, трещину разжала —

и оттуда вылез Том, словно из коробки,
и вдоль Ивьего Вьюна вновь пошел по тропке.

А потом в лесочке сел, влажном и тенистом,
наслаждаясь пеньем птиц и немолчным свистом.
И над шляпой у него бабочки порхали;
только вскоре, солнце скрыв, тучи набежали.

Хлынул дождик проливной, и за ворот Тому
потекла вода, и Том встал и двинул к дому.
Ветер выл, и дождь хлестал, колыхались сучья.
Видит Том: пред ним нора — темная, барсучья.

Он залез в нору, а там важною особой
проживал Барсук с семьей — старый, белолобый.
Тома он за куртку — хват! Дружно всей семьей
утащили по ходам Тома за собою.

И народ барсучий там шамкал и шептался:
— Провалился Бомбадил! Бомбадил попался!
Выхода отсюда нет! Ты навеки с нами!
Будешь носом землю рыть вместе с барсуками!

— Слышишь ли меня, Барсук, Бомбадила Тома?
Ну-ка, выводите скорей! Нужно быть мне дома!
Под шиповником у вас выход есть, я знаю!
А не то намою нос живо шалопаю!
Лучше всей семьей спать отправляйтесь живо!
Златовика спит давно, и давно спит Ива!

Извинились барсуки, дрожь их охватила —
под шиповник отвели Тома Бомбадила.
Ну, а после выход тот завалили сами —
рыла землю вся семья черными носами.

Небо чисто, дождь прошел. По дороге к дому
стало весело шагать Бомбадилу Тому!

Бомбадил пришел домой. К лампе на окошке
полетели мотыльки, комары да мошки.
Тихо на небе ночном звездочки мигали,
месяц молодой ушел, потемнели дали.

Том зажег свечу и спать наверх удалился,
двери плотно затворил, на засов закрылся.
— Отвори мне, Бомбадил! На пороге гости!
Слышишь, как стучат мои позвонки да кости!

Ты попался! Это я! Навье из Кургана!
Что-то нынче Бомбадил затворился рано!
Отведу тебя в Курган, страшный, заповедный!
Будешь под землей лежать, ледяной и бледный!

— Уходи отсюда прочь! Не стучи костями!
Не скреби моих дверей, не сверкай очами!
Уходи обратно спать в свой Курган зеленый
вместе с золотом, что спит под землей студеной!
Златовика спит давно, и Барсук, и Ива —
Восвояси уходи! Убирайся живо!

Навью тут и след простыл — как и не бывало!
Тень мелькнула на дворе, в темноте пропала —
под камнями, что кольцом на холме стояли,
схоронилась, скрежеща, в скорби и печали.

И спокойно Том заснул, так сказать, во здравье —
Ива крепко так не спит, ни Барсук, ни Навье.
Спал усталый Бомбадил Златовики слаще —
беспробудно, от души, великохрапяще.

Тихо наступил рассвет. Бомбадил спросонок
«Бомбадили-дили-Том!» свистнул, как щегленок,
Солнцу отворил окно, щурясь на росинки,
шляпу мятую надел, куртку и ботинки.

Мудрый малый Бомбадил, осторожней нету,
в сине-желто-голубом он ходил по свету.
И волшебная была в Бомбадиле сила,
и никто не мог поймать Тома Бомбадила —
ни в лесу, ни на реке — ну-ка, излови-ка!
Но от Тома не ушла дева Златовика!

Как-то, сидя во Вьюне, пела без опаски
о зеленых камышах, о зеленой ряске.
Но подкрался Том — и хватъ деву водяную!
Зашумели камыши, чомги — врассыпную!
И от цапель на реке было много крика —
в Бомбадиловых руках билась Златовика!

— Ты домой ко мне пойдешь из речного ила!
Стол давно уже накрыт в доме Бомбадила!
Не видала ты еще этакого дома —
розы дивные растут под окном у Тома!
Хватит шастать в камышах по болотным лужам —
жить отныне под Холмом будешь с добрым мужем!

И на свадьбе у него было много брашен;
был венком из лютиков Бомбадил украшен;
платье из зеленых трав было на невесте,
незабудки в волосах с лилиями вместе.

Бомбадил свистал щеглом, и шмелем жужжал он,
деву стройную свою крепко обнимал он.

Снежно-белая постель, свет погас у Тома...
Ночь плясали барсуки при луне у дома.

Ива Старая в окно тук-тук-тук стучала
и до самого утра головой качала,
тихо плакала Река в пелене тумана,
глухо доносился вой Навья из Кургана.

Но не слышал Бомбадил полуночный шепот —
ни стенания, ни стук, и ни вой, ни топот.
До рассвета крепко спал, а потом проснулся:
«Бомбадили-дили-Том!» — птичкой встрепенулся!
На растопку чурбачков наколол немножко,
Златовика с гребешком села у окошка.

2. БОМБАДИЛ ПЛЫВЕТ НА ЛОДКЕ

Ветер западный задул, портится погода,
Том поймал осенний лист на исходе года.
«Вот удачу я поймал золотого цвета!
Не до зелени теперь — хороша и эта!
Нынче лодку починю — да и порыбачу
или просто по Вьюну двинусь наудачу».

Пеночка сказала: «Пи-и! Вижу, вижу Тома!
Знаю, знаю я, куда Том идет из дома!
К Старой Иве полечу, что листвой качает,
расскажу ей, расскажу — пусть его встречает!»

«Лезешь не в свои дела! Сплетни все разносишь!
Проболтаешься — гляди! Головы не сносишь!
Скажешь Иве — берегись! Больно ты болтлива!
Насажу тебя на прут — и зажарю живо!»

«Ты сперва меня поймай! — Пеночка вспорхнула
и над шляпою с пером хвостиком махнула. —
К Старой Иве полечу, сяду на ракиту,
прошепчу ей на ушко: „Том собрался к Миту!“
Поторапливайся, Том! Заждалася Ива!
Нынче самая пора выпить жбанчик пива!»

Улыбнулся Бомбадил писку птички малой.
«Отчего бы не на Мит? Да! Туда, пожалуй!»
И в затоку, в камыши, Бомбадил забрался —
лодку выволок свою и за весла взялся.
«Бомбадили-дили-Том! Лодочка-челночек!
Ты неси меня, неси через Лес-лесочек!»

«Эй, куда ты, Бомбадил, с этакой скорлупкой?
Что ты веслами стучишь по затоке хлюпкой?»

«К Брендивину по Вьюну, к Осеке плыву я,
где друзья мои живут, обо мне тоскуя.
И добраться до темна я спешу скорее,
ибо засветло они не в пример добрее».

«Ты у Осеки пойдешь по речным затокам —
к родичам моим тогда загляни с поклоном».

«Я гуляю! — молвил Том. — Не было печали!
Очень надо, чтобы мне что-то поручали!»

«Фу! Противный Бомбадил! Дырку тебе в днище!
Опрокинулся чтоб ты! Будет смехотища!»

«Зимородок, не болтай, голубая пташка!
Лучше перышки почисть, жалкий замарашка!
Посмотри, в твоём дому всюду рыбы кости,

и противно заглянуть к этакому в гости!
Да и так заведено в нашей Старой Балке —
если много говорить, то конец рыбалке!»

Зимородок замолчал, глазками моргнул он,
и над Томом «Пырх-пырх-пырх!» крыльями взмахнул он.
Взмыл он, радугой горя над речным заливом, —
и упало вниз перо с голубым отливом.
Бомбадил его поймал, молвил: «Вот подарок!
Голубое! Этот цвет и хорош, и яркок!»

Веслами захлюпал он, волны зарябили,
и пошла кругами гладь, пузыри поплыли.
«Фр-р-р! Да это Бомбадил! В лодке! Вот потеха!
Диво дивное плывет! Лопну я от смеха!
И давненько ж о тебе не было помину!
Ну и лодка! Смехота! Ну, как опрокину?!»
«Кыш, Усатая! Гляди! Вот тебя схвачу я!
И смеяться надо мной живо отучу я!»

«Пш-ш-ш! Том Бомбадил! Позову-ка мать я!
Следом сестры приплывут и примчатся братья!
Ведь такого дурака не увидишь дома!
Деревянная нога, даже две, у Тома!»

«А у Навий под землей, Выдра, не была ты?
Разоденут там тебя в золото и латы!
Разве только по усам дочь узнает мама!
Прочь с дороги, говорю! До чего ж упряма!»

Выдра плюхнула хвостом, Тома окатила
и забрызгала водой шляпу Бомбадила!
И под лодочку нырнув, уплыла к болотам
и ждала, покуда Том смолк за поворотом.

Мимо Тома Лебедь плыл, гордо и степенно,
громко фыркал и шипел, и глядел надменно.
«Старина! — окликнул Том. — Урони перо-ка!
Истрепалось от дождей старое до срока,
ну а с теми, кто грубит, не люблю водиться!
Насмехаться не к лицу столь красивой птице!
Вот вернется к нам Король — и своею дланью
спесь-то он с тебя собьет и обложит данью». —
Лебедь крыльями «хлоп-хлоп!» и налег на лапы —
«Вот еще! Отдать перо для какой-то шляпы!»

Том Запруду миновал. Ивий Вьюн торопко
к Плесу пенному погнал лодочку, как пробку,
и вода у Городьбы лодочку качала —
живо Тома донесла прямо до причала.

И со смехом закричал маленький народец:
«Ой! Да это Бомбадил! Том Козлобородец!»

Берегись! Лесовиков мы не любим в доме!
Ни на лодке не пройдешь и ни на пароме!
Охраняет Брередон Бэкланд и Пределы —
и у нас для пришлецов наготове стрелы!»

«Не смешите, толстячки! Что вы кипятитесь?
Вы же даже барсука — и того боитесь!
Страшно тени вам своей темною порою!
Вот я орков позову — живо успокою!»

«Можешь звать их, Бомбадил! Нам не страшно дома!
Три стрелы тебе в тулю! Не боимся Тома!
Не за пивом ли сюда ты явился снова?
Разве напасешься тут пива на такого?!»

«Надо мне за Брендивин, к Миту бы добраться,
но с течением челноку трудно здесь тягаться.
Потому у вас возок подобру прошу я —
а тому, кто добр ко мне, счастье приношу я!»

Вот и солнца за холмом скрылась половина,
алым пламенем зажглись воды Брендивина,
потемнели — и пришли сумерки в Заселье,
и закончились кругом гомон и веселье,
и на Тракте никого, тихо плещет речка.
«Эй, да где вы? — крикнул Том. — Где вы?
Ну и встреча!»

По дороге к Бугорку Том побрел в потемки.
Вдруг услышал он во тьме чей-то оклик громкий:
«Кто тут?!» Пони «цок-цок-цок!», скрипнули колеса.
Том никак не ожидал странного вопроса.

«Кто тут шляется в ночи? Кто тут прет из Плавней?
Что за шляпа у тебя? И торчит стрела в ней!
Видно, любопытен ты, но тебе не рады.
Ну-ка, подойди сюда! Что тебе тут надо?
Ведь за пивом ты небось — а вот денег нету!
Не получишь ни глотка — только за монету!»

«Не шуми ты, Землекоп! Что еще за речи?
Ждал у Мита я тебя — не дождался встречи!
Ах ты, старый ты мешок! Эй, давай не мешкай!
Поторапливайся-ка со своей тележкой!
Что такое ты несешь? Иль заели блохи?
И полегче у меня! С Томом шутики плохи!
Кружка пива мне с тебя, старый ты тупица!
Что? Своих не узнаешь? Мэггот, не годится!»

И поехали они, обнявшись счастливо,
и в корчме на Бугорке пить не стали пиво,
позабыли на возке разом перебранку —
на Бобовую они ехали Делянку.

Все кишки перетрясло на ухабах Тому.
Наконец-то добрались к Мэгготову дому!
Светят звезды с высоты прямо на телегу,
в окнах свет — и, значит, быть славному ночлегу.

Фермерские сыновья тут же появились,
встали дочери рядом, гостю поклонились,
и хозяйская жена, поклонясь учтиво,
не забыла принести пару кружек пива.
После ужина они заплясали разом,
а потом пришла пора песням и рассказам.
На волынке Том играл, отдуваясь тяжко,
и скакали сыновья, словно два барашка!
Мэггот гоголем ходил, а хозяйка уткой,
и никто не лез в карман за веселой шуткой.

А потом — кому сенник, а кому — перина:
спать пошли. А Мэггот сел с Томом у камина.
И всю ночь они «шу-шу!» говорили вместе,
ибо оба припасли друг для друга вести.
Что там в Башенных Холмах, что и как в Курганах,
о своих и пришлецах, о секретных планах,
что пшеница и ячмень, в Бри какое диво,
что деревья шелестят, хорошо ли пиво,
сеют что и что куют, о других работах,
что за Стражи у реки, тени на болотах...

Вот и Мэггот задремал, тлели угли ало,
и с рассветом Том ушел — как и не бывало.
Так проходит легкий сон — и потом не помнят:
то ли был он, то ли нет, ничего-то в нем нет.
И никто не услышал Бомбадила Тома,
ну а утром дождь прошел, смыл следы у дома.
Возле Мита тишина, Осека молчала,
и не слышали шагов утром у причала.

И три дня у Городьбы лодка Бомбадила
все ждала, ждала его и не уходила —
но однажды по Вьюну в Лес ее угнали.
Говорят, что Выдры в ночь лодку отвязали
и, толкая под корму, вышли на стремнину,
не давая ей уплыть ниже к Брендивину.

Лебедь из лесу приплыл, развернулся статно,
взял веревку в желтый клюв и поплыл обратно.
Выдры следом «толк да толк!», резвы и игривы,
лодке не дали застрять возле Старой Ивы.
Зимородок сел на нос, Пеночка — на банку —
и доставили домой лодку спозаранку.

Тихо лодку приняла Томова затока.
«Фр-р! — сказала Выдра. — Фр-р! Ну, была морока!

Только ноги Тома где? Где же деревяшки?
Бедный, бедный Бомбадил! Как ходить бедняжке?»
На причале в Городьбе весла-то остались —
много-много долгих дней Тома дожидались!

3. СТРАНСТВИЕ

Один веселый мореход,
глашатай, путешественник
себе гондолу стройную
построил морем шествовать.
Он апельсинов в трюм набил
на благо предприятия,
набрал с собой овсянки он,
чтоб всякий день вкушать ее.
И взял с собой он специи —
и перца взял, и ландыша,
мускатных взял орехов он,
и кардамон с лавандою.

И вышел с ветром в плаванье
из гавани наш имярек,
браздя моря хрустальные,
за дальние семнадцать рек.
И вот с погодой доброю
добрался без печали он
до Деррилина бурного,
и к берегу причалил он.
Луга прошел он с пением,
сомнением снедаемый,
за горы неприступные
ступил на путь незнаемый.

Присел в пути и песню спел,
но не успел он с камня встать,
как бабочку красивую
просил своей женою стать.

Ответ ее не мешкая
с усмешкою последовал;
он волшебства учения
речения исследовал.

Соткал он сеть легчайшую,
тончайшую поймать ее;
жучиные с бессилья он
взял крылья обогнать ее.

Поймал ее тенетами
забот и обожания,
лилейно-белый павильон
обставил он со тщанием,
цветами всевозможными
он ложе выстлал брачное,
кругом парча и золото,
и пологи прозрачные.

Но бабочка желанная

жеманный вновь дала отказ —
и в горе и печали он
отчалил снова в тот же час.

Летел он с болью острою
до острова далекого,
где в зарослях календулы
зеленый луг привлек его,
где горы злата блещут днем,
огнем встают над дебрями,
где плещут реки чистые,
лучистые, серебряны.
И за морями пенными
с военными забавами
скитался он по Белмари,
и Фэнтэзи, и Теллами.

Он взял доспехи дивные —
из бивня были шлем и щит,
оружьем изумрудовым
орудовал на битвищах,
и паладинам Аэри
и фаэрийским рыцарям
бросал он дерзкий вызов свой
и не желал открыться им.

Кольчугу он надежную
надел, взял стрелы черные,
привесил ножны к поясу
из оникса точеные,
и взял на дротик малахит
и сталактит; в огне был он,
и в ярости во прах поверг
без страха чудищ неба он.

Он бился со Стрекозами,
и Осами, и Пчелами,
завоевал Медовый Сот
и гордо поднял голову.
Разбил он вражьи полчища,
и начищал доспехи он,
и после дела ратного
отпраздновал успехи он.
Из листиков и лепестков
слепил себе гондолу он,
и ветер пел на пару с ним,
под парусом шел к дому он.

На севере и юге он
свою гондолу-галеон
гонял; там ветер травы гнул —
и правил путь свой дале он.
И вот добрался до дому,

с Медовым Сотом прибыл он,
забыл он только начисто,
зачем из дому отбыл он?
И вновь из прежней гавани
он в плаванье пускается,
и новая история
из старой начинается.
И по ветру в гондоле он
из дому вновь идет в поход,
веселый путешественник,
глашатай наш и мореход.

4. ПРИНЦЕССА ЭТА

Принцесса Эта
была вся из света,
как эльфы поют про нее.
Сияньем лучистым
и золотом чистым
горел каждый локон ее.
И как паутинка,
сверкала косынка,
и плащ был на ней золотой,
и пояс камнями,
как будто огнями,
усыпан был щедрой рукой.

А днем покрывало
она надевала,
клобук прикрывал волоса,
но каждую ночью
всяк видел воочью —
блистала она, как роса!
И в туфельках белых
плясала и пела,
и легок ее был полет —
она, словно птица,
кружиться, кружиться
спешила на зеркало вод.
Она танцевала,
и блики опала
скользили по темной воде.
Подобное чуду
сияние всюду —
и всюду оно и везде!

Над пляшущей Этой
несутся кометы,
звездами горит чернота,
но белою птицей
под Этой кружится
принцесса по имени Та!
Она танцевала
там без покрывала —
сиял волосок к волоску!
Но Та вверх ногами
сверкала огнями
под Этой — носочек к носку.

Касаясь едва ли,
они зависали —
у каждой свои небеса!
И Та на кометы,
что в небе у Эты,
смотрела как на чудеса!

И в танце по кругу
дивились друг другу
и Эта, и Та — и светла,
на Эту Та глядя
сквозь водные глади,
понять ничего не могла.

Плясала и пела
Та в туфельках белых,
порхая под зеркалом вод, —
кружится, кружится
она, словно птица,
кружится, но наоборот!
Сомненья напрасны —
ведь обе прекрасны!
Сверкают они на лету —
и танец их длится,
и не надивится
Та Эте, а Эта на Ту!

5. ЛУННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК ЗАДЕРЖАЛСЯ

Под горой стоит корчма
У слиянья речек —
Раз свалился с чердака
Выпить доброго пивка
Лунный Человек.

Был там подгулявший кот
С пятиструнной скрипкой —
Он по ней что было сил
Вжик-вжик-вжик смычком пилил
С пьяною улыбкой.

Там еще гулял щенок —
Не было с ним сладу:
Он по-щеньи лопотал
И от пуза хохотал,
Просто до упаду!

И корова там была —
Сунься к недотроге!
Но под музыку кота,
Позабыв свои лета,
Проплясала ноги!

Так надраена была
В кухне вся посуда,
Что куда ни положи
Ложки, вилки и ножи —
Блещут, просто чудо!

Ну, веселье началось!
Все перемешалось —
И корова от щенка
Получила тумака,
И коту досталось!
Человечек окосел
Да и лег под лавку —
Но во сне он не молчал
И без удержу кричал,
Чтоб несли добавку!

Надо же его будить,
Хоть и неприятно, —
Уж не долго до утра,
Значит, самая пора
На луну обратно!

Кот на скрипке заиграл,
Голося ужасно.
Тут бы и покойник встал —
Ну а этот спал и спал.

Видно, все напрасно!

На гору его снесли —
Было ж «аху-оху»!
Хором крикнули: «А ну!» —
Зашвырнули на луну
Луновыпивоху!

Кот опять схватил смычок,
Снова запиликал —
А корова, хоть строга,
Встала прямо на рога,
А щенок хихикал!

«Дзынь!» — и струны порвались;
Ахнула компания!
А корова (чудеса!)
Ускакала в небеса —
Что же, до свидания!

Закатилась луна,
Встал рассвет во мраке:
Ну дела! Пора вставать,
А они идут в кровать —
Экие гуляки!

6. ЛУННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК ПОТОРОПИЛСЯ

Жил на луне он в вышине,
тот Лунный Человечек,
его власы, светлей росы,
горели ярче свечек.
Светлей костра из серебра
венец горел на нем,
и башмаки, как огоньки,
сверкали серебром.

Алмаз блистал, сверкал опал,
корона — как звезда;
горя огнем, и в ночь, и днем
сияла борода.
Да вот каприз — собрался вниз!
Ведь не прикажешь сердцу!
Из черных туч достал он ключ
и отворил им дверцу!

И с песенкой по лесенке
спускался он как мог.
О, наконец он свой дворец
оставил на денек!
Средь лунных гор, где пуст простор,
сидел он в башне белой,
но из окна — одна луна,
а это надоело!

Пред ним гора из серебра,
и ничего цветного,
одни снега да жемчуга —
а он хотел иного;
и все скучал средь лунных скал
гуляя по карнизу,
и там подчас слышал не раз
веселый гомон снизу.

Но холодны огни луны,
хоть звездный свет прекрасен,
судьбу кляня, желал огня,
чтоб был горяч и красен,
чтоб языки огня, яркие,
горели, словно золото, —
желал узреть багрец и медь
он в зареве заката,

зеленый лес живых древес
и моря бирюзу —
и что за пир подлунный мир
готовит там, внизу.
«Ох, не могу! Хочу рагу!
Вина хочу! Котлет!

А то весь век ем голый снег
и пью лишь лунный свет!»

От этих дум терял он ум —
и ринулся в простор!
И с песенкой по лесенке
слетел, как метеор!
Стезю свою кометою
он прочертил впотьмах —
и окунулся в ночь на Юл
он в бухту Бель — «ба-бах!».

Ах, поутру не по нутру
в волнах тонуть комете!
Но кое-как поймал рыбак
беднягу прямо в сети.
В сетях сверкал алмаз, опал —
немыслимо красиво!
Такое вот в глубинах вод
светящееся диво!

«В кровать! В корчму! — кричат ему.
Здесь близко до земли!»
Потом без слов, собрав улов,
на берег отвезли.
И в такт волне там в тишине
вдруг колокол забил,
и новость эту на весь свет
он с Башни разгласил.

Он прибыл, но кругом темно,
и холоден камин —
лишь полусвет, рассвета нет —
и он стоит один.
Он слышит лишь глухую тишь,
кругом все крепко спят —
и кто как лег, без задних ног,
в две дырочки сопят.

Туман и тьма, и все дома
закрыты на замок,
и лишь в корчме горит во тьме
лампадки огонек.
«А ну-ка кыш! Чего стучишь?!» —
корчмарь окликнул сонный.
«Ах, я стучу, вина хочу,
говядины тушеной!»

«Еще чего! Нет ничего!
Но заходи-ка, малый!
Я и с утра от серебра
не откажусь, пожалуй!
Монетку вот плати за вход,

за то, чтоб плащ повесить,
хоть нету вин, но за камин
ты мне заплатишь десять!»

Корчмарь-хитрец его венец
забрал за каши плошку —
и дал корчмарь ему сухарь
и ломаную ложку.
Пусть знает тот, кто к нам придет
наестся и напиться:
незванный гость, что в горле кость, —
не нужно торопиться!

7. КАМЕННЫЙ ТРОЛЛЬ

Тролль, зол и гол, худой, как кол,
Сто лет сосал пустой мосол.
Уж сколько лет, как мяса нет,
Поскольку место дико —
Поди-ка! Найди-ка!
И мяса ни куска на стол —
А это как-то дико!

Но к Троллю в дом явился Том:
«Ты что сосешь, сопя притом?!
Ага! То дядина нога!
Но дядя же в могиле!
Закрыли! Зарыли!
Давно уж он на свете том,
И прах лежит в могиле».

И Тролль сказал: «Да! Я украл!
Но ведь проступок мой так мал!
Зачем она ему нужна —
Ведь умер старикашка!
Не ляжка! Костяшка!
Ну разве Троллю б отказал
Покойный старикашка?!»

«Ну и позор! Ты просто вор!
С каких это ведется пор,
Что можно брать останки дядь?!
Верни назад, ворюга!
Бандюга! Хапуга!
Отдай! И кончен разговор!
Давай сюда, ворюга!»

Но, зол и бел, Тролль прошипел:
«Давненько я мясца не ел!
А свежий гость — не то, что кость!
Тебя я съем, пожалуй!
Эй, малый! Пожалуй!
И час обеда подоспел —
Тебя я съем, пожалуй!»

Но Том наш не был дураком
И Тролля угостил пинком:
Уж он вломил, что было сил —
Давно нога зудела!
Задело! За дело!
Досталось Троллю поделом
По заднице за дело!

Хотя гола, но, как скала,
У Тролля задница была.
Не ждал притом такого Том

И закричал невольно:
«Ой, больно! Довольно!»
А Тролля шутка развлекла —
Нисколечки не больно!

Вернулся Том, уныл и хром,
Домой с огромным синяком!
А Троль с ухмылкой — хоть бы хны!
Залез в свою берлогу —
И ногу, ей-богу,
Не бросит нипочем!
Ей-богу!

8. ПЕРРИ-ВИНКЛЬ

На камне Тролль сидел и ныл:
«Увы!» и «Ох!» и «Ах!»
«Зачем один я столько жил
в заброшенных горах?!
Мои сородичи ушли
во дни иных годин —
и я, Последний Тролль земли,
живу теперь один.

Хоть мяса я не ем теперь,
и вовсе я не вор,
но всяк передо мною дверь
закроет на запор!
Ну что с того, что неуклюж
и встал не с той ноги —
а все ж я добрый, и к тому ж
пеку я пироги.

Мне может вежливость помочь
(понятно и ежу!) —
за добрым другом в эту ночь
в Заселье я схожу».
Тролль башмаки свои надел,
и затемно как раз
он в Делвинг, в Западный Предел,
попал в урочный час.

С корзинкой миссис Банс брела,
и зонтик с нею был.
«Как вы живете? Как дела?» —
Тролль вежливо спросил.
Но зонтик выронила та —
был вопль ее высок!
И позабыв свои лета,
пустилась наутек!

Папаша Потт не ожидал
такого поутру —
со страху сделался он ал
и спрятался в нору.
«Ах, миссис Банс! Дела-то как?»
Но ту уж не догнать:
засовом за собою «крак!» —
и сразу под кровать!

Пошел на рынок Тролль тогда
и увидал овец —
те врассыпную, кто куда,
решив, что им конец!
Мясник был ужасом объят —
лежал он и дрожал,

а пес его по кличке Хват
залаял и сбежал.

Заплакал Тролль, присев к стене:
«За что мне столько мук?»
Но Перри-Винкль по спине
его похлопал вдруг.
«Ну, что ты нюни распустил,
детинушка моя?
Вовеки Тролль здесь не гостил,
насколько помню я!»

«Давай-ка, парень, прокачу
тебя я на спине!
Тебя в приятели хочу!
Айда домой ко мне!»
На том два друга и сошлись:
«Поехали! Н-но! Н-но!» —
У Тролля чаю напились,
пока еще темно.

Там были пышки, сливки, мед,
и чайник был не мал —
и Перри-Винкль свой живот
усердно набивал.
Очаг пылал, и чайник пел,
румянился пирог,
и Перри-Винкль пил и ел,
пока не изнемог.

Надуты были оба столь,
что слова не сказать, —
и Винкль, и радушный Тролль
решили отдыхать.
«Отныне буду много печь,
поскольку есть кому!» —
И предложил на вереск лечь
Тролль другу своему.

Спросили Винкля: «Где ты был?
«Да вот чаи гонял.
И там я так живот набил,
что еле-еле встал».
«Да где? В Заселье? Говори!
Немедля отвечай!
А может, это в дальнем Бри
такой отменный чай?»

Но Перри-Винкль все молчит —
как онемел навек.
Тогда, приняв ужасный вид,
сказал проныра Джек:
«Какой тут может быть вопрос!

Ведь на пороге тьмы
Тролль на горбу его унес
куда-то за Холмы».

Охота хоббитам пришла
тех пирогов чуть-чуть
отведать: кто запряг осла,
кто пони взял — и в путь!
Туда, где старый Тролль живет,
добрались кто как мог —
и видят: из трубы идет
под небеса дымок.

Обили Троллю весь порог,
отбили кулаки:
«О, испеки нам свой пирог!
Скорее испеки!»
«Идите лучше по домам
и не вводите в грех!
Пеку я лишь по четвергам —
к тому же не для всех!

Не приглашал я вовсе вас! —
Тролль молвил. — Кыш домой!
И сдобы кончился запас —
все съел приятель мой!
Я не намерен всех подряд
кормить в своем дому!
Я только Перри-Винклю рад,
а вы мне ни к чему!»

С тех пор всего за пару лет
стал Винкль пышнотел,
он перестал влезать в жилет —
настолько растолстел!
Исправно он по четвергам
являлся к чаю в срок —
и горе было пирогам,
что Тролль ему испек!

Пекарню Винкль приобрел —
такая вот судьба! —
и пироги текли на стол,
и булки, и хлеба.
Но даже он испечь не мог
такие пироги,
что к чаю Тролль для друга пек
в Холмах на четверги.

9. СИНЕГУБКИ

У Синегубок в глубине
черным-черна вода,
звонит их колокол на дне,
когда идешь туда.

Не ожидая там беды,
ты в двери к ним стучишь,
но только бульканье воды
там нарушает тишь.

У речки ив плакучих ряд,
и в гулкой тишине
вороны черные сидят
и каркают во сне.

Русалочки Горы не всякий отыщет —
там мглистые рощи во мраке долин,
там ветер в безлиственных кронах не свищет —
там ждут Синегубки, хозяйки глубин.

При свечке маленькой все дни
сидят они впотьмах,
и золото свое они
считают в погребях.

Струи холодные текут
со стен и с потолка,
а Синегубки гостя ждут,
следя исподтишка.

Подманят тихо, а потом,
легонько теребя,
вопьются крепко синим ртом —
и высосут тебя.

Русалочки Горы таятся во мраке,
паучья ведет туда тонкая нить.
Болота пройдешь и пройдешь буераки —
найдешь Синегубок, чтоб их накормить!

10. ОЛИФАН

Я Олифан — меня не трожь!
Не мышка я, не кошка!
На башню я слегка похож
и на гору немножко.

Передвигаю на ходу
свои колонны-ноги —
и если я куда иду,
не стойте на дороге!

И никому не ведом вес
моей огромной туши,
и с головой накроют вас
мои большие уши.

Два желтых бивня я несу —
они несут охрану:
и потому никто в Лесу
не страшен Олифану!

Я топаю средь бела дня,
и про меня не лгут — но
тому, кто не встречал меня,
в меня поверить трудно!

Зато, кто увидал хоть раз,
до смерти не забудет —
и шуток, уверяю вас,
шутить со мной не будет!

11. ХВОСТИТОКАЛОН

А вот перед вами Хвоститокалон!
Хоть с виду не очень приветливый он,
и гол, и угрюм, и печален — а все ж
на остров для высадки очень похож.
Так спустим же сходни — давайте играть!
А можно, наверное, позагорать!
Сидят на нем чайки. О чем они стонут?
Но будьте внимательны! Чайки не тонут!
То чайки! Но если из вас кто-нибудь
захочет на острове том отдохнуть
и, может быть, даже ему невзначай
взбредет на огне вскипятить себе чай —
Ах! Лучше не надо! Ведь все неспроста!
Хоть кожа его и прочна и толста
и с виду вам кажется, будто он спящ,
но знайте — о олухи! — ОН НАСТОЯЩ!
Укрыв под волнами огромный живот,
он медленно-медленно морем ПЛЫВЕТ!
И если потопать ему по спине
иль чайник поставить кипеть на огне —
печально, движение сделав одно,
незванных гостей он отправит на дно!

Немало чудовищ скрывают моря.
Я вам рисковать не советую зря,
поскольку Хвоститокалон-тугодум
не жалуется тех, кто теряет свой ум.
Теперь он остался последним в роду —
и встреча с ним в море приносит беду.
И вы не сходите — даю вам совет! —
на берег, которого в лоции нет,
а лучше совет мой примите другой:
не стоит из дому вообще ни ногой!

12. КОТ

Вот толстый кот
сопит и спит,
лишьмышь в тиши
у плит скрипит.
А кот бредет
в лесу сейчас,
где яр пожар
звериных глаз,
где дикий рык,
пир страшных игр,
налево — лев,
направо — тигр.
Игрива грива,
пасть льва — страсть!
Не дай вам бог
туда попасть!
И грозный тигр
того, кто слаб,
когтистой лапой —
цап-царап!
Они одни
в лучах луны
добычу бьют,
сильны, вольны,
но кот — и тот,
о том, кем был,
сопит и спит —
а не забыл!

13. НЕВЕСТА ПРИЗРАКА

В горах далеких человек
на валуне сидел —
сидел, сидел за веком век
и тени не имел.
В ночи пронзительно крича
под полною луной,
слетались совы, клюв точа
о камень неживой.

Явилась дева средь ночи
с венком на голове,
струились лунные лучи
по трепетной траве.
И этот человек разбил
заклятие свое,
и обнял деву, и обвил,
и отнял тень ее.

С тех пор ни солнце, ни луна
ей свой не лили свет —
без тени мается она,
где дня и ночи нет,
но раз в году у них пора
явиться из темна:
они танцуют до утра
вдвоем — а тень одна.

14. СОКРОВИЩА

Луна и солнце были юны,
лучи их были словно струны —
и пели боги на заре
о золоте и серебре,
и травы серебром искрились,
и реки золотом струились.
Еще ни гном и ни дракон
травы не мял той испокон,
и мир еще не ведал смрада,
что шел из черной глотки ада.
И жили эльфы на земле —
и в кузницах своих во мгле
волшебные заклатья пели,
дабы добиться высшей цели,
вплавляя лунные лучи
в короны, кольца и мечи.
Но злое наступило время —
и мир покинуло то племя.
И песни эльфов не звучат:
железом скованы — молчат.
Враг, неприемлющий добро,
все золото, и серебро,
и драгоценные изделия
надолго спрятал в подземелья
и проклял их заклатьем зла —
на земли эльфов мгла легла...

В пещере старый гном сидел —
он плавить золото умел;
ковал он до седьмого пота —
согнула в рог его работа;
и сотни отковав колец,
он мнил купить себе венец,
но кожа гнома пожелтела,
и за работой то и дело
из-за давно ослабших глаз
ронял во мраке он алмаз.
И занят был он лишь собою,
когда дракон, влеком алчбою,
к нему явился на порог
и гору беспощадно сжег;
золою стали кости гнома
во мраке выжженного дома.

В горе старик-дракон дремал,
и глаз его во тьме был ал —
но, золото обняв крылами,
дракон скукожился с годами,
покрылся пленкой алый глаз,
и горн внутри почти погас;
горя, алмазы и рубины

вдавились в панциря пластины;
он нюхал золото, лизал —
и совершенно точно знал,
где под его крылом местечко
любого малого колечка.
И дни и ночи напролет
он думал, как воров сожрет,
как выпустит кишки любому, —
и снова погружался в дрему.

Но старый дремлющий дракон
не услышал кольчуги звон
и пробудился слишком поздно,
когда к его берлоге грозно
явился воин молодой,
чтоб вызвать на жестокий бой;
крыла драконовы устали
и уступили хладной стали —
и огнедышащий дракон
мечом булатным был сражен.

В своей блистающей короне
седой король сидел на троне;
не ел, не пил, не пировал,
но часто хаживал в подвал —
в его сокровищнице темной
стоял резной сундук огромный,
что был на семь замков закрыт
и чистым золотом набит.
Давно его померкла слава,
и правил он давно неправо;
дворцы ветшали, но зато
свое любил он золото.
Беда пришла к его палатам —
он был повержен супостатом,
на трон его уселся враг,
а кости бросили в овраг.

Лежат сокровища в пещере:
там наглухо закрыты двери —
никто вовеки не войдет
под этот мрачный древний свод.
Теперь стада на мирных склонах
пасутся среди трав зеленых,
и жаворонок звенит с высот,
и ветер с моря травы гнет.
Покуда эльфы спят глубоко,
покуда ждет земля — до срока,
в который мгла сметется прочь,
сокровищами правит Ночь.

15. КОЛОКОЛ МОРЯ

У моря гуляя, у самого края
увидел я раковину на песке —
она то и дело тихонько гудела,
как колокол моря на влажной руке.
Прижав ее к уху, я слышал, как глухо,
как будто бы в гавани тайной рожден,
на отмели дальней бьет в бакен сигнальный
прибой — и доносит из-за моря звон.

Тягучие волны, безмолвия полны,
пригнали ладью мне, пустую, как ночь.
«К неведомым странам пора нам, пора нам!»
Я прыгнул и крикнул: «Неси меня прочь!»

Какая-то сила меня уносила
в глухие туманы и сумерки сна —
туда, где за темным пространством огромным
лежала забытая всеми страна.
И голосом ясным над рифом опасным
тот колокол моря без усталости бил,
и ночью беззвездной над мрачною бездной
на зов этот дальний без думы я плыл.
И вдруг белоснежным видением нежным
предстал предо мною сияющий берег —
блистали утесы, и пенные косы,
и пляжи, каких я не видел вовек.
И тек под рукою волшебной рекою
жемчужный песок, и подобьем огня
горели кораллы, сверкали опалы,
и яхонтов грани слепили меня.

Но тут у подножья заметил я с дрожью,
как вход в подземелья глухие зиял;
и свет помутился, я прочь устремился,
и волосы ветер мои разведал.

Сбегали каскады ко мне водопада —
напившись, я думал, что тяжесть стяхну;
идя вдоль потока, взбираясь высоко,
попал я в прекрасную вечно страну.
И там без испугу пустился по лугу,
где каждый цветочек сиял, как звезда;
там свежи и юны, как полные луны,
дремали кувшинки на глади пруда;
там ивы склоненны, и ольхи там сонны
над зеркалом вод несказанная тишь;
лишь ирис ночами колышет мечами,
и острыми копьями водит камыш.

И слышал весь день я какого-то пеня
далекое эхо; как тени, легки,

проворны и ловки, сновали полевки,
и зайцы скакали; из нор барсуки
таращили глазки; какие-то пляски
и музыку слышал я — звон в голове,
неведомый ропот и легонький топот,
как будто бы кто-то плясал на траве.
Но песни смолкали, шаги затихали,
лишь я приближался — и так всякий раз:
ни здравственной речи, ни дружеской встречи —
звучал только музыки ласковый глас.

Наряд себе новый я сшил тростниковый,
зеленую мантию гордо надел —
с жезлом и державой я встал величавый
и оком хозяина луг оглядел.
Увенчан короной, с гирляндой зеленой,
я крикнул в пространство: «Откройся же мне!
Молчишь почему ты? И служишь кому ты?
Не я ли король в этой дивной стране?!
И грозен к тому ж я — со мною оружие:
мне ирис дал меч, а тростник — булаву!
Так внеми же зову — скажи мне хоть слово!
Лицо мне открой и явись наяву!»

Вдруг ветер могучий затмил небо тучей —
я рухнул на землю и, словно слепой,
пополз еле-еле — без мысли, без цели,
пока не очнулся в чащобе лесной.
Мрачна и молчаща угрюмая чаща:
там каждое дерево было нагим;
в ума помраченьи я был в заточеньи,
и ухали совы по дуплам своим.
Мучение это, без лучика света,
на год растянулось и на день; жуки
деревья точили, соседями были
моими грибы да еще пауки.

Однажды мглу эту пробил лучик света —
и тут я увидел, что весь в седине.
«Я отдан был горю, но нужно мне к морю!
Дорога отсюда неведома мне».
И веткой терновой от ветра ледяного
пытался укрыться я — темень и вой;
несли меня ноги во мгле без дороги,
летучею мышью тень шла надо мной.
В шипах весь и в ранах я брел в этих странах,
и годы свои я тащил за спиной —
и вдруг, утомленный, я ветер соленый
вдохнул, и пахло вдруг тиной морской.

И слышал я в шхерах и мрачных пещерах
какие-то стоны и вой иногда,
и чайки кричали, и волны ворчали,

и глотки пещер заливала вода.
Внезапной зимою, окутанный мглою,
я к краю земли свои годы понес —
туда, где свистели глухие метели,
где ждали меня только мрак и мороз.

У берега морского в ладью свою снова
я сел — и она понесла меня прочь;
и тихо шли мимо суда-пилигримы,
лишь чаячий крик оглашал эту ночь.
И в гавани темной армадой огромной
безмолвно застыли большие суда:
не двигаясь боле, стоят на приколе —
отсюда они не уйдут никогда.

Лишь вихря стенанья и темные зданья,
лишь ливень струился потоками слез;
сошел я с дороги и сел на пороге,
и сбросил все то, что с собою принес.
Лежат на ладони забывший о звоне
тот колокол моря да горстка песка —
не слышу я снова далекого зова,
и берег я тот позабыл на века.
В обрывках одежды без всякой надежды
по улицам темным я тихо бреду —
о море горюя, с собой говорю я,
а встречные только молчат на ходу.

16. ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ

Фириэль из окна поглядела в три -
нехотя ночь отступала.
Звонкоголосый глашатай зари,
крикнул петух... Светало.
Бледный рассвет проступил из мглы,
птицы, проснувшись, запели,
мутно чернели деревьев стволы,
тихо листы шелестели.

Фириэль у окна стояла, ждала,
покуда не прояснилось —
и вот, наконец, рассеялась мгла,
роса в траве заискрилась.
И дева, тихо ступив за порог,
пошла по росному лугу.
Никто шагов ее слышать не мог —
ни звука на всю округу.

И был в алмазах ее подол,
когда дева к реке сбежала;
встала под ивой, оперлась о ствол,
взглядом поток провожала.
Шумно нырнул зимородок в тиши,
брызги взметнулись искристо,
плавно покачивались камыши
над зарослями стрелолиста.

Огнем горели ее волосы,
и вдруг из-за излучки
услышала дева не то голоса,
не то музыки нежные звуки.
Тихое пенье лилось по реке,
будто бы тронули струны
или же колокол бил вдалеке
чисто, звонко и юно.

Гордый корабль приплыл; снаряжен
был он, как перед походом;
за лебедями безмолвными он
плыл по светлеющим водам.
Там златовласые, в серых плащах
эльфы на веслах сидели;
трое в коронах, с арфой в руках,
песню протяжную пели.

Так и стояли и пели они,
веслам гребцов согласно:
«Как хороши незакатные дни!
Как та страна прекрасна!
Долго там не пожухнут листы,
пастбища не побуреют,

и лепестков не уронят цветы,
и нивы не пожелтеют».

«Да где вы найдете такую красу,
вслед лебедям уплывая?
В чертоге ль заветном, что спрятан в лесу,
бесследном от края до края?
Может быть, лебеди вас за собой
уводят на север, где в скалы
неистово пенный стучится прибой
и чайки кричат одичало?»

«Нет, не к скалам и не в леса,
но в Серую Гавань, где вскоре
поднимем в последний раз паруса
и уйдем на Запад, за Море.
Уйдем налегке мы в далекий поход,
в старинные вотчины наши —
давно нас Древо Белое ждет
и Звезда, которой нет краше.

Прощай, Средьземелье! Пора нам, пора!
Прощайте, смертные пашни!
Мы слышим — колокол бьет с утра
на дальней эльфийской башне!
Солнце тускнеет, не радуя глаз,
листву деревья уронят —
из вотчин далеких кличут нас,
в последнее плаванье гонят».

На воду тихо весла легли,
не слышно боле напева.
«О Фириэль, о Дева Земли!
Послушай, прекрасная дева!
Последнее место осталось у нас —
тебя мы возьмем с собою!
Подумай — ибо недолог твой час,
и здесь не будет покою!»

Сделала дева один только шаг,
видя корабль на стремнине;
только второго не сделать никак —
ноги увязли в глине.
Так — не в реке и не на берегу
стоя, сказала она:
«Уйти отсюда я не могу —
ибо Землей рождена!»

В траве не горели росы огоньки,
бесследно рассеялась дрема,
когда воротилась дева с реки
под крышу темного дома.
Волосы в косу она заплела,

в белый лен облачилась,
спустилась вниз, и взялась за дела,
и до заката трудилась.

За годом год года текут,
как Семи Рек разливы,
солнце светит, облака бегут,
шумят камыши и ивы...
С тех пор на лоне смертных вод
тех кораблей не видали,
и никого теперь не зовет
песня в дальние дали.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ БИЛЬБО, спетая им в Серой Гавани

День окончен, свет погас,
ждут в стране далекой нас.
До свиданья! Слышу зов.
В плаванье корабль готов.
Ветер свеж, волна бежит,
путь мой к западу лежит.
Море серое зовет,
колокол далекий бьет.
До свиданья! Дали ждут,
ветер в спину, парус вздут,
тени длинные лежат,
тучей горизонт прижат.
Солнца тонет голова —
там за нею острова,
где, катая жемчуга,
волны лижут берега.
Поведе́т меня туда
Оди́нокая звезда.
В гавань светлую войдем,
где найдем последний дом.
До свиданья! Ждет простор
вечных пажитей и гор.
О корабль, на Запад мчи!
Блещут звездные лучи!

ДРАКОН ПРИЛЕТЕЛ

Перевод С. Степанова

ДРАКОН ПРИЛЕТЕЛ

(вариант 1937 г.)

Дракон на вишню сел в саду,
что пышно зацветала, —
зеленый в белом он лежал,
и солнце припекало.
Явился он из Синих Гор,
где родина драконам,
где лунный луч бьет в чистый ключ,
сбегающий по склонам.

«А вы с утра ходили в сад —
мне, Хиггинс, интересно?
Ведь там у вас дракон сидит!»
«Дракон? Простите, честно?!!!»
И мистер Хиггинс взял кишку,
что служит для полива, —
полил дракона от души,
а тот сказал счастливо:

«Как хорошо! Прохладно как!
Сей ключ подобен чуду!
Теперь до сумерек я петъ
драконью песню буду!
Пускай послушают меня
сосед ваш и соседка:
мисс Биггинс и папаша Блин.
Ведь я пою так редко!»

Был сразу вызван дядя Джордж
с командой пожарной.
Дракон расстроился вконец
от выходки коварной:
«Я вижу, шлемы их горят,
под стать старинным латам —
так рыцари являлись к нам
за нашим древним златом».

Лишь Джордж на лестницу залез,
дракон сказал: «Куда вы?
Зачем вся эта суета!
Уйдите, вы не правы!
Иначе растопчу я сад
и звонницу разрушу,

а после съем — и вас, и вас! —
и тем утешу душу».

«Открыть брандспойт!» — промолвил Джордж
и отскочил налево.
Глаза дракона налились,
затрясся он от гнева

и задымил, забил хвостом
от фразы нехорошей —
вишневый цвет на землю лег
чистейшею порошей.

Багром дракона тык да тык! —
туда, где было больно!
Тот взвился ввысь и зарычал:
«Терпел я вас довольно!»
И город выжег он дотла,
и над заливом Бимбла
горело зарево три дня
от Бумпуса до Тримбла.

Костляв был Хиггинс, нежен Блин
(оправдывая имя!) —
дракон поел, потом сказал:
«Ну вот и кончил с ними!»
Он дядю Джорджа закопал
и косточки мисс Биггинс
и думал, сидя на скале:
«Несчастный мистер Хиггинс!»

И песнь печальную запел,
и море с ним вздыхало,
над Бимблом поднимался дым,
и пламя полыхало.
Дракон глядел печально вдаль,
где гор темнели складки,
и клял несдержанность свою
и местные порядки:

«Ну что бы песенку мою
им выслушать радушно?
Иль храбро голову снести,
как древле? — Скушно! Скушно!»
На крыльях взмыл он в небеса,
горя огнем зеленым,
и, словно вихрь, улетел
к сородичам-драконам.

ДРАКОН ПРИЛЕТЕЛ

(вариант 1965 г.)

В саду на вишню сел дракон —
а вишня зацвела!
Лежал зеленый в белом он,
и солнце припекало.
Он, золотом горя, летел,
чтобы в саду разлечься,
и жаждал только одного —
покушать и развлечься.

«В саду вы не были с утра —
мне, Хиггинс, интересно?
Ведь там у вас сидит дракон!»
«Дракон, простите? Честно?!»
Кишку тут мистер Хиггинс взял
(известно, для полива!) —
дракона от души полил,
а тот сказал счастливо:

«Прохладно как и хорошо!
Я не схвачу простуду!
Петь благодарственную песнь
до сумерек я буду».
Но Хиггинс в двери стал стучать
соседке и соседу:
«Мисс Биггинс! Эй! Папаша Блин!
Он съест меня к обеду!»

Был сразу вызван дядя Джордж
с командой пожарной.
Дракон расстроился — не ждал
он шулки столь бездарной:
«Я вижу, каски их горят,
подобно древним латам —
так рыцари являлись к нам
за серебром и золотом!»

Но Джордж с багром к нему полез
и подобрался с краю:
«В чем дело, сэр?» — Дракон в ответ:
«Я просто загораю!
Прошу вас, не мешайте мне —
иначе все порушу,
а после вами закушу
и тем утешу душу».

«Давай брандспойт!» — промолвил Джордж
и отскочил налево.
Глаза драконовы зажглись,

как уголья, от гнева!
Он задымил, хвостом забил —
и вишня облетела...
Но все ж пожарные свое
отлично знали дело!

Баграми тыкали в живот,
желая сделать больно.
Дракон взлетел и зарычал:
«Ну, нетушки! Довольно!»
По камню город он разнес,
и над заливом Бимбла
стояло зарево три дня
от Бумпуса до Тримбла.

Костляв был Хиггинс, нежен Блин
(оправдывая имя!) —
дракон уселся на скалу,
сказав: «Я кончил с ними!
Теперь в моем желудке Джордж
и там же мистер Хиггинс,
но почему-то до сих пор
не вижу я мисс Биггинс!»

Печально в сумерках он пел,
и море с ним вздыхало,
и поднимался дым столбом,
и пламя полыхало.
И с грустью вдаль глядел дракон,
где гор чернели складки,
и сравнивал старинных дней
и новых дней порядки.

«Ну, что бы похвалить мой цвет
и выслушать радушно?!
Иль твердою рукой убить,
как древле? — Скушно! Скушно!»
Собрался было он лететь
за дальних гор громады —
но тут мисс Биггинс нож в него
всадила из засады!

«Мне очень жаль вас убивать
и, в общем-то, обидно —
вы голоса не лишены,
хоть не учились, видно.
Но безобразник вы большой
по всем моим приметам!»
Дракон вздохнул в последний раз:
«Спасибо и на этом!»

ИМРАМ[17]

Перевод С. Степанова

И вот из просторов бескрайних вод,
гонимый пенной волной,
в туман, воротившись из дальних стран,
корабль пришел домой —
в Ирландскую землю, где колокола
в Клуан-ферта на башне бьют,
где лес темнеет под сводом небес
и туманы стеной встают,
где Шаннон в Лох-Дерг течет не спеша,
где дождя висящая сеть —
сюда святой Брендан пришел навсегда,
пришел, чтобы здесь умереть.

«Отец, ты мне Расскажи, наконец,
и ничего не таи —
о том, что встретил в просторе морском,
что узрели глаза твои.
Живет ли за морем эльфийский народ,
чьи скрыты от нас острова?
Семь лет ты искал — так нашел или нет
ту землю, что вечно жива?»

«Много забыл я того, что чудно,
но не забыть никогда —
поныне стоят пред глазами они:
Облако, Древо, Звезда.

Целый год мы плыли вперед и вперед,
и нам не встречалась земля,
нигде мы не видели птиц на воде,
ни встречного корабля.
Вдруг темное Облако встало — и гром
раскатами загремел.
О нет, не закат то был, не рассвет,
но запад побагровел.

И прямо под Облаком встала гора —
отвесные склоны черны,
вершина курилась, и были в тиши
удары прибоя слышны;
жерло на вершине пылало светло,
как пламя небесных лампад:
гора, словно столп, подпирающий Храм,
корнями сходила во ад.
Стояла она, основание тая
во мгле затонувшей земли,
куда после смерти ушли навсегда
далекой страны короли.

Во мраке угрюмом утихли ветра,
и весла ворочали мы —
нас мучила жажда, и голод был жгуч,
мы больше не пели псалмы.
Зато миновали мы Облако то,
и открылся берег высок:
спокойной волною стучался прибой,
катая жемчужный песок.
Нам мнилось — неужто здесь будет волна
наши кости катать века?..
Найти не могли мы на скалы пути —
уж больно стена высока.

Вокруг мы пошли и увидели вдруг
обрывистый фьорд меж скал —
по водам свинцовым вошли мы в него,
и сумрак нас вновь объял.

Гребли мы все дальше в глубь этой земли,
ни звука вокруг — тишина,
лишь слабые всплески из-под весла —
святою казалась она.

И мы увидали долину, холмы,
чредой уходявшие вдаль,
горела долина та, вся в серебре,
как будто Священный Грааль.
И Белое Древо росло посреди —
такие, должно быть, в Раю, —
в бездонное Небо вздымалось оно,
подъемля вершину свою.
Тяжелою башней высился ствол,
и крона была густа:
как лебедя перья, снега белей,
ладонь любого листа!

Недвижным казался нам, словно во сне,
под звездами времени бег.
И думали мы, что себе на беду
не уйдем отсюда вовек,
что останемся здесь, — и, отверзши уста,
тихо начали петь,
но сами дивились, что голоса,
словно в храме, стали греметь.

И листья, как белые птицы, взвились,
и дрогнуло Древо тогда —
лишь голые ветви остались да ствол,
а листья смело без следа.
И слово певучее к нам донеслось,
какого не знали вовек!
Не птицы то пели из горных границ,

не ангел и не человек,
а род благородный, что в мире живет
за дальней гранью морской:
но моря холодны и воды темны
за Белого Древа землей».

«Два чуда ты мне описал. Я хочу
о третьем узнать наконец!
О, где твой последний рассказ — о Звезде?
Зачем ты таишься, отец?»

«Звезда? Ее я увидел, когда
встал на развилке путей —
лучи на окраине Внешней Ночи,
у врат Нескончаемых Дней.
С карниза там мир обрывался вниз,
и вел на неведомый брег
висящий над бездной невидимый мост,
но там не ходил человек».

«А мне говорили, ты в некой стране,
в последней стране побывал —
без лжи мне об этой стране расскажи
и что ты там повидал!»

«Звезду еще в памяти, может, найду,
и помню развилку морей —
дыхание смерти там бриз колыхал,
нет слаще его и нежней...
Но коль ты желаешь изведать ту боль,
узреть, как растут те цветы,
на небе ль каком или в дальней стране
тогда выйди в плаванье ты.
И море подскажет дорогу само,
и парус тебя будет мчать —
и там ты изведашь все это сам,
а я теперь буду молчать».

В Ирландскую землю, где колокола
в Клуан-ферта на башне бьют,
где лес темнеет под сводом небес
и туманы стеной встают,
пришли корабли из дальней земли,
откуда пути нет назад —
сюда святой Брендан пришел навсегда,
и здесь его кости лежат.

БАЛЛАДА ОБ АОТРУ И ИТРУН

Перевод С. Степанова

В земле Бретонской поутру
шумят деревья на ветру,
в земле Бретонской в скальный брег
стучит прибой из века в век.

Там холм стоит — веками лорды
тут жили, доблестны и горды,
и неусыпный часовой
на башне шаг чеканил свой.
Жил в старом замке лорд один,
холмов окрестных господин,
но жребий лорда выпал темным,
как говорит арфист о том нам.

Тот лорд ждал тщетно, чтобы звонко
смех первородного ребенка
раздался в замке, хоть жена
была красива и стройна;
вотще сокровища и злато,
вотще владенья и палаты,
коль некому оставить меч,
когда придется в землю лечь.
Терзали ум его сомненья,
о смерти видел он виденья,
в которых чудилось ему,
что зажил враг в его дому,
а склеп фамильный без ухода
крапивою зарос у входа.
И лорд в смутившемся уме
от света обратился к тьме.

Жила колдунья, что ткала
в пещере паутину зла,
и тем, что к ней прийти готовы,
в ночи она ковала ковы, —
смеясь, плела за нитью нить,
чтоб слабых ко греху склонить,
и страшные варила зелья,
чтоб мертвый встал из подземелья
и чтоб здоровый и живой
навек утратил разум свой.
Была в пещере мгла густая,
жила мышей летучих стая
под притолокой; хохот сов
и вопли жуткие котов
в полночной тишине звучали
под сводом страха и печали.

Колдуньи логово черно —
за чередой холмов оно
упрятано в глухой долине,
где человека нет в помине
и где на валуне она
сидела день и ночь одна.

В земле Бретонской в скальный брег
стучит прибой из века в век,
и ветра с камнем разговор
не молкнет над простором гор.

Упало солнце за холмы,
день умер на пороге тьмы,
белел туман, и тенью мгла
в долине сумрачной легла;
мигали звездные лучи,
копытом конь стучал в ночи,
лорд спешил вблизи пещеры —
черна дыра, и тени серы,
закрыло облако луну,
когда шагнул он к валуну.
Слова его звучали глухо,
но их не слушала старуха —
глаза ее огня полны,
обманны, зорки и темны.

Старуха знала наперед,
кто к ней за помощью идет,
как звать его, что за беда
ведет просителя сюда.
Смеясь, колдунья с камня встала
и головою закивала,
велела обождать ему,
сама же канула во тьму —
ушла в пещеру, как в могилу,
где темную ковала силу,
и лорду вынесла фиал,
что и во тьме, как лед, сиял.
Дивился глаз тому сиянью,
что источал он каждой гранью:
искрилось зелье сквозь стекло —
оно, казалось, натекло
из горного ключа туда,
и с виду — чистая вода...

Лорд стал ее благодарить,
хотел старуху одарить,
каменья предлагал и злато —
но та в ответ: «Нет! Рановато!
Еще настанет мой черед —
я платы не беру вперед!
О зельях всякое болтают:

мол, сердце, ум они сжигают;
иные скажут сгоряча,
что там водица из ключа,
но ты не верь сим словесам —
и вскоре убедишься сам.
Мне твоего не надо злата —
заслуженной пусть будет плата!
Ты просто знай: настанет срок!
День нашей встречи недалек!
Тебя сама я отыщу —
тогда и долг сполна взыщу!
Деньгами или чем другим,
тебе безмерно дорогим...»

Леса Бретонские темны,
пути опасны и длинны,
и волн биенье слышно всюду,
и всюду есть там место чуду.

Темны леса, длинны пути,
и чащей нелегко пройти,
но наконец усталым оком
лорд свет узрел в окне высоком:
то замок был его родной.
Лорд лег с любимой женой,
и сон принес ему усладу:
как будто он с детьми по саду
идет... А утра свет в окне
погнал уж тени по стене.

И пробудился день лучистый,
и, голубея далью чистой,
в ночи омытое дождем,
открылось небо над холмом,
и волн стада под небом, снизу,
бежали, повинувась бризу.
Проснулся лорд и встретил день;
хоть на сердце лежала тень —
подавлен бременем тяжелым,
казаться он хотел веселым
и понуждал себя на смех,
хоть в тайне ото вся и всех
не мог он сердцу прекословить —
но в замке пир велел готовить.

«Итрун! — он рек своей жене. —
С тобой мы счастливы вполне:
единой связаны судьбой,
в любви мы прожили с тобой
немало лет — но можем вновь
вкусить и радость, и любовь,
те, что в день свадьбы мы вкушали —
почувствовать себя в начале,

вернуть блаженство тех времен,
когда под чистый, ясный звон
мы шли в одежде подвенечной
счастливой парюю беспечной.
Любовь еще жива у нас!
Да будет пир! И в добрый час!
Веселье в замке грянет пусть!
И пусть в сердцах сотрется грусть,
и пусть на пире предстоящем
мы новую любовь обрящем!
А там — как знать, быть может, Бог
пошлет нам счастье на порог
во времени, быть может, скором —
то счастье, молим о котором
мы оба уж не первый год...
Блажен, кто молится и ждет».
Вот так сказал он, но улыбка
была неискренна и зыбка.

В Бретонской дальней стороне
ключи студены по весне,
и птицы весело поют
и гнезда на деревьях вьют.

Бутоны отворились в мир,
веселый в замке грянул пир,
вино лилось, и менестрели
о радости великой пели,
и всяк печали позабыл,
как будто день венчанья был.
Лорд с чашей встал и, улыбаясь,
сказал, к хозяйке обращаясь:
«Итрун, твоё здоровье пью!
За душу чистую твою!
За то, чтоб было счастье наше
сладчайшим, как вино в сей чаше!»

Не видно дна, вино красно,
но зелье в нем растворено —
из тех, что, не имея цвета,
рождаются во тьме, без света.
Хозяйка чашу подняла:
«Да будет, Аотру, светла
твоя стезя! И мы, как прежде,
всецело вверимся надежде!»

Помчались дни, с тех пор светлы,
и ночи были веселы,
и жизнь текла их без печали;
сны часто лорда возвращали
к виденью, в коем с ним всю ночь
в саду играли сын и дочь —
и свет лился на них с небес,

но был за садом темный лес...

Весна и лето миновали,
листва и лепестки опали,
задули вьюги, выпал снег,
лес обнажился и поблек,
ревело море, и прибой
на берег волны гнал гурьбой,
и сквозняки всю ночь, как звери,
протяжно выли из-под двери,
но люди в замке, у огня,
спокойно дожидались дня,
когда весна, не зная горя,
придет, как судно из-за моря.

Как вешняя капель нежна,
лилася песня из окна
и таяла в вечерней дреме...

«Скажите, что за радость в доме?»

«Хозяйке нашей полегчало!
Да-да, лиха беда начало!
Свершилось в нашем замке чудо —
несется детский плач оттуда!
Там два младенца! Пусть все трое —
и мать, и дети, спят в покое!»

«О, если бы сторицей Бог
ответить на молитву мог
и тем из нас, кто небогат
и всякому даянью рад!»

«Любому может повезти,
да вот не каждый лорд в чести!
Бог знает, дар кому направить.
Идем-ка в дом, чтоб их поздравить!»

Не слышно боле в доме стона —
но сын и дочь, как два бутона,
светло на Божий мир глядели,
в просторной лежа колыбели, —
и счастьем успокоясь этим,
хозяйка пела песню детям.
И лорд был счастлив с нею тоже —
но мрачным он стоял у ложа.
«Свершилось, — он сказал жене, —
все то, о чем мечталось мне,
и ныне нам с тобой дано
узреть, что ждали мы давно!
Есть у тебя еще желанья?
О, я готов без колебанья
исполнить их и все найти —

что ни попросишь принести,
хоть из лесу, хоть из-за моря,
чтоб жили мы, не зная горя!»

«О, Аотру! — молвила она. —
Большая радость нам дана,
послать которую молили
мы, обращаясь к доброй силе!
Но почитая и любя,
боюсь я отпускать тебя!
И все ж одно желанье есть —
мне мяса хочется поесть».

«Итрун, скажи — любую дичь
готов я для тебя настичь,
будь то хоть утка в небесах
или олень в густых лесах!
А жажда мучит? Нет беды!
Я принесу тебе воды
из самых дальних родников —
я для тебя на все готов!
Поверь, Итрун! Мне эти дети
дороже всех даров на свете!»
«О, Аотру! Вчера во сне
желание явилось мне
испить воды хотя б глоток
и оленины съесть кусок,
но тот родник скрывает тень,
и в неземном лесу олень.
Проснулась я, но, как назло,
желанье это не прошло.
Все ж почитая и любя,
боюсь я отпускать тебя!»

В земле Бретонской поутру
шумят деревья на ветру,
в земле Бретонской лес густой —
там бурелом и сухостой,
и никогда там не звучит
ни лай собак, ни стук копыт,
и ни охотник, ни стрелок
там не трубит победно в рог.

Взял флягу лорд и взял свое
в три сажени длиной копье,
взял рог и ясеновый лук —
и неся дробный перестук,
и звезды белого огня
из-под копыт его коня
летели. В Бросельяндский лес,
держа копье наперевес,
лорд въехал в тишине звенящей.
Непуганные звери чащи

услышали, как ветерок
донес до них далекий рог.
Внезапно в никнущем тумане
лорд увидал бок белой лани —
среди листвы была она
таинственно освещена.
Как только он за ней погнался,
зловещий смех в лесу раздался,
но лорд был слишком увлечен,
за ланью устремился он
и за водой, которой нет
в ключах, что добрый пили свет.
Пустив коня под сень древес,
лорд углубился в темный лес;
стучать копыта стали тише;
над головой подобьем крыши
сомкнулись ветви, без прорех —
и громче становился смех.

Клонилося солнце. Тишина
кругом стояла, как стена.
И лань исчезла в темной чаще.
Мрачны деревья и молчащи,
корявы корни, слепы очи
в лесу глухом в преддверьи ночи.

Увидел лорд в пещеру вход —
перед ним источник феи бьет,
откуда чистая вода
бежит, сверкая, как слюда.
Чтоб остудить погони пыл,
водою лорд лицо омыл
и фею увидал — она,
прекрасна ликом и юна,
в накидке серебристо-серой
сидела пред своей пещерой;
была рука ее бела —
она манила и звала.
Чесала гребнем золотым
та фея волосы пред ним —
и локоны ее, длинные,
при свете ледяном луны
спadaли: так же из ключа
сбегают сонмы струй журча.
Он голос феи услышал —
как будто эхо среди скал
времен далеких, стародавних,
когда никто не жег огня в них
и леса не рубил топор
на пышных склонах юных гор.
Студен тот голос был и льдист —
как будто ветра с моря свист,
но сладки были ее речи:

«О, Аотру! Я рада встрече!
Позволь тебе задать вопрос —
что ты в награду мне принес?
Ведь ты пришел в мои края,
чтоб заплатить, надеюсь я?»

«Ты кто? Тебя не знаю я!
Зачем пещера мне твоя?
Нет, не искал я Корригану!
Тут, не иначе, быть обману!»

«Меня ты разве не узнал?
Иль не мое ты зелье брал?
Пришла пора, теперь плати —
живым иначе не уйти!
Любовью плату я возьму!
А ночи сладки здесь тому,
кто, позабыв дорогу к дому,
вкушает колдовскую дрему!»

«О нет! Есть у меня жена —
с детьми сейчас лежит она
на ложе нашем. Видно, зла
была та лань, что завела
меня сюда помимо воли!
И нечего сказать мне боле».

Но холодно взглянув на лорда,
ему сказала фея твердо:
«Забудь жену! Забудь любовь!
Сегодня женишься ты вновь —
на мне! Иль не уйдешь отсюда —
и камнем быть тебе, покуда
подле холодного ключа,
во тьме, без светлого луча,
истаяв, весь не изойдешь
и мхом зеленым порастешь».

«О, фея темени и хлада,
грозить мне попусту не надо!
Я возвращусь домой — туда,
где радостно журчит вода,
животворяща и чиста
Пресветлым Именем Христа!»

«Но только знай, что без меня
жив будешь ты всего три дня».

«Тебе ли назначать мне срок?
Его отмерит только Бог,
и знает Он, когда меня
прибрать — под старость иль в три дня».

В земле Бретонской небеса
прозрачны — и темны леса;
в земле Бретонской поутру
шумят деревья на ветру,
но иногда разносит он
над морем колокольный звон.

Без троп, во тьме, по бурелому
из лесу лорд стремился к дому
и наконец к опушке вышел —
и дальний колокол слышал;
уже под ним его земля,
его уголья и поля —
охотник к замку доскакал
и у ворот без сил упал.
«Постель стелите, — молвил он. —
Скорей! Меня с ног валит сон.
Кровь стынет в жилах, — знать, таят
они какой-то страшный яд.
Меня неведомая сила
кругами по лесу водила
всю ночь...» Снесли его на ложе —
и тяжкий сон, мученья множа,
его обьял: по тропам темным
лорд брел один в лесу огромном,
и ветер выл издалека,
гоня над морем облака;
и прямо перед ним плыло
лицо, смеющееся зло:
«Вот наши и сошлись пути —
теперь пора! Теперь плати!»
И Корригану в дымке серой
увидел лорд перед пещерой:
сидела у ключа старуха
и что-то напевала глухо,
и космы сизые, как дым,
чесала гребнем костяным;
в другой руке ее сияло
на дне граненого фиала
то зелье, что она ему
дала, призвав на помощь тьму.

Лорд к вечеру очнулся: «Звон...
Я слышу звон, — промолвил он. —
И пенье слышу при луне...
Но говорить о том жене
я запрещаю! Смерть близка...
Не говорите ей пока!
Сгубило колдовство меня —
и мне осталось жить два дня,
но пусть Итрун моя и дети
сто лет живут на этом свете!»
Из темной речи лорда слуги

не много поняли в испуге,
но все же предпочли молчать
и ничего не отвечать.
Итрун наутро пробудилась
и сразу к слугам обратилась:
«Какое утро! Свет какой!
Не приходил ли лорд домой
под вечер? Спать об эту пору!
Устал... Наверно, встанет скоро».

«Нет, лорда не было пока,
но к вечеру наверняка
мы известим тебя о том,
что муж твой воротился в дом.
А может, завтра поутру
заявится он ко двору...»

На третье утро пробудилась
Итрун — и к слугам обратилась:
«Смотрите, утро холодно,
а мужа нет уже давно —
он не явился ко двору
ни к вечеру, ни поутру».

«Откуда знать нам?» — Так в испуге
Хозяйке отвечали слуги.

В пеленках белых рядом с ней
лежали дети — им семь дней
уж было от роду; привстала
Итрун и девушкам сказала:
«Вернется скоро муж домой.
Наряд несите лучший мой,
несите кольца, жемчуга —
пусть видит лорд, сколь дорога
мне радость встречи и что снова
жена его вполне здорова».

Она взглянула из окна —
прохладно, ветер, тишина:
деревья дышат тяжело,
и небосвод заволокло,
не слышно цокота копыт,
и лишь по кровле дождь стучит...
И бьет прибой из века в век
в земле Бретонской в скальный брег.

Темнел вечерний небосклон,
когда раздался в церкви звон.
Итрун спросила: «О, по ком?
По ком звонят, взнося псалом?
Что там священники поют?
Кого на кладбище несут?»

«Какой-то странник, говорят —
его нашли у наших врат
совсем больного. Конь был хром.
И странника забрали в дом,
но умер он и, слава Богу,
теперь отправился в дорогу,
которую сулил всем Бог —
на досках похоронных дрог».

И ликом сделавшись темна,
меж слуг заметила она
рыдавших: «Может, был он строен,
красив и почестей достоин?
Иль, может быть, настолько зла
его судьба в миру была,
что плачете? Зачем молчите?
Кто этот странник, говорите —
чтоб я могла спокойно спать
или в отчаяньи рыдать».
Смолчали слуги. И всю ночь
Итрун пыталась превозмочь
жестокий жар, мечась в постели.
С утра — лишь росы заблестели
на каждом листике в саду,
сказала: «В церковь я пойду.
Должна там нынче побывать я.
Мне красное несите платье,
парчовое, иль голубое,
иль все равно теперь какое».
«Нет, леди! Надлежащий вид
принять обычай нам велит:
одежде следует быть черной,
душе — смиренной и покорной».

И в черном платье от порога
пошла Итрун молиться Богу:
в руке свеча и долу ликом,
брела в смирении великом.

Во мгле церковного придела
она покрытый гроб узрела,
свечей оплывших скорбный ряд
и пламя тлеющих лампад —
и своего владыки меч
и герб узрела в свете свеч.
Вотще его богатства ныне —
пришел конец его гордыне.

Во мгле церковного придела
навек Итрун похолодела —
хозяйку подняли с земли
и тихо в замок отнесли,

и уложили на постели
под плач младенцев в колыбели.

Жгли свечи в замке, факела,
и за молитвой ночь прошла —
а утром, словно бы без сил,
церковный колокол забил,
взмывая в высоту небес;
и Бросельяндский темный лес
услышал этот звон протяжный:
и там, где бил в долине влажной
источник с чистою водой
перед пещерой вековой,
укрытой непролазной чащей,
раздался хохот леденящий.

И вместе с Аотру под холмом
нашла Итрун последний дом.
Еще немало долгих лет
светил их детям солнца свет,
и выросли они, но все же
отец и мать на скорбном ложе
об их судьбе из-под земли
уже проведать не могли.

В земле Бретонской в скальный берег
стучит прибой из века в век,
в земле Бретонской поутру
шумят деревья на ветру.

Повествование кончил я
о лорде — Бог ему судья!
И хоть печален сей рассказ,
но ведь не всякий день у нас
веселье. И с надеждой новой
и чистой верою Христовой
жить учит Бог, день ото дня
нас от отчаянья храня,
пока Пречистой Девы очи
нам не рассеют дольней ночи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЬОРТНОТА, СЫНА БЬОРТХЕЛЬМА

Перевод М. Каменкович

Смерть Бьортнота

В августе 991 года, в правление Этельреда II, в Эссексе близ Мэлдона произошла битва. На одной стороне сражались защитники Эссекса, на другой — войско викингов, опустошивших Ипсвич. Англов возглавлял Бьортнот, сын Бьортхельма^[18], правитель Эссекса, прославленный среди современников вождь, — властный, не знающий страха, гордый. К тому времени он был уже стар и покрыт сединами, но силы еще не оставили его, и он был по-прежнему доблестен. Его белая голова возвышалась над головами воинов, ибо он был чрезвычайно высок^[19]. «Данов» — на сей раз это были, по всей вероятности, в основном норвежцы — возглавлял, согласно одной из версий англосаксонской хроники, некто Анлаф, известный по норвежским сагам и по норвежской истории как Олаф Триггвасон, который позже стал королем Норвегии^[20]. Северяне поднялись по устью реки Панты, которая теперь называется Блэкуотер, и стали лагерем на острове Норти. Таким образом, северян отделял от англов один из рукавов Панты. Во время прилива через него можно было переправиться только с помощью моста или дамбы, что при наличии сильной обороны на берегу было крайне трудно^[21]. Сильная оборона у англов имела. Но, по всей видимости, викинги представляли, с какими людьми им предстоит сражаться, поскольку они обратились к англам с просьбой разрешить им беспрепятственную переправу, чтобы сразиться с ними на равных в честном поединке. Бьортнот принял вызов и позволил данам переправиться. Этот гордый и неуместный рыцарский поступок оказался роковым. Бьортнот был убит, англы потерпели сокрушительное поражение; однако ближайшие к властителю воины, его *heogðwerod* (хеордверод, дружина, гридь), в число которых входили рыцари дружины, телохранители (некоторые из них приходились Бьортноту родичами), продолжали сражаться, пока все до единого не легли рядом со своим повелителем.

Сохранился отрывок — довольно большой, в 325 строк — из тогда же написанной поэмы. Конец и начало отсутствуют, отсутствует и название; сейчас поэма широко известна под названием «Битва при Мэлдоне». В ней рассказывается, что в обмен на мир викинги запросили дань с англов; рассказывается о гордом отказе Бьортнота, о вызове на битву, о защите «брода», о коварном предложении викингов, о переправе, а также о последнем сражении Бьортнота, о том, как выпал из его раненой руки меч с позолоченной рукоятью, и о том, как язычники изрубили мертвое тело топорами. Конец сохранившегося фрагмента — точнее, вторая его половина — повествует о последней обороне дружины Бьортнота. Нам открываются имена, деяния и речи многих участвовавших в битве англских воинов.

Герцог Бьортнот был защитником монахов и покровителем церкви — особенно аббатства Эли. После битвы аббат Элийский принял тело павшего и похоронил в своем аббатстве. Голова Бьортнота не была найдена; вместо нее в гроб положили восковой шар.

Согласно позднему и не вполне исторически достоверному документу XII века под названием *Liber Eliensis* аббат Элийский со своими монахами сам отправился на поле боя за телом. Но в приведенной ниже поэме предполагается, что аббат и его монахи добрались только до Мэлдона, откуда вечером после битвы послали на поле боя, находившееся в некотором удалении, двух подданных Бьортнота. Посланцы взяли с собой: телегу, чтобы привезти в Мэлдон тело Бьортнота. Оставив телегу у брода, по которому переправились накануне викинги, они принялись искать тело. И с той, и с другой стороны пало весьма много воинов. Тортхельм (в просторечии Тотта) — молодой еще человек, сын менестреля; его голова забита старыми песнями о древних героях Севера, таких, как Финн, король фризмов, Фрода, король хадобардов, Беовульф, Хенгест и Хорса (согласно английской традиции, Хенгестом и Хорсой звали предводителей английских викингов в дни Вортигерны, которого англы называли Виртгеорн). Тидвальд (сокращенно Тида) — старый *кеорл*, простой фермер, который повидал на своем веку немало битв и сам сражался в английских отрядах обороны. Ни Тортхельм, ни Тидвальд в самой битве не участвовали.

Оставив телегу, они порознь направляются на поиски тела. Наступают сумерки. Ночь предстоит темная — небо затянуто тучами. Наконец Тидвальд снова встречается с Тортхельмом; тот бродит по полю битвы, покрытому телами убитых, и грезит.

Из старой поэмы заимствованы гордые слова Оффы, сказанные им на совете перед битвой, и имя благородного юноши Эльфвина (потомка древнего мерсийского рода) — Оффа упоминает об Эльфвине и о его мужестве. Из поэмы взяты также имена обоих Вульфмаров: один — племянник Бьортнота, другой — младший сын Вульфстана, павший близ Бьортнота вместе с Эльфнотом под топорами викингов. Ближе к концу сохранившегося обрывка поэмы старый ратник Бьортвольд^[22], готовясь умереть в последней отчаянной схватке, произносит знаменитые слова, которые заключают в себе самую суть героического кодекса прошлых эпох. Это те самые слова, которые бормочет в полусне Тортхельм:

Hige sceal þe heardra, heorte þe cenre,
mod sceal þe mare, þe ure mægen lytlað.

(«Воля будет крепче, сердце отважней, дух выше, по мере того как иссякают наши силы».)^[23]

Подразумевается — и это вполне вероятно, — что эти строки не принадлежат автору поэмы, но являются неким древним и чтимым выражением героической воли; тем больше причин было у Бьортвольда действительно произнести их в последний час.

Третий голос, который вступает после *Dirige*, пользуется рифмой, что как бы предвещает близкий конец героического аллитеративного песенного лада. Поэма «Битва при Мэлдоне» написана свободным аллитеративным стихом и является самым поздним из сохранившихся отрывков старинной английской героической поэзии менестрелей. Приведенная здесь современная поэма написана тем же размером и на тот же лад — разве что более вольно (и то едва ли) обращается с традиционными правилами; правда, надо отметить, что этот размер и лад используются здесь в диалоге, что необычно.

Рифмующиеся строки — эхо стихов, сохранившихся в *Historia Eliensis* и относящихся к королю Кануту:

Merie sungen ðe muneches binnen Ely,
Ða Cnut Ching reu ðer by;
Roweð, Cnihtes, noer ðe land,
And here we þes muneches sæng.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЬОРТНОТА, СЫНА БЬОРТХЕЛЬМА

В темноте слышны неуверенные шаги и шумное дыхание. Внезапно раздается громкий и резкий оклик:

Тортхельм

Стой! Кто ты? Что тебе нужно?
Черт тебя носит в такую темень?

Тидвальд

А, Тотта! Твои зубы
такую дробь во тьме отбивают,
что без труда узнал тебя я.

Тортхельм

Неужто ты, Тида? Мне мнилось, время
едва ползет. Здесь, во тьме, меж мертвых,
так странно. Один я смотрел и слушал,
покуда не стали вздохи ветра
в ушах моих шепотом душ ушедших.

Тидвальд

А перед глазами небось кружится
навье да нежить? Ночь нынче незряча,
луна села. Но ты попомни
мои слова: наш владыка где-то
неподалеку...

Из фонаря Тидвальда на землю падает слабый луч света. Слышен крик совы. В луче света на мгновение появляется темный силуэт и пропадает. Тортхельм вскакивает и опрокидывает фонарь, поставленный Тидвальдом на землю.

Ну, что там снова?

Тортхельм

Помилуй, Боже! Ты слышал?

Тидвальд

Тотта,
ты не в себе; твои страхи
творят врагов из тьмы и тумана.

Брось-ка бояться да помоги мне!
Тяжелый труд нам достался. Трупы
ворочать трудно. Сколько их пало —
тщедушных, тучных, сильных и слабых...
Поменьше думай о духах, друже,
и не болтай о них. Бред краснобаев
забудь. Под землю убрались духи,
а нет — Бог взял их, и страх напрасен.
В дни Водена выли близ битвищ волки,
но ныне в Эссексе нет их — опричь
волков двуногих. Перевернем-ка
вот этого...

Снова ухает сова.

Тортхельм

Плохое это знаменье, Тотта.
Добра не жди... Но нет, не дрожу я,
не слабну от страха. Глупцом волен
меня считать ты, но муж оружный —
и тот оробел бы, бродя во мраке
меж мертвых, могильного сна лишенных,
уподобляясь тени унылой
и бледной, блуждающей средь урочищ
и пустынь поганского ада,
где нет надежды. Тебе не снится,
что мы в аду и теперь удел наш —
вечные веки ворочать трупы,
и все впустую? Ужасная участь!
Где ты, возлюбленный наш владыка?
Скованный смертным сном, на сырую
землю возлег ты, главу седую
преклонил на валун безвестный...

Тидвальд снова на мгновение приоткрывает фонарь. Падает луч света.

Тидвальд

Смотри! Похоже, самая сеча
здесь разыгралась. Тела громоздятся
друг на друга. Давай-ка, Тотта,
наляг сильнее! Гляди! Готов я
поклониться честью, что это Вульфмар!
Уж он, вестимо, рубился рядом
с тем, кого ищем, — ближайшим другом
был он владыке.

Тортхельм

Добрый племянник
грудью обязан стоять за дядю.

Тидвальд

Нет, о другом я Вульфмаре молвлю:
я племянника не приметил —
разве что сестрич владыки изрублен
в крошево. Верно, он Вульфмар, только
Вульфмаром также зовется младший
Вульфстана отпрыск, — вернее, звался.
Родом он был из восточных саксов.
Смерть урожай собрала суровый,
по незрелым пройдясь колосьям
страшной косою. Отважный отрок,
смелым и стойким стал бы он мужем.

Тортхельм

Милостив буди к нам, Милосердый!
Он был на год меня моложе!

Тидвальд

Вот и Эльфнот; погиб он рядом.

Тортхельм

Знай он это — был бы доволен:
другом Вульфмару слыл он. В игре ли,
в брани ли — были они неразлучны
и владыке хранили верность —
он же их почитал сынами.

Тидвальд

Будь ты проклято, тусклое пламя,
и слепые глаза! Готов я
чем угодно поклясться: пали
близ него они. Где-то рядом,
верю, погиб и владыка.

Тортхельм

Смело
бились безусые эти; бегством
бородачи спасались от битвы.
На спину щит — и в чащу, ну, чисто
стадо оленей, оставив сражение
с рыжим безбожником и убийцей

собственным детям! Да разразится
гром над ними! Да покарает
страшною смертью суровое Небо!
К сраму Англии, на погибель
предали они малолетних!
Вот и Эльфвин — еще и волос
не пробился на подбородке,
как погиб он в последней битве...

Тидвальд

Храбрый воин, он добрым эрлом
стал бы со временем. Нам такие
хлеба нужнее. Как новый меч был он,
но старой стали. Пылкий, как пламя,
как клинок, крепкий, на язык резкий —
как Оффа.

Тортхельм

Оффа! Увы, умолк он.
Не все Оффу у нас любили
и, если б владыка не заступался, —
давно заставили бы замолкнуть.
«Иной сокол спесив на совете,
в сече же кажет курячье сердце» —
так он однажды сказал на сходке.
Как встарь певали: «За чашей меда
горазды на похвальбу герои;
пусть же с первым проблеском утра
обещанья они исполнят,
а кто окажется недостойн —
пусть выблюет выпитое накануне
и покажет». Но песни вянут,
а мир стал мрачен. Зачем, о Тида,
мне в обозе сидеть досталось,
слушать вялую перебранку
поваров и презренной черни?
Клянусь Крестом, я любил владыку
не мене эрлов его и вассалов;
бедняк свободный подчас смелее
и яростней в битве, чем эрл богатый,
потомок поздний владык великих,
что раньше Водена здесь царили!

Тидвальд

Пустое, Тотта. Придет время,
увидишь сам — все не так-то просто.
Железо жалит, и меч жестокий

кусает больно. Начнется битва —
храни Господь тебя, если духом
падешь! Рука щитоносца дрогнет,
и выбирай меж стыдом и смертью,
а выбор труден! Давай-ка, Тотта,
посмотрим... Тьфу! Это пес-язычник.
Брось эту погань!

Тортхельм

Постой, Тида,
перевернем его носом книзу!
И не свети сюда! Ух, как страшно
глаза его смотрят, полные злобы!
Точь-в-точь Грендель при лунном свете!

Тидвальд

Да, вид свирепый! Но страх напрасен:
он умер, мертвый же дан не страшен.
Вот с топором, да живой... Пусть смотрит,
сколько захочет, и скалит зубы:
чрево ада его пожрало.
Подсоби, Тотта!

Тортхельм

Гляди-ка, Тида:
вот так ножища — не меньше ярда
длинного, в целый ствол обхватом...

Тидвальд

Верно! Смолкни ж, главу склонивши:
вот владыка!

Недолгое молчание.

Или, скорее,
то, что осталось нам волей Неба.
Ног длиннее в стране не сыщешь.

Тортхельм (распевно)

Взнес главу он венцов превыше
владык языческих; сердцем светел
и чист душою, прямей и тверже
клинк стального он слыл, чья доблесть
испытана смелым в кровавой сече;

стоил он больше звонкого злата,
и равных не было в целом свете
ни в бранном деле, ни в деле мирном;
суды его справедливы были,
и щедро дары он дарил достойным,
как древний владыка из древних песен.
Он мир покинул и путь к Престолу
Небес направил, снискавши славу —
блаженный Бьортнот!

Тидвальд

Неплохо, Тотта!
Словес плетенье усладой служит
сраженным скорбью. Но к делу, друже:
успеть бы к утру, до погребенья.

Тортхельм

Нашел! Вот меч его! Я поклясться
готов, что он это — золотые
бегут узоры по рукояти.

Тидвальд

Зачем злодеи его не забрали?
Труп весь изрублен, и мало толку,
мнится мне, шарить вокруг и подле —
эти мерзавцы не шутят шуток,
и немного нам осталось.

Тортхельм

Скорбь и слезы! Проклятая погань!
Голову отсекли от тела,
а тулово, изверги, изрубили!
Не битва — бойня!

Тидвальд

Ты рвался в битву,
а эта, право, ничуть не хуже
тех, что воспеты в твоих же песнях,
где Фрода пал, и повергли Финна.
Тогда рыдали так же, как ныне,
и в струнах арф отдаются стоны.
Нагнись, Тотта! Надобно тело
унести отсюда. Возьмись сзади
и поднимай его осторожно.

Еще немного... Вот так-то лучше.

Медленно движутся прочь.

Тортхельм

Даже мертвый, он будет нам дорог,
пусть изрублен, пусть изувечен.

Голос Тортхельма опять начинает звучать распевно.

В траур оденьтесь, англы и саксы,
от границ моря до границ леса!
Пал оплот наш, и плачут жены,
огонь пылает, и пышет пламя
костром сигнальным. Курган насыпьте,
заройте в землю славные кости,
сложите доспехи его в могилу,
золотой панцирь и меч со шлемом,
убор богатый и украшенья —
все, чем владел сей вождь величайший,
благороднейший из благородных,
спорый в помощи, пылкий в дружбе,
справедливый отец народа.
Славы искал он — и стяжал славу;
курган его пребудет зеленым,
покуда не дрогнут устои мира,
пока существует скорбь на свете,
и свет не сгинул, и слышно слово.

Тидвальд

Изрядно спето, сказитель Тотта!
Трудился до петухов, должно быть,
покуда мудрые мирно дремлют, —
без сна лежал, словеса сплетая.
Но я бы выпался, будь я Тотта,
и дал бы мрачным раздумьям отдых.
Мы христиане, хоть крест и тяжек;
Бьортнота несем мы — не Беовульфа.
Костер ему не пристал погребальный,
и не воздвигнут ему кургана,
а золото отдадут аббату:
пускай оплачут вождя монахи
и мессу за упокой отслужат!
Чернецы ученой латынью
в путь последний его проводят,
коль мы домой сумеем добраться —
долга дорога, а груз нелегок!

Тортхельм

Труп тянет книзу. Дай передышку!
Спина разбита, дыхание сперло!

Тидвальд

Когда бы меньше словес ты тратил —
и дело спорилось бы лучше.
Крепись! Уж близко. Давай-ка, Тотта,
берись опять — и ступай, да в ногу:
так будет легче.

Тортхельм неожиданно останавливается.

Да что ты — спятил?
Опять споткнулся?

Тортхельм

Во имя Божье,
смотри скорее!

Тидвальд

Куда, приятель?

Тортхельм

Сюда, налево! Там тень крадется —
она темней, чем на небе тучи!
Их две! Должно быть, то тролли, Тида!
А может, призраки из преисподней:
они ползут, к земле припадая,
и мерзкими шарят во мгле руками.

Тидвальд

Неведомые ночные тени —
вот все, что вижу. Пускай поближе
подкрадутся — тогда посмотрим.
Уж не колдун ли ты, коли взглядом
творишь в туманной тьме привиденья
из смертных?

Тортхельм

Чу! Ты слышишь, Тида?

Из тьмы голоса донеслись глухие —
смеются, шепчут, бормочут, блеют...
Уже близко!

Тидвальд

Теперь слышу.

Тортхельм

Спрячь свет!

Тидвальд

Тише! А ну, живо,
ложись близ тела и жди молча!
Ни слова больше! Шаги все ближе!

Оба прижимаются к земле. Кто-то крадучись приближается. Подпустив неизвестных поближе, Тидвальд внезапно выпрямляется и громко восклицает:

Привет, братцы! Вы припозднились,
коль ищите битвы; но так и быть уж,
будет вам битва, и по дешевке!

В темноте слышен звук борьбы. Крик. Высокий, пронзительный голос Тортхельма:

Тортхельм

Ты, грязный боров! На, угостись-ка!
Давись добычей! Эй, Тида!
Готов голубчик: гнусных дел боле
творить не станет. Искал мечей он —
и на острие меча наткнулся.

Тидвальд

Упырь убит! Удальцу дивлюсь я.
Уж не дарует ли удачу
меч Бьортнота? Вытри от крови
славный клинок и остынь маленько!
Не для того этот меч ковали.
Слишком щедр ты. Щелчка в затылок
да пинка за глаза хватило б.
Жаль мараться! Их жизнь презренна,
но и подонка б зря не убил я,
а убил — не хвалился б. Трупов
здесь достаточно. Будь он даном,
дело иное; тогда тебя я
сам похвалил бы. А псов поганых,

нечисти гнусной, падали грязной
всюду немало; я ненавижу
всех их — будь он язычник, будь он
окроплен святою водицей.
Ада отродья, дьявола дети!

Тортхельм

Даны?! Довольно спорить! Скорее!
Как мог забыть я о прочих? Знамо,
неподалеку они таятся,
зло замышляя. Эти звери
нападут на нас из засады,
если услышат!

Тидвальд

Мой храбрый мальчик,
это были не северяне;
северян тут уж не сыщешь.
Сыты сечей и кровью пьяны,
доверху нагрузив добычей
лодки, в Ипсвиче пьют они пиво,
идут на Лондон в ладьях своих длинных,
пьют здоровье Тора, в вине тоску топят,
обречены аду. Эти же — просто
оборванцы, и люд ничейный:
обирают они убитых —
промысел, проклятый Вышним Небом,
мерзко и молвить. Почто дрожишь ты?

Тортхельм

В путь! Прости мне, Христе, и призри
долу на подлое наше время!
Громоздит оно горы трупов,
неоплаканных, неотпетых,
а людей, что в нужде и страхе
пропитания тщетно ищут,
превращает в волков отпетых,
чтобы, совесть и стыд забывши,
обирали окоченелых
мертвецов. Мерзкое дело!
Глянь-ка, Тида, на тень в тумане:
третий вор собирает с трупов
подать себе на поживу. Просто
будет прикончить его.

Тидвальд

Не стоит:
с пути собьемся. Сегодня ночью
мы блуждали уже довольно.
Одиноким, он не опасен.
Приподнимай осторожней тело —
двинемся.

Тортхельм

Но куда пойдём мы?
Тьма всюду, и трудно будет
выйти к телеге.

Некоторое время бредут молча.

Осторожней!
Обрыв! Отойдём от края. В омут
сверзишься — скорую смерть схлопочешь:
быстро здесь бежит Блэкуотер.
Как болваны бы захлебнулись!

Тидвальд

Мы у брода; телега близко,
так что мужайся, мальчик. Маленько
пронесём ещё — и почти что
половину, считай, стряхнули
с плеч работы.

Проходят ещё немного.

О Боже Правый,
клянусь головой Эдмунда — владыка
тяжеленек, хоть головы и нету
на плечах его. Положи-ка
тело на землю — телега рядом.
Чай, вокруг уже все утихло;
без помех мы поднимем кружки
за упокой души его. Пряным
пивом нас угощал он! Крепко
прошибало, помню! Струится
пот по лицу; погодим немного.
Добрый эль.

Тортхельм (после паузы)

Я понять не в силах,
как они одолели броды
без долгой драки: следов сраженья
я не вижу. Врагов убитых

груды здесь должны громоздиться.

Тидвальд

В том-то и дело; увы, друже,
в Мэлдоне ходит молва, что в этом
сам владыка повинен. Властен
был он, горд и горяч, но гордость
подвела его, а горячность
погубила, и только доблесть
восхвалять нам теперь осталось.
Даром броды он отдал — думал,
песни будут петь менестрели
про его благородство. Быть так
не должно было; бесполезно
благородство, когда валит
враг по броду, а в луках стрелы
ждут, невыпущенные, и в силе
уступают саксы — пусть меч их
яростнее языческих... Что же —
судьбу пытал он, и смерть принял.

Тортхельм

Пал он, последний в роду эрлов,
древле славных владык саксонских;
в песнях поется — они приплыли
из восточных англских владений
и валлийцев ковали рьяно
на наковальне войны. Немало
королевств они захватили,
покуда остров не покорился!
С севера ныне грядет угроза:
ветер войны в Британии веет.

Тидвальд

То-то продул он нам шею! Так же
простудились и те, кто прежде
эту землю пахал. Поэты
пусть поют, что придет на ум; пираты ж
пропадом пусть пропадут! Поделом им!
Пахарь убогий скудную землю
потом праведным поливает —
но приходит захватчик злобный,
и ограбленным остается
умереть и ее удобрить,
жен и детей оставив рабами!

Тортхельм

Этельреда не так-то просто
победить — Виртгеорн равняться
с ним не мог бы; ему не чета он!
Да и Анлаф этот Норвежский
тоже не Хенгест с Хорсой.

Тидвальд

Надеюсь,
надо надеяться! Подними-ка
за ноги тело: пора в дорогу.
Я под мышки, ты под колени
подхвати его и повыше
подними. Ну, все! Наконец-то.
Тряпку сверху накинь.

Тортхельм

Негоже
грязным тряпьем покрывать останки;
чистый лен ему подобает.

Тидвальд

Что ж, покуда другого нету.
В Мэлдоне ждут монахи с аббатом.
Припозднились мы. Залезай-ка!
Плачь, молись — поступай как знаешь.
Я же сяду на перед.

Щелкает кнутом.

Трогай
мало-помалу, милашки!

Тортхельм

Боже,
ниспошли нам доброй дороги!

Молчание. Слышен только перестук копыт и скрип колес.

Колымага скрипит и стонет
так, что и за сто миль услышишь.

Снова молчание; на этот раз оно длится дольше.

Куда мы едем? И долго ль ехать?
Ночь на исходе, и дрема долит,

и давит усталость. Что же умолк ты?

Тидвальд

От речей разоренье сердцу;
отдыхал я. Однако глупый
задал вопрос ты. Куда мы едем?
В Мэлдон, вестимо, к монахам. А дальше —
в Эли, в аббатство; путь неблизкий.
Рано иль поздно приедем. Правда,
нынче дурны дороги. На отдых
не рассчитывай. Или решил ты,
что перину тебе подстелят?
Кроме трупа, другой подушки
предложить не могу. Пожалуй,
прикорни на нем.

Тортхельм

Ну и груб же,
Тида, ты.

Тидвальд

Говорю я просто —
вот ты и взвился. А скажи я
по-возвышенному, стихами —
«главу преклонил я на грудь владыки
возлюбленного, и влагой слезной
обезглавленного омыл я;
так мы странствовали, слившись
воедино — вождь и воин,
преданный раб и повелитель,
к пристани, где приют последний
примет его и упокоит», —
ты бы не оскорбился, Тотта!
У меня и своих немало
дум, забот и сомнений. Дай же
мне покой, помолчи немного.
Жаль мне тебя, и себя не меньше.
Спи, мой мальчик! Мертвый не встанет,
скрип тележный услышав; спящих
беспокоить не будет. Спи же!

Обращается к лошадям.

Н-но, голубушки! Торопитесь!
Ждут вас стойла, овес и отдых:
жадность чужда чернецам элийским!

Телега скрипит и качается. Стучат копыта. Молчание. Вдали появляются огоньки. Из телеги

доносится голос Тортхельма; он в полудреме.

Тортхельм

Во тьме ночи теплятся свечи,
но гулок хор под холодным сводом:
то панихиду об упокоеньи
души усопшего служат в Эли.
Века проходят и поколенья,
рыдают жены, растут курганы,
и день сменяется днем, и пыли
все толще слой на старом надгробье, —
крошится камень, род угасает,
и гаснут искры горящих жизней,
едва успев над костром вспыхнуть.
Так мир меркнет; встает ветер,
и гаснут свечи, и ночь стынет.

Пока он говорит, огоньки постепенно меркнут. Голос Тортхельма становится громче, но это попрежнему голос человека, который говорит во сне.

Тьма! Везде — тьма, и рок настиг нас!
Ужели свет сгинул? Зажгите свечи,
огонь раздуйте! Но что там? Пламя
горит в камине, и свет в окнах;
сходятся люди из тьмы туманов,
из мрака ночи, где ждет гибель.
Чу! Слышу пенье в сумрачном зале:
слова суровы, и хор сложен.
Воля, будь строже, знамя, рей выше,
сердце, мужайся — пусть силы сякнут:
дух не сробеет, душа не дрогнет —
пусть рок грянет и тьма наступит!

Телега с грохотом подпрыгивает на ухабе.

Ну и толчок, Тида! Растряс все кости
и сон стряхнул. До чего же зябко,
и темнота — ничего не видно.

Тидвальд

Встряска, вестимо, сну не на пользу.
Вот спросонок и знобче... Станный
сон тебе снился, Тортхельм! О ветре
ты бормотал, о судьбе и роке, —
дескать, тьма этот мир поглотит, —
гордые, безумные речи:
так бы мог сказать и язычник!
Я не согласен с ними! До утра
далеко, но огней не видно:
всюду мгла и смерть, как и прежде.
Утро же будет подобно многим

утрам: труд и потери ждут нас,
битвы и будни, борьба и скорби,
пока не прейдет лицо мира.

Телега грохочет и подпрыгивает на камнях.

Эк, подбросило! Что за притча!
Дурны дороги, и нет покоя
добрым англам в дни Этельреда!

Грохот телеги затихает вдали. Наступает тишина. Издали доносится пение; постепенно оно становится все громче и громче. Вскоре можно уже различить и слова, хотя голоса еще далеко.

Dirige, Domine, in conspectu tuo viam meam.
Introibo in domum tuam: adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo.

Голос в темноте.

Печальны песни чернецов из Эли.
Греби и слушай. Чу! Опять запели.

Пение становится громким и ясным. Через сцену проходят монахи со свечами в руках; они несут погребальный одр.

Dirige, Domine, in conspectu tuo viam meam.
Introibo in domum tuam: adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo.
Domine, deduc me in institutia tua: propter inimicos meos dirige in conspectu tuo viam meam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Dirige, Domine, in conspectu tuo viam meam [\[24\]](#).

Монахи медленно уходят. Пение постепенно стихает.

Ofermod

Эта пьеса, по объему несколько превышающая давший толчок к ее созданию отрывок из древнеанглийской поэмы, задумана была как пьеса в стихах и судить ее следует именно как стихи[25]. Но для того, чтобы оправдать свое место в «Очерках и Исследованиях»[26], она, как я предполагаю, должна по крайней мере подразумевать какое-то суждение о форме и содержании древнеанглийской поэмы (а также о ее критиках).

С этой точки зрения данная пьеса представляет собой, можно сказать, развернутый комментарий на строки 89 и 90 оригинала: «*ða se eorl ongan for his ofermode alyfan landes to fela laþere ðeode*» — «тогда эрл, подчинившись порыву неукротимой гордости, уступил землю врагу, чего делать не следовало»[27].

«Битва при Мэлдоне» обычно и сама рассматривается как расширенный комментарий на процитированные выше и использованные в пьесе слова старого ратника Бьортвольда[28] (312, 313), или как иллюстрация к ним. Это наиболее известные строки в этой поэме, если не во всей древнеанглийской поэзии. Однако несмотря на то, что это действительно великолепные строки, они, как мне кажется, представляют меньший интерес, нежели строки, приведенные мной в начале, — во всяком случае, поэма теряет часть силы, если не держать в уме оба этих отрывка одновременно.

Слова Бьортвольда считаются самым совершенным выражением героического северного духа, будь то скандинавского или английского; это самая ясная и четкая формулировка учения о беспредельном терпении, поставленном на службу непреклонной воле. Поэму в целом называли «единственной чисто героической поэмой, сохранившейся в древнеанглийском поэтическом наследии». Однако учение это является здесь в столь незамутненной чистоте (близкой к идеалу) именно потому, что речь вкладывается в уста подчиненного, человека, чья воля направлена к цели, назначенной для него другим человеком; он не несет ответственности по отношению к нижестоящим — только исполняет свой долг и демонстрирует преданность сюзерену. Поэтому личная гордость в его поступках отступает на задний план, а любовь и преданность оказываются на первом.

Дело в том, что этот «северный героический дух» никогда не является в первозданной чистоте: он всегда представляет из себя сплав золота с какими-нибудь добавками. Беспримесный, этот дух заставляет человека не дрогнув вынести, в случае необходимости, даже смерть; а необходимость возникает, когда смерть способствует достижению задачи, которую поставила воля, или когда жизнь можно купить, только отрекшись от того, за что сражаешься. Но поскольку таким поведением восхищались, к чистому героизму всегда примешивалось желание завоевать себе доброе имя. Так, Леофсуну в «Битве при Мэлдоне» соблюдает верность долгу потому, что боится упреков, которые посыплются на него, если он вернется домой живым[29].

Этот мотив, конечно, вряд ли выходит за пределы «совести»: человек судит себя сам в свете мнения своих вождей, с которыми сам герой соглашается и которому полностью подчиняется; поэтому, не будь рядом свидетелей, он действовал бы точно так же[30]. Однако этот элемент гордости, выраженный желанием чести и славы при жизни и после смерти, имеет тенденцию расти и становится основным направляющим мотивом поведения, толкая человека за пределы бесцветной героической необходимости к избыточности — к «рыцарству» (chivalry), «рыцарской браваде». Эта избыточность остается избыточностью и тогда, когда выходит за пределы необходимости и долга и даже становится им помехой, хотя современники ее и одобряют.

Так, Беовульф (если судить по тем мотивам, которые приписал ему создавший о нем поэму древний исследователь особенностей героически-рыцарственного характера) делает больше, чем того требует необходимость, отказываясь от оружия, чтобы придать борьбе с Гренделем больше чисто «спортивного» интереса; этот поступок добавляет ему личной славы, хотя при этом подвергает его ненужной опасности и ослабляет шансы освободить данов от невыносимого чудовища, которое повадилось к ним во дворец. Но Беовульф ничего не должен данам: он стоит на определенной ступени иерархической лестницы и не имеет никаких обязательств по отношению к нижестоящим, зато его слава — это одновременно и слава его родного племени, гитов; к тому же прежде всего — по его собственным словам — его героическое деяние поработает вящему прославлению владыки, которому он служит, Хигелака. Однако Беовульф не расстается с рыцарской бравадой и продолжает демонстрировать «избыточность» героизма даже в старости, когда он

становится королем, на котором сосредоточены все надежды его народа. Он не упускает случая возглавить отряд, направляющийся на борьбу с драконом, хотя мудрость могла бы удержать от такого шага и самого отважного героя; однако, как он сам объясняет в своей длинной, исполненной похвалы речи, за свою жизнь он одержал так много побед, что это совершенно избавило его от страха. Правда, в этом случае он все-таки собирается воспользоваться мечом, потому что драться с драконом голыми руками — подвиг, превышающий возможности даже самого гордого из рыцарей[31].

И все же Беовульф, собираясь схватиться с драконом, отпускает своих спутников, чтобы встретиться с чудовищем один на один. В итоге ему удается избежать поражения, но все-таки главная цель — уничтожение дракона — достигается только благодаря верности и преданности нижестоящего. В противном случае бравада Беовульфа закончилась бы только его собственной бессмысленной гибелью, а дракон не потерпел бы никакого урона и продолжал бы свирепствовать. В итоге вышло, что подчиненные Беовульфу воины подверглись большей опасности, чем это было необходимо; воин, убивший дракона, не заплатил за тод своего хозяина собственной жизнью, зато народ потерял короля, что повлекло за собой множество бедствий.

То, что рассказано в «Беовульфе», — не более чем легенда об «избыточности героизма» в характере вождя. В поэме о Бьортноте этот мотив звучит еще более отчетливо, даже если читать ее как обыкновенную литературу, но надо помнить, что в ней описан эпизод, взятый из реальной жизни, а автор был современником описанных в поэме событий. В «Битве при Мэлдоне» мы видим Хигелака, который ведет себя, как молодой Беовульф: он устраивает из битвы «спортивное состязание» с равными условиями для обоих противников, но платят за это подчиненные ему люди. В этом случае мы имеем дело не с простым воином, а с властителем, которому остальные обязаны были повиноваться мгновенно; он был в ответе за подчиненных ему людей и имел право рисковать их жизнями только в одном случае — в случае необходимости защитить государство от безжалостного врага. Он сам говорит, что его целью было обезопасить королевство Этельреда, народ и страну (52—53). Он и его люди проявили бы героизм, сражаясь и — если это было необходимо — погибая в попытке уничтожить или задержать захватчиков. С его стороны совершенно неуместно было рассматривать как спортивное состязание крайне важную битву, имевшую единственную цель — остановить врага: это лишило его возможности достичь цели и выполнить долг.

Почему Бьортнот так поступил? Без сомнения, причиной тому был какой-то недостаток в его характере; но можно смело утверждать, что характер этот был сформирован не только природой, но и «аристократической традицией», заключенной в ныне утерянных поэтических рассказах и стихах — до наших дней от той поэзии дошло только отдаленное эхо. Бьортнот был скорее героем «бравадного» типа, нежели чисто героической фигурой. Честь и слава были для него мотивом сами по себе, и он погнался за ними с риском потерять свой heorðwerod (хеордверод) — самых дорогих ему людей, — создав ситуацию поистине героическую; однако характер этой ситуации был таков, что ее возникновение в глазах потомков и современников дружина могла оправдать лишь одним способом — пав на поле боя. Возможно, выглядело это величественно, но это был ложный шаг. Героический жест Бьортнота был слишком неумен, чтобы стать по-настоящему героическим. Даже собственной смертью Бьортнот не мог уже полностью искупить своего безумия.

Поэт, создавший «Битву при Мэлдоне», понимал это, хотя на строки, в которых он выражает свое мнение, обычно обращают недостаточное внимание или замалчивают их вовсе. Данный выше перевод этих строк, как мне представляется, точно передает их силу и скрытый в них смысл, хотя больше известен перевод Кера, который звучит так: «...Then the earl in his overboldness granted ground too much to the hateful people» («...Тогда эрл, в своей чрезмерной смелости, уступил слишком много земли ненавистным врагам»)[32]. Если разобраться, эти слова представляют собой суровую критику, пусть вполне уживающуюся с лояльностью и даже любовью. Тот же самый поэт вполне мог написать хвалебную песнь к похоронам Бьортнота, во всем подобную плачу двенадцати вождей по Беовульфу; но и эта песнь вполне могла бы кончиться, как и старшая из поэм, на зловещей ноте — ведь «Беовульф» заканчивается словом lofgeornost[33] — «более всех желавший славы».

На протяжении сохранившегося фрагмента автор «Мэлдона» так и не разработал темы, заданной строками 89—90, хотя, если бы поэма содержала какой-либо формальный конец и заключительное

восхваление (а так, по-видимому, и было, так как совершенно очевидно, что поэма вовсе не является наброском на скорую руку), эта тема тоже, по всей видимости, должна была бы обрести завершение. Однако если поэт действительно склонен был критиковать действия Бьортнота, его рассказ о героизме «хеордверода» много теряет в остроте и трагизме, если эту критическую ноту недооценивать. Критическое отношение поэта к происшедшему во много раз усиливает впечатление, которое производит на читателя стойкость и преданность воинов Бьортнота. Их делом было терпеть и умирать, а не задавать вопросы, хотя поэт, описывающий битву, вполне мог понимать, что военачальник совершил грубую ошибку. Для своего положения они проявили поистине высший героизм. Ошибка властителя не освободила их от выполнения долга, и в душах тех, кто сражался рядом со старым вождем, не ослабела любовь к нему (что особенно трогательно). Более всего волнует душу именно героизм любви и послушания, а не героизм гордости и своеволия, и только первый героизм героичен по-настоящему. Так ведется испокон веков — от Виглафа, которого прикрыл щит родича[34], до Бьортвольда в битве при Мэлдоне и до Балаклавы, — пусть даже героический опыт в последнем случае и заключен в стихах не самых лучших, вроде «Атаки легкого эскадрона»[35].

Бьортнот был не прав и поплатился за свое безумие жизнью. Но это была аристократическая ошибка — или, лучше сказать, ошибка аристократа. Не «хеордвероду» было судить его; возможно, большинство дружинников и не нашли бы за ним никакой вины — ведь они и сами были благородного происхождения и не чуждались рыцарской бравადы. Но поэты стоят выше издержек рыцарского духа и даже самого героизма; если они исследуют подобные случаи достаточно глубоко, то «настроения» (mods) героев и цели, на которые они ориентируются, могут, вопреки даже воле самого поэта, оказаться под вопросом.

От древних времен до нас дошли две поэмы двух разных поэтов, внимательно исследовавших дух героизма и рыцарства средствами высокого искусства и серьезно размышлявших над его значением; одна из этих поэм стоит у колыбели традиции — это «Беовульф», другая — ближе к закату («Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь»). Если бы поэма «Битва при Мэлдоне» сохранилась полностью, ее автора, возможно, следовало бы поставить с ними в один ряд — ближе к середине. Неудивительно, что любые соображения касательно одной из этих поэм с неизбежностью выведут нас к двум другим. Позднейшая из них — «Сэр Гавейн» — наиболее глубоко осознана и содержит в себе ясно различимый критический подход к оценке всей той совокупности чувств и правил поведения, в которую героическое мужество входит всего лишь на правах составной части, состоя на службе у различных целей. И все же по внутреннему настрою поэма во многом схожа с «Беовульфом», и сходство это следует искать глубже, чем просто в использовании древнего «аллитеративного» стиха[36], что, однако, тоже крайне важно. Сэр Гавейн — яркий представитель рыцарской культуры — показан в поэме человеком, который крайне озабочен своей честью и репутацией. Однако несмотря на то, что критерии определения достойных рыцаря поступков могут смещаться или расширяться, верность слову и сюзерену, а также неколебимое мужество в любом случае обязательны для рыцарского кодекса чести. Эти качества проверяются в приключениях, которые ничуть не ближе к реальной жизни, чем Грендель или дракон; но поведение Гавейна изображено более достойным похвалы и размышления — и вновь потому, что он выступает в роли подчиненного. Исключительно благодаря верности сюзерену и желанию обезопасить жизнь и достоинство своего повелителя, короля Артура, он оказывается вовлечен в опасные приключения и встает перед лицом неизбежной смерти. От успеха похода зависит честь владыки и его «хеордверода» — рыцарей Круглого Стола. Не случайно и в этой поэме, как и в «Мэлдоне» с «Беовульфом», мы находим критику повелителя, который полновластно распоряжается жизнью и смертью зависящих от него людей. Сказанные об этом слова производят сильное впечатление, хотя оно и сглаживается малостью той роли, что отведена им в критической литературе, посвященной этой поэме (как и в случае с «Битвой при Мэлдоне»). Нельзя не обратить внимание и на те слова, которые произносят придворные великого короля Артура после ухода Зеленого Рыцаря, глядя вслед отправившемуся на его поиски сэру Гавейну:

...Стыд перед Богом
тебя, о повелитель, потерять,
чья жизнь столь благородна! То был нелюдь —
такого средь людей не встретишь великана!
Ты с должной осторожностью повел

себя, о повелитель, и с опаской:
уж лучше рыцаря послать в опасный путь,
чем риску подвергать персону венценосца!
Уж лучше положиться на вассала,
чем мясника мечу подставить жизнь свою
и голову отдать эльфийскому отродью
в ответ на дерзкий вызов! Посудите,
где слыхано, чтоб, рыцарю простому
уподобляясь, что в турнирах бьется,
король в подобный путь, оставив двор, пускался?

«Беовульф» — поэма насыщенная, и, конечно, описать смерть главного героя в ней можно с разных сторон; набросанные выше рассуждения на тему о том, как меняется значение рыцарской бравады от юности к зрелому возрасту, отягченному ответственностью, — только часть богатой палитры этого произведения. Однако эта часть явственно в ней присутствует; и, хотя воображение автора охватывает гораздо более широкие области, нота упрека повелителю и сюзерену слышна хорошо.

Таким образом, повелитель может быть прославлен деяниями своих рыцарей, но он не должен использовать их преданность в своих интересах или подвергать их опасности только ради собственного прославления. Хигелак не посылал Беовульфа в Данию во исполнение собственной похвальбы или опрометчиво данного обета. Его слова, обращенные к Беовульфу по возвращении последнего из Дании[37], вне всяких сомнений, изменены по сравнению с более древней версией (она проглядывает в строках 202—204[38], где выглядят отчасти, как подстрекательство *snotere ceorlas*[39]; но тем они для нас важнее. В строках 1992—1997 мы читаем, что Хигелак пытался удержать Беовульфа от его рискованного предприятия[40].

Очень мудро с его стороны! Но в конце ситуация переворачивается. В строках 3076— 3083 мы узнаем, что Виглафу и гитам нападение на дракона казалось чересчур рискованным, и они пытались удержать короля от опасного похода, используя слова, очень похожие на те, которыми увещевал его когда-то Хигелак. Но король хотел славы, или славной смерти, и заигрывал с напастью. «Рыцарскую браваду» облеченного ответственностью повелителя нельзя осудить более точно и сурово, чем делает это Виглаф, восклицая: «*Oft sceall eorl monig anes willan wræc adreogan*» — «По воле одного человека многие должны претерпеть скорбь». Эти слова поэт Мэлдона вполне мог бы поставить эпиграфом к своей поэме.

О ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ

Перевод С. Кошелева

Я собираюсь говорить о волшебных сказках, хотя и знаю, что это рискованное предприятие. Феерия — страна, полная опасностей. Неосторожных ждут здесь западни, безрассудных — мрачные подземелья. А ведь безрассудным можно счесть и меня, ибо хотя я полюбил сказки с той минуты, как научился читать, и порою размышлял о них, изучать их профессионально мне не доводилось. В этой стране я не более чем бродяга-натуралист (а то и просто нарушитель границы). Она приводит меня в изумление, но знаю я о ней мало.

Царство сказки — просторное, с высоким небом и глубокими водоемами. Чего в нем только нет: всяческие звери и птицы, безбрежные моря и бессчетные звезды, чарующая красота и неистребимые опасности, радость и горе, острые, как клинки. Верно, любой, кому довелось там постранствовать, считает себя счастливым. Да только рассказать об этом нелегко: богатство и необычайность этого царства будто связывают язык. А пока путник еще в пределах Феерии, он правильно поступит, не задавая лишних вопросов: ворота ведь могут захлопнуться, а ключи от них — исчезнуть.

И все же есть несколько вопросов, на которые тот, кто собирается говорить о сказках, должен получить ответ или хотя бы попытаться ответить сам, даже если жители Феерии сочтут, что он много на себя берет. Например: что такое волшебная сказка? Каково ее происхождение? Зачем она нужна? Я постараюсь дать ответ на эти вопросы или хоть выскажу то немногое, что мне удалось об этом узнать, — главным образом из самих сказок, тех немногих, с которыми я знаком, из общего огромного числа.

Волшебная, или фейная сказка

Что такое волшебная, или фейная сказка? Если обратиться к Оксфордскому словарю английского языка, это ни к чему не приведет. Названного словосочетания в нем нет. В «Приложении» оно дается как зафиксированное с 1750 года. Его основное значение: рассказ о волшебных существах (феях) или легенда о феях, а производные: 1) небылица, невероятная история; 2) ложь. Что касается фей, словарь здесь тоже мало чем помогает.

Если брать последние два определения, моя тема станет безнадежно широкой. Первое же определение, напротив, слишком узко. Не для эссе: оно достаточно широко, чтобы служить предметом исследования во многих-многих книгах. Но оно не покрывает действительного смысла словосочетания. Еще больше сужает его тот смысл, который лексикографы вкладывают в слово «феи»: «сверхъестественные существа очень маленького роста, которые, по народным поверьям, обладают способностью к волшебству и оказывают сильное влияние — доброе или злое — на дела людей».

«Сверхъестественный» — слово туманное и небезопасное и в строгом, и в широком смысле. Но к феям оно вообще неприложно, разве что мы будем расценивать «сверх-» — как префикс превосходной степени. Как раз человек в сравнении с феями — существо сверхъестественное (и часто отличающееся очень маленьким ростом), а феи естественны — гораздо естественнее, чем человек. Такова уж их судьба. Дорога в страну фей — не дорога на небеса и, по-моему, даже не дорога в ад, хотя кое-кто утверждает, что именно туда, пусть не прямо, она и может завести, ибо тот, кто идет к феям, так или иначе отдает дань дьяволу.

Вглядись: тропинка чуть видна,
Пророс терновник меж камней...
О, это Праведных тропа,
Немногие идут по ней.

А вот широкий, торный путь,
Где на лугах блестит роса...
Но это путь — стезя Греха,
А не дорога в Небеса.

И вот чудесная тропа
В холмах зеленой стороны.
То путь в Эльфийскую Страну.
Мы по нему идти должны.

Что касается очень маленького роста: я не отрицаю, что такое представление о феях — сейчас самое распространенное. Я часто думал, что было бы небезынтересно попытаться определить, почему это так. Но моих знаний недостаточно, чтобы дать точный ответ. В старину в Феерии действительно были существа небольшого (хотя вряд ли «очень маленького») роста, но в целом для тамошнего народа небольшой рост не характерен. Я считаю, что в Англии существо очень маленького роста (эльф или фея) в значительной мере является особым плодом литературного вымысла^[41]. Вполне естественно, что в стране, чье искусство многократно проявляло любовь к хрупкости и утонченности, вымысел и в этом случае обратился к изящному и очень маленькому, тогда как во Франции он обосновался при дворе, стал пудриться и обвешиваться бриллиантами. Кроме того, подозреваю, что эта цветочно-мотыльковая миниатюрность была одновременно и плодом «деятельности разума», который превратил сияние Страны Эльфов в блеск дешевых побрякушек, а невидимых существ представил крохотными и хрупкими, способными спрятаться под листом подорожника или укрыться за травинкой. Вскоре после того, как начались великие путешествия, в моду вошло считать мир слишком маленьким, чтобы он вместил и людей, и эльфов. Ведь тогда даже волшебная западная земля ирландских сказаний Хай Брезейл (Hy Breasail) превратилась в реальную Бразилию, страну красивого дерева. Так или иначе, превращение эльфов в малюток — во многом дело литераторов, к которому приложили руку Уильям Шекспир и Майкл Дрейтон^[42]. Дрейтонова «Нимфида» (1627) дала жизнь многочисленному потомству, состоящему из фей цветков и порхающих

эльфов с мотыльковыми усиками. Я эту мелочь терпеть не мог, когда был мальчишкой, а теперь их, в свою очередь, ненавидят мои дети. Подобные же чувства испытывал и Эндрю Лэнг. В предисловии к «Лиловой книге сказок» он говорит о нагоняющих тоску писаниях современных авторов: «Они всякий раз начинают с того, как маленький мальчик или девочка идет гулять и встречает фею гардении, или фею яблоневого цвета, или фею кашки... Эти феи пытаются развеселить дитя, да не умеют; или же пытаются прочитать ему мораль — с гораздо большим успехом».

Но все это началось, как я уже сказал, задолго до XIX столетия, и подобные эльфы и феи давным-давно стали невыносимо скучны — как раз из-за того, что пытаются развеселить, да не умеют. Если «Нимфидию» рассматривать как волшебную сказку (то есть «рассказ о феях»), то она — одна из худших сказок всех времен. Судите сами. Во дворце Оберона стены — из паучьих лапок,

А окна там — из глаз зверей,
А свод — из крыл нетопырей.

Рыцарь Пигвиген разъезжает на резвой ухвертке. Своей возлюбленной, королеве Маб, он посылает браслет из муравьиных глазков, а свидание назначает в венчике первоцвета. Но на этом миленьком фоне разворачивается скучнейший рассказ об интригах и хитрых сводниках. Доблестный рыцарь и разъяренный муж садятся в лужу, и гнев их гаснет после того, как они испили летейских вод. Лучше бы Лета поглотила всю эту историю. Пусть Оберон, Маб и Пигвиген — эльфы и феи маленького роста, а Артур, Джиневра и Ланселот — нет; все равно рассказ о борьбе добра и зла при дворе короля Артура — волшебная сказка в куда большей степени, чем эта история насчет Оберона.

«Фея» как существительное, более или менее эквивалентное по значению слову «эльф», — слово сравнительно недавнего происхождения. Его почти не использовали до эпохи Тюдоров. Весьма важно первое его употребление (единственное до 1450 года), зафиксированное Оксфордским словарем. Это строчка из поэмы Дж. Гауэра «*Confessio Amantis*» (1390—1393): «as he were a faierie» — «словно он был феей». Но Гауэр этого не писал. У него сказано: «as he were of faierie» — «словно он был из Феерии». Поэт описывает молодого повесу, который стремится околдовать сердца девушек в церкви:

На хитрой прическе вокруг головы
Гирлянда из свежей зеленой листвы,
Недавно листва шелестела в лесу —
Теперь оттеняет повесы красу.
А он, не стараясь себя побороть,
Глядит с вождельеньем на женскую плоть,
Глазами стреляет и зорко, и живо,
Как ястреб, с небес углядевший поживу,
И так перед вами красуется он,
Как будто в Феерии был он рожден.

Перед вами смертный юноша из плоти и крови. Но по его описанию гораздо яснее представляешь себе обитателей Страны Эльфов, чем по определению слова «фея», под которое он ошибочно помещен. Ибо разобраться в природе истинных жителей Феерии нелегко: они не всегда появляются в собственном облике и могут придавать своему виду возвышенность и красоту, о которых мы лишь мечтаем. Какая-то часть их волшебства, применяемого на пользу или во вред человеку, состоит в умении играть на стремлениях его тела и сердца. Королева Страны Эльфов, которая быстрее ветра унесла Томаса Стихотворца на своем молочно-белом скакуне, явилась его взору у Эльдонского Древа в облике смертной женщины, хотя и неотразимо прекрасной. Так что Спенсер не погрешил против истины, именую рыцарей своей Феерии эльфами. Таким рыцарям, как сэр Гайон, это имя больше пристало, чем Пигвигену, вооруженному жалом шершня.

А теперь, хотя я лишь затронул (причем далеко не в должной полноте) вопрос о «феях» и «эльфах», необходимо вернуться к началу рассуждения, так как я отклонился от своей темы — волшебных сказок. Я упомянул, что определение «рассказы о феях» — слишком узкое. Оно остается таковым, даже если отбросить «очень маленький рост», потому что нормальные английские волшебные сказки — рассказы не

о феях и эльфах, а о Феерии — стране или государстве, где живут феи. А в Феерии, помимо фей и эльфов, а также помимо гномов, ведьм, троллей, великанов и драконов, чего только нет: там есть моря, солнце, луна, небо; там есть земля и все, что бывает на земле: деревья и птицы, вода и камень, вино и хлеб, да и мы сами, смертные люди, когда мы зачарованы.

Рассказы, действительно в первую очередь касающиеся «фей» (то есть существ, которых на современном английском языке можно называть и «эльфами»), сравнительно редки и, как правило, малоинтересны. Гораздо чаще хорошие сказки повествуют о приключениях человека в Царстве Опасностей или у его туманных границ. Это и естественно, ибо если эльфы действительно существуют независимо от наших рассказов о них, то безусловно верно следующее: главная забота эльфов — не люди, главная забота людей — не эльфы. У нас с ними разные судьбы, и наши пути редко сходятся. Даже на границах Феерии мы встречаем их только случайно^[43].

Таким образом, определение волшебной сказки — что она есть, или чем должна быть — зависит не от определения или исторического анализа понятий «эльф» и «фея», а от природы Феерии — от самого Царства Опасностей, от воздуха этой страны. Я не стану пытаться ни определить Феерию, ни даже прямо ее описать. Это невозможно, Феерию не поймешь в сеть, сплетенную из слов, ибо одно из ее качеств — будучи доступной восприятию, быть недоступной описанию. Она состоит из многих элементов, но их анализ вряд ли откроет тайну целого. И все же надеюсь, что сказанное позднее по другим вопросам даст представление о том, какую мне видится Феерия. Пока же скажу лишь одно. Волшебная сказка — это такая история, которая касается Феерии или использует ее, какой бы ни была сама история: сатирической, приключенческой, морализаторской или фантастической.

Само же слово «Феерия» точнее всего может быть объяснено как «Волшебство» — но это волшебство особого рода и направленности, находящееся на противоположном полюсе от вульгарных приемов трудолюбивого, научно настроенного волшебника. Есть одно условие: если сказка сатирическая, над одним только нельзя насмехаться — над самим волшебством. Его следует принимать всерьез, не смеяться над ним, не пытаться его рационально объяснить. Достойный восхищения пример такой серьезности — средневековый роман «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь».

Но даже если мы постараемся остаться в рамках этих смутных, неопределенных ограничений, станет ясно, что многие, включая специалистов, употребляют термин «волшебная сказка» весьма непродуманно. Беглого знакомства с недавно выпущенными «сборниками сказок» достаточно, чтобы убедиться: рассказы о феях, о волшебных существах (где бы они ни находились) и даже о гномах и гоблинах составляют лишь малую часть их содержания. Как мы уже видели, этого следовало ожидать. Но в сборниках мы находим также множество историй, которые не только не используют Феерию, но даже и не касаются ее. Им в подобных книгах вообще не место.

Назову несколько образцов, которые я бы из сборников выкинул. Это поможет определить, что не является волшебной сказкой. Кроме того, примеры подведут нас ко второму вопросу: каково происхождение сказки?

Количество сказочных сборников сейчас очень велико. Среди опубликованных в Англии, пожалуй, ни один не может соперничать по широте охвата, популярности и прочим достоинствам с двенадцатью разноцветными книжками, за которые мы должны благодарить Эндрю Лэнга и его жену. Первая из них («Синяя книга сказок») вышла больше семидесяти лет назад, но до сих пор переиздается. Большинство входящих в нее историй более или менее выдерживают испытание. Анализировать их я не стану, хотя такой анализ мог бы представлять интерес. Замечу только, что среди рассказов, включенных в этот сборник, нет ни одного, который повествовал бы собственно о «феях», и очень немногие вообще о них упоминают. Большая часть историй заимствована из французских источников. Для того времени это был во многих отношениях правильный выбор. Возможно, так следует поступать и сейчас, хотя я с детства не люблю французских сказок. Во всяком случае, Шарль Перро, чьи «Сказки матушки Гусыни» (*Contes de ma mère l'Oye*) были переложены на английский еще в XVIII веке, и широко известные отрывки из огромных запасов «Комнаты фей» (*Cabinet des Fees*) оказали на моих соотечественников такое влияние, что и сегодня, если попросить кого-нибудь назвать типичную волшебную сказку, он, скорее всего, ответит французским примером, вспомнив «Золушку», «Кота в сапогах» или «Красную шапочку». Кое-кому, возможно, прежде всего придут в голову сказки братьев Гримм.

Но как отнестись к появлению в «Синей книге сказок» «Путешествия в Лилипутию»? Мое мнение таково: это *не* сказка ни в свифтовском варианте, ни в пересказе Мэй Кендалл. В «Книге сказок» ему делать нечего. Боюсь, оно там появилось только потому, что лилипуты маленького, даже очень маленького роста — это вообще единственное, что в них есть примечательного. Но в Феерии, так же как и в нашем мире, малый рост не является значимым фактором. Пигмеи ничуть не ближе к феям, чем патагонцы. Я протестую против включения этой истории в «Книгу сказок» не потому, что история эта сатирическая. Во многих неоспоримых сказках постоянно или время от времени ощущается сатира. Более того, во многих древних сказках элементы сатиры есть даже там, где мы их уже не воспринимаем. Я выкинул бы «Путешествие в Лилипутию» из «Книги сказок» потому, что по жанру это не сказка, а рассказ о путешествии. Такие рассказы повествуют о множестве чудес, но чудеса эти предположительно происходят в нашем мире смертных, в каком-то уголке нашего времени и пространства. Их скрывает только расстояние. У рассказов Гулливера не больше прав называться сказкой, чем у небылиц барона Мюнхаузена или, скажем, у «Первых людей на Луне» и «Машины времени». Можно даже сказать, что элои и морлоки «волшебнее» лилипутов. Лилипуты — просто люди, которых сардонически рассматривает с высоты крыш великан. Элои же и морлоки живут так далеко, в такой глубокой бездне времени, что представляются зачарованными; и если мне возразят, что они — наши потомки, можно вспомнить, что один древний английский мыслитель, автор «Беовульфа», считал ylfe, эльфов, потомками Адама по линии Каина. Эти чары расстояния, особенно огромного расстояния во времени, ослаблены только невообразимой и противоестественной машиной времени. На этом примере, кстати, видно, почему границы сказки неизбежно размыты. Важно не то, что Феерия — волшебная страна, а то, какое действие это волшебство оказывает. Так, оно способно удовлетворять некоторые исконные человеческие желания. Одно из них — окунуть взглядом глубины пространства и времени. Другое, как мы увидим, — общаться с другими живыми существами. Если рассказ стремится удовлетворить эти желания (неважно, с помощью машины, волшебства или без них), то он пропорционально достигнутому успеху приближается к волшебной сказке и обретает ее аромат.

Далее. Кроме рассказов о путешествиях, я бы также исключил из круга сказок любую историю, которая для объяснения происходящих в ней чудес пользуется мотивом сновидения, человеческого сна. Даже если пересказанное сновидение само по себе во всех отношениях является сказкой, все повествование в целом от сказки сильно отличается. Такая история напоминает хорошую картину в перекошенной раме. Нет сомнений, что Сновидение связано с Феерией. Во время сна высвобождаются необычные способности сознания. Порою в сновидениях человек на краткое время обретает волшебную способность расцветить и оживить историю в самый момент ее зарождения. Бывает, что само сновидение — сказка почти эльфийская по своей непринужденности и мастерству, — но только пока оно длится. Однако если бодрствующий автор заявляет, что его рассказ — всего лишь сон, значит, он намеренно обманывает ожидания, обманывает исконное желание, которое является сутью Феерии: увидеть исполнение воображаемого чуда, независимое от сознания, где это чудо зародилось. О феях часто говорят (не знаю, правда это или клевета), что они насылают иллюзии, обманывают людей «фантазиями». Но это — их дело. К нашей проблеме оно отношения не имеет. Во всяком случае, такой обман встречается в историях, где сами феи не иллюзорны, где за «фантазиями» скрываются реальные устремления и силы, независимые от сознания и целей человека.

Для настоящей сказки (в отличие от случаев, когда ее форма используется с более мелкими или менее достойными целями) существенно, чтобы все, в ней происходящее, было представлено как «истинное». На значении слова «истинное» в этом контексте я еще остановлюсь. Поскольку в сказке речь идет о «чудесах», в ней нельзя употреблять такое обрамление или мотивы, которые бы свидетельствовали, что вся история, в которой эти чудеса происходят, вымышлена или иллюзорна. Конечно, бывают такие великолепные истории, что читатель забывает об обрамлении. А иногда история может иметь успех именно как рассказ о сновидении. Таковы книги Льюиса Кэрролла об Алисе, в которых обрамление и движение сюжета основаны на мотиве сновидения. По этой причине (а также по ряду других) «Алиса» — не волшебная сказка [\[см. примечание А\]](#).

Есть еще один тип рассказа о чудесах, который я бы исключил из круга волшебных сказок, — опять-таки не потому, что они, эти рассказы, мне не нравятся. Это сказки о животных. Возьмем пример у Лэнга: «Сердце обезьяны», рассказ племени суахили, приведенный в «Лиловой книге сказок». В нем злая

акула обманом уговорила обезьяну прокатиться у нее на спине и, проплыв половину расстояния до своего дома, объявила, что султан ее страны болен и, чтобы вылечить его недуг, необходимо обезьянье сердце. Но обезьяна перехитрила акулу и заставила вернуться, утверждая, что сердце осталось дома и висит в мешке на дереве.

Конечно, сказка о животных связана с волшебной сказкой. В волшебных сказках звери, птицы и другие существа тоже часто говорят, как люди. До некоторой степени (часто очень малой) это чудо вытекает из исконного желания, имеющего отношение к самой сути Феерии, — желания общаться с другими живыми существами. Но говорящие животные в сказках, выделившись в отдельную ветвь, мало связаны с этим желанием, а чаще вообще не имеют к нему отношения. Гораздо ближе к истинным целям Феерии волшебная способность людей понимать наречия птиц, зверей и деревьев. Что касается историй, где люди играют второстепенную роль, и особенно рассказов, где образы животных — лишь маски, скрывающие людей для удобства сатирика или моралиста, такие истории — не волшебные сказки, а сказки о животных или басни, будь это «Роман о Лисе», «Рассказ монастырского капеллана», «Братец Кролик» или всего лишь «Три поросенка». Рассказы Беатрикс Поттер располагаются у границ Феерии, но, я считаю, по большей части вне ее. Близость их к Феерии объясняется сильным морализаторским элементом (я имею в виду пронизывающее их моральное начало, а не аллегорический смысл). Но «Кролик Питер», хотя и содержит запрет (а в Стране Фей есть запреты, как, вероятно, и во всей Вселенной, в любой сфере, в любом измерении), остается сказкой о животных.

Так вот, «Сердце обезьяны», безусловно, тоже всего лишь сказка о животных. Подозреваю, что Лэнг ее включил в число волшебных сказок не потому, что она занимательна, а как раз потому, что сердце обезьяны предположительно осталось висеть на дереве в мешке. Для Лэнга, специалиста по фольклору, это была важная деталь, несмотря даже на то, что здесь этот любопытный мотив использован как шутка: ведь на самом деле сердце было на своем обычном месте, у обезьяны в груди. Тем не менее эта деталь, несомненно, представляет собой переосмысление древнего и очень распространенного представления (встречающегося и в волшебных сказках) о том, что жизнь или сила человека или иного существа заключается в каком-либо предмете и находится где угодно; или же они заключаются в какой-либо части тела (обычно в сердце), которую можно отделить и спрятать в мешок, под камень или в яйцо. Среди недавних обработок фольклора это представление использовано Джорджем Макдональдом в сказке «Сердце великана», центральный мотив которой (как и многие детали) заимствован из известных народных сказок. И наоборот, в глубокой древности это же представление встречается в одной из самых первых записанных историй, «Сказании о двух братьях» из египетского папируса д'Орсины. Там младший брат говорит старшему: «Я зачарую свое сердце и возложу его на цветок кедр. И срубят кедр, и падет сердце наземь, и ты придешь искать его, пусть даже будешь искать семь лет; но когда найдешь, положи в сосуд с холодной водой, и воистину оживу».

Это интересное верование и приведенные сравнения подводят нас по второму вопросу: каково происхождение волшебных сказок? Это, конечно, должно означать: происхождение волшебного элемента. Спрашивать же, каково происхождение сюжетов, как бы мы их ни определяли, — это все равно что спрашивать, каково происхождение языка и сознания.

Происхождение

Вообще говоря, вопрос о происхождении волшебного элемента в конечном счете сводится к этим же фундаментальным проблемам. Но в сказках есть много мотивов (например, сердце, которое можно вынуть; одежды, превращающие в лебедей; магические кольца, табу, злые мачехи и даже сами феи), которые можно изучать, не касаясь этого основного вопроса. Однако такие исследования лежат в сфере науки (по крайней мере, этого добиваются исследователи), ими занимаются фольклористы и антропологи, то есть люди, использующие сказки не по назначению, а в качестве источника доказательств и информации по интересующим их проблемам. Сама по себе эта процедура вполне законна — но исследователи такого типа часто высказывали странные суждения из-за того, что не знали или забывали о природе сказки в целом. Этим ученым многократное использование одного и того же мотива (например, мотива вынутого сердца) кажется особенно важным. Настолько важным, что фольклористы готовы, встретив его, покинуть свою область исследований, да еще и выражают свои мысли, используя дезориентирующую «скорпись» — она особенно вредна, если проникает из монографий по фольклору в книги о литературе. Среди ученых принято считать, что любые две сказки, построенные на одном и том же фольклорном мотиве или на сходных комбинациях мотивов, — это «одна и та же сказка». Они пишут, что «Беовульф» — «это лишь вариант „Земляного человечка“ братьев Гримм», что «Норвежский черный бык» — это «Аленький цветочек» и в придачу «известная история Амура и Психеи», что норвежская «Госпожа-служанка» или гэльская «Битва птиц» и множество ее версий и вариантов — «та же история, что и греческая легенда о Ясоне и Медее».

В заявлениях такого рода, возможно, есть доля правды (хотя она и выражена в неряшливо-сокращенном виде), но эта правда не относится к сказкам как искусству, литературе. Ведь для искусства важны в первую очередь именно акценты, атмосфера, не поддающиеся классификации конкретные детали рассказа, а главное — общий смысл, который оживляет весь сюжетный скелет. Шекспировский «Король Лир» и «Брут» Лайамона — разные вещи. Или возьмем наиболее яркий пример — «Красную шапочку». Не столь уж важно, что поздний вариант этой истории, в котором девочку спасают дровосеки, оказывается прямой переработкой сказки Перро, где ее съедает волк. Главное же — то, что в позднем варианте конец счастливый (более или менее, если не слишком скорбеть о бабушке), а у Перро — нет. Это очень важное различие. Я к нему еще вернусь.

Конечно, я не отрицаю притягательности научного подхода. Во мне тоже живет желание распутывать сложную историю переплетенных ветвей Древа Сказок. Похожее желание испытывает лингвист, прорубающий тропу в дебрях Языка, — а об этом я кое-что знаю. Но даже в отношении языка я считаю, что гораздо важнее и труднее уяснить и подробно описать существенные стороны и особенности данного языка в живом литературном памятнике, чем проследить его историческое развитие. Поэтому, возвращаясь к сказкам, скажу следующее: на мой взгляд, гораздо интереснее и по-своему труднее рассмотреть, что они собой представляют сейчас, чем стали для нас, какие ценности привнес в них за долгие века алхимик-время. Я бы выразился словами Дейсента: «Нам должно хватать супа, стоящего перед нами. Ни к чему стремиться увидеть бычьи кости, из которых его сварили». Впрочем, как это ни странно, под «супом» Дейсент имел в виду хаотические и весьма сомнительные сведения о доисторических временах, основанные на догадках едва народившейся сравнительной филологии, а «стремлением увидеть кости» у него названы требования опубликовать доказательства и факты, легшие в основу теории. Я же под «супом» разумею сказку в том виде, как она дана нам автором или рассказчиком, а под «костями» — ее материал или источники (в тех весьма редких случаях, когда они известны). Но, конечно же, я ничего не имею против критики супа как такового.

По этим причинам я лишь затрону вопрос о происхождении сказки. В этой области я недостаточно компетентен, чтобы говорить подробно. Но это не беда, поскольку из трех поставленных в начале века вопросов этот для моих рассуждений наименее важен, так что будет достаточно и нескольких замечаний.

Несомненно, волшебные сказки зародились в глубокой древности. В самых ранних письменных памятниках обнаруживаются записи, родственные сказкам, причем они появляются повсюду, где есть язык. Мы, очевидно, сталкиваемся с вариантом проблемы, стоящей перед археологией и сравнительным языкознанием — это необходимость сделать выбор между *независимым развитием* (или, скорее,

созданием) сходных явлений, наследованием от общего прототипа и разновременной *диффузией* из одного или нескольких центров. Любые споры чаще всего начинаются из-за того, что спорщики стараются излишне упростить явление. Спор между приверженцами трех перечисленных теорий, на мой взгляд, не является исключением. История сказок, вероятно, сложнее, чем история рода человеческого, и не менее сложна, чем история языка. Все три пути — независимое создание, наследование и диффузия — очевидно, сыграли свою роль в формировании сложной структуры сказки. А ныне разве что эльфы сумеют распутать эту головоломку[44]. Из этих трех путей создание — основной, самый важный, а потому, естественно, и самый загадочный путь. Два других при обратном движении приводят в конечном счете к той же фигуре создателя. Диффузия (заимствование в пространстве) предмета материальной культуры или волшебной сказки попросту переносит вопрос о происхождении в другое место. В предполагаемом центре диффузии находится точка, где когда-то жил создатель. То же самое относится и к наследованию (заимствованию во времени): при изучении пути наследования мы в конце концов доберемся до древнего создателя. Если же мы считаем, что время от времени независимо друг от друга в разных местах появлялись сходные идеи, темы и приемы, мы просто допускаем существование не одного, а нескольких древних создателей, но ничуть не приближаемся к пониманию их дара.

Языкознание ныне низвергнуто с трона, на котором когда-то восседало в следственной комиссии по этим проблемам. Можно без сожалений отбросить точку зрения Макса Мюллера на мифологию как на «болезнь языка». Мифология вовсе не болезнь, хотя, как и все человеческое, может заболеть. С таким же успехом можно сказать, что мышление — болезнь сознания. Ближе к истине звучало бы утверждение, что языки, особенно современные европейские языки, — болезнь мифологии. И все же Язык нельзя оставлять без внимания. Язык (то есть воплощенное сознание) и сказания появились в нашем мире одновременно. Человеческое сознание, наделенное способностью обобщать и абстрагировать, видит не только *зеленую траву*, отличая ее от всех других объектов (и обнаруживая, что она красива), но видит также, что, будучи *травой*, она еще и *зелена*. Каким великим событием было изобретение прилагательного, как оно подхлестнуло сознание, которым было создано! Во всей Феерии нет заговора или заклинания мощнее. И это неудивительно: ведь заклинания можно рассматривать как своеобразный вид прилагательных, как часть речи в грамматике мифа. Сознание, придумавшее такие слова, как *легкий*, *тяжелый*, *серый*, *желтый*, *неподвижный*, *быстрый*, породило волшебство, которое способно тяжести делать легкими и летучими, превращать серый свинец в желтое золото, а неподвижную скалу — в быстрый ручей. Сознание, способное на первое, способно и на второе — и, естественно, и то и другое свершилось. Если мы можем отделить зелень от травы, голубизну от неба, красноту от крови, мы уже в какой-то сфере обладаем чародейской силой, и в нас пробуждается желание приложить эту силу к миру, лежащему за пределами нашего сознания. Это не значит, что мы правильно распорядимся своими чарами в любой сфере. Может быть, мы придадим человеческому лицу мертвенно-зеленый цвет — и произведем на свет страшилище; может быть, заставим светить странную и грозную синюю луну — а можем покрыть леса серебряной листвой, а овец — золотым руном и вложить жаркое пламя в грудь холодного дракона. И так называемая «фантазия» создаст небывалое. Родится Феерия. Человек станет творцом вторичного мира.

Итак, важнейшее свойство Феерии — в том, что в этой стране мгновенно овеществляются видения «фантазии». Естественно, не все фантазии падшего человека прекрасны и благотворны. И эльфы, способные (действительно или по слухам) овеществлять видения, тоже видятся ему запятнанными тем же проклятием. Мне кажется, слишком редко рассматривают именно эту область «мифологии» — творение вторичных миров, в отличие от изображения или символической интерпретации красот и ужасов нашего мира. Почему так происходит? Потому ли, что ее легче отыскать в Феерии, чем на Олимпе? Что она считается сферой «низшей мифологии», а не «высшей»? Было много споров, как соотносятся народная сказка и миф. Но даже если бы этот вопрос не вызывал споров, на нем необходимо остановиться, раз уж мы хотя бы вкратце рассматриваем происхождение сказки.

Одно время господствовало мнение, что все эти сказания произошли от «природных мифов». Олимпийцы, согласно этой теории, персонифицируют солнце, рассвет, ночь и т. д., а истории, которые про них рассказывали, первоначально были *мифами* (здесь больше подходит слово «аллегория») о взаимодействии стихий и процессах, происходящих в природе. Затем в эпосе, героической легенде, саге эти истории были локализованы в реально существующих местах и очеловечены: действовать в них стали герои-предки, то есть люди, пусть более могучие, чем современные. И наконец эти легенды, совсем

измельчав, превратились в народные сказания, Märchen, волшебные сказки, — короче, в истории для детей.

В этой теории истина, по-моему, вывернута наизнанку. Чем ближе к своему предполагаемому прототипу «природный миф» (или аллегория), тем он неинтереснее, тем меньше света может пролить на реальность. Давайте на минуту предположим вслед за теорией, что, собственно, в мире нет прямого соответствия мифологическим «богам» — нет таких индивидов, а есть только астрономические объекты и метеорологические явления. В таком случае придать этим природным объектам индивидуальность и величие может только человек, пользуясь своим индивидуальным же даром. Индивидуальность порождается только индивидом. Пусть боги получили свое сияние и красоту от прекрасной природы — но ведь именно человек добыл для них это величие, выделив его из солнца, луны, облаков. Свою индивидуальность боги приняли прямо из его рук. И, наконец, отблеск божественности, лежащий на них, они также получили при посредничестве человека из невидимого мира Сверхъестественного. Между высшей и низшей мифологией нет глубокого различия. Их герои оживлены (если оживлены вообще) одной и той же жизненной силой так же, как в мире смертных — король и крестьянин.

Возьмем пример. Казалось бы, типичная олимпийская «природно-мифологическая» фигура — скандинавский бог Тор. Его имя по-норвежски означает «гром», а его молот, Мьелльнир, нетрудно интерпретировать как молнию. И все же у Тора есть (судя по сохранившимся памятникам) весьма определенный характер, индивидуальность, которой ни гром, ни молния не обладают, хотя некоторые ее детали и соотносятся с этими природными явлениями, например рыжая борода, громкий голос, вспыльчивость и слепая, все сметающая сила. Тем не менее было бы бессмысленно задаваться вопросом, что появилось раньше: природная аллегория о персонифицированном громе, который гремит в горах, дробит скалы и валит деревья, или рассказы о гневливом, необычайно сильном, но не особенно умном рыжебородом фермере, который во всем (кроме разве что роста) очень напоминает скандинавских фермеров (boendr), глубоко почитавших Тора. Существует мнение, что образ Тора «измельчал» и превратился в образ такого человека, — и противоположное мнение, что человек «возрос» и превратился в бога. Но я думаю, что обе точки зрения неверны, если их брать по отдельности, если настаивать, что один из процессов предшествовал другому. Более разумно предположить, что фермер пришел рассказчику на ум в тот самый момент, когда он придавал Грому лицо и голос, что всякий раз, когда рассказчик слышал, как бушует фермер, в горах перекатывался гром.

Конечно, Тора следует расценивать как представителя высшей мифологической аристократии: он один из правителей мира. Но все же история, рассказанная о нем в «Песни о Трюме» («Старшая Эдда»), — это, конечно, просто волшебная сказка. В сравнении с другими скандинавскими песнями, «Песнь о Трюме» довольно древняя, но вообще-то она создана не так уж давно (900 г. н. э. или немного раньше). Нет, однако, никаких причин предполагать, что раз эта история по типу относится к народным сказаниям и не отличается возвышенностью, значит, она «не первобытна». Если бы мы могли двигаться назад во времени, мы, возможно, видели бы, как в этой сказке изменяются детали или как она уступает место другим сказкам. Но пока существовал бы Тор (любой Тор, не обязательно скандинавский), была бы и сказка. В тот момент, когда сказка исчезла бы, остался бы только гром, которого еще никогда не слышал человек.

Иногда в мифологии действительно ощущается нечто «высшее»: божественность, право на власть (в отличие от обладания властью), долг поклонения — то, что зовется «религией». Эндрю Лэнг как-то сказал (и его за это до сих пор хвалят), что мифология и религия (в строгом смысле слова) — две разные вещи, которые неразрывно переплелись, хотя мифология сама по себе почти лишена религиозного содержания^[45].

Так или иначе, мифология и религия переплелись — а может быть, когда-то в давние времена их разъединили, и с тех пор они медленно, через лабиринт ошибок, через хаос идут к новому слиянию. Даже у сказок, взятых в целом, есть три лица: Мистическое, обращенное к Сверхъестественному; Волшебное, обращенное к Природе; Зеркало жалости и презрения, обращенное к Человеку. Сущностное лицо Феерии среднее, Волшебное. Что касается двух других, то они появляются в разных пропорциях (если вообще появляются) — решение здесь зависит от отдельного рассказчика. Сказка может использоваться как *Mirour de l'Omme* (Зеркало Человека), но ее можно (хотя и не с такой легкостью) превратить и в форму воплощения Мистического. Этого, по крайней мере, пытался добиться Джордж Макдональд, и наградой

ему были истории, отмеченные красотой и мощью и когда он достигал успеха (например, в «Золотом ключе», который он называл волшебной сказкой), и даже когда полного успеха достичь не удавалось (например, в «Лилит», которую он называл романом).

Давайте ненадолго вернемся к «супу», о котором я уже упоминал. Говоря об истории сказаний, и особенно волшебных сказок, следует заметить, что «горшок с супом», то есть Котел Сказаний, кипел всегда и в него постоянно добавляли новые ингредиенты, вкусные и невкусные. По этой причине (берем первый попавшийся пример) тот факт, что в XIII веке историю, напоминающую гриммовскую «Королевну-гусятницу», рассказывали о Берте Широконогой, матери Карла Великого, абсолютно ничего не доказывает: ни того, что эта история в XIII веке спускалась с Олимпа или из Асгарда и по дороге прихватила с собой легендарного древнего короля, а в дальнейшем превратилась в «семейную сказку»; ни того, что она, наоборот, взбиралась наверх. Сейчас эта сказка широко известна и не связывается ни с матерью Карла, ни с какой-либо другой исторической личностью. Из этого мы, конечно, не можем сделать вывод, что с матерью Карла ничего подобного не происходило (хотя чаще всего из подобных фактов именно такие выводы и делаются). Мнение о том, что эта история не относится к Берте Широконогой, должно быть основано на чем-нибудь другом: например, на таких деталях, которые, согласно мировоззрению исследователя, невозможны в «реальной жизни», так что он просто не поверит рассказу, даже если бы его связывали только с Бертой, или на существовании бесспорных исторических свидетельств о том, что настоящая жизнь Берты была совсем не похожа на описанную, так что исследователь не поверит рассказу, даже если его мировоззрение допускает в «реальной жизни» все, о чем идет речь. Мне представляется, что бессмысленно объявлять лживым рассказ о том, как архиепископ Кентерберийский поскользнулся на банановой кожуре, лишь на том основании, что подобную комическую неприятность якобы пережили и многие другие люди, главным образом достойные пожилые джентльмены. Можно не верить этому рассказу, если в нем говорится, что ангел (или даже эльф) предупреждал архиепископа не надевать гамаши в пятницу, если он не хочет поскользнуться. Можно не верить и в том случае, если рассказ утверждает, что все это произошло, скажем, между 1940 и 1945 годом. Но хватит об этом. С этим вопросом все ясно, и не мне первому. Он не связан прямо с моими целями. И если я здесь говорю об этом, так только потому, что люди, изучающие происхождение сказок, постоянно забывают об очевидном.

Однако как же обстоит дело с банановой кожурой? Мы ею начинаем заниматься лишь после того, как ее отвергли историки. Для нас она становится полезной, когда серьезные люди ее выкинули. Историк, по-видимому, скажет, что рассказ о банановой кожуре «связали с архиепископом» точно так же, как говорит, основываясь на исторических свидетельствах, что «„Королевну-гусятницу“ связали с Бертой». Для науки, которую обычно называют «историей», это еще безобидное выражение. Но действительно ли оно хорошо описывает процессы, происходившие и происходящие в истории создания сказаний? По-моему, нет. Мне кажется, правильнее сказать, что архиепископа связали с банановой кожурой, а Берта превратилась в королевну-гусятницу. Или еще лучше: я бы сказал, что архиепископа и мать Карла Великого сунули в Котел и они попали прямехонько в Суп. Они — просто новые ингредиенты, добавленные к тому, что уже варилось. И это для них — большая честь, поскольку в Супе было много вещей более древних, более мощных, прекрасных, смешных и ужасных, чем они сами как исторические личности.

Думаю, совершенно очевидно, что Артур, бывший когда-то историческим деятелем (но, вероятно, не особенно выдающимся), тоже оказался в Котле. Там он довольно долго варился вместе со множеством более древних существ и событий, принадлежавших Феерии и мифологии, и даже с несколькими вполне историческими косточками (такими, как противостояние Альфреда датчанам), и наконец явился вновь — уже королем Феерии. То же самое произошло и с великим скандинавским «артуровским» двором королей данов, Скильдингов древнеанглийских сказаний. На короле Хродгаре и его родичах клеймо реальной истории отпечаталось куда ярче, чем на Артуре; но даже в самых древних английских сказаниях эти герои связаны со множеством сказочных персонажей и событий, — а значит, побывали в Котле. Я говорю сейчас об остатках древнейших сохранившихся английских (хотя именно в Англии их знают плохо) сказаний о Феерии или о пограничных с ней областях не для того, чтобы обсуждать превращение мальчика-медвежонка в витязя Беовульфа или объяснять вторжение чудовища Гренделя в королевские палаты Хродгара. Мне хотелось бы указать на другую характерную черту этих преданий: они представляют собой исключительно яркий пример соотношения между «волшебным элементом», с одной стороны, и богами, королями, безымянными людьми — с другой. На мой взгляд, они подтверждают точку зрения,

согласно которой «волшебный элемент» не появляется и не исчезает, а все время присутствует в Котле Сказаний, поджидая, когда великие герои мифов и историй или пока безымянные Он и Она попадут в кипящее варево — поодиночке или скопом, независимо от звания и положения.

Главным врагом короля Хродгара был Фрода, король хадобардов. До нас дошли отголоски странного, необычного для скандинавских героических легенд рассказа о дочери Хродгара Фреавару: Ингельд, сын Фроды, по происхождению враг ее семьи, полюбил ее и женился на ней, что привело к катастрофе. Этот мотив исключительно интересен и многозначителен. За старинной родовой распрей возвышается фигура бога, которого скандинавы называли Фрей («Господин») или Ингви-Фрей, а англы звали Инг, — это бог плодородия в древнескандинавской мифологии (и религии). Вражда королевских родов была связана со священным местом отправления культа этого божества. Ингельд и его отец носят обрядовые имена этого культа. Имя Фреавару означает «Защита Господина» (то есть Фрея). А о самом Фрее позднее (в Древней Исландии) рассказывали, что он, увидев издали, полюбил девушку из рода, враждебного богам, — Гердр, дочь великана Гюмира, — и женился на ней. Доказывает ли это, что Ингельд, Фреавару и их любовь «существовали только в мифе»? Думаю, что нет. История часто напоминает миф, так как в конечном счете они состоят из одного материала. Если в действительности не было ни Ингельда, ни Фреавару или, по крайней мере, они никогда не любили друг друга — значит, на них перенесен рассказ о неизвестных мужчине и женщине или, точнее, они вошли в рассказ о других. Они оказались в Котле, где веками кипит на огне множество сильных чувств, и среди них — Любовь с первого взгляда. То же самое относится и к богу. Если бы никогда юноша не влюблялся, случайно встретив девушку, и не обнаруживал, что между ним и возлюбленной стоит старая вражда, никогда и бог Фрей не увидел бы с трона Одина Гердр, дочь великана. Но раз уж мы говорим о Котле, нужно упомянуть и о Поварах. В Котле варится всякая всячина, но Повара зачерпывают половником не наугад. Их выбор — не последнее дело. В конце концов боги — это боги, и весьма важно, что именно о них рассказывают. Поэтому приходится признать, что история любви, скорее всего, будет рассказана об историческом принце и, кроме того, скорее можно ожидать, что она действительно случилась в историческом роду с традициями Золотого Фрея и вана, а не в роду с традициями Одина Гота, Некроманта, пожирателя ворон, Владыки Мертвецов. Неудивительно, что слово «очарование» может относиться и к рассказанной истории, и к власти над людьми.

Но когда сделано все, что может сделать исследователь: собраны и сопоставлены сказания множества краев; элементы, повсеместно встречающиеся в волшебных сказках (мачехи, заколдованные медведи и быки, колдуны-людоеды, табуированные имена и т. п.), объяснены как остатки древних обычаев, когда-то действовавших в повседневной жизни, или как верования, которые когда-то считались истинными, — остается еще вопрос, о котором слишком часто забывают: какое действие оказывают *сейчас* эти отголоски старины, сохранившиеся в сказках.

Прежде всего они *древние*, а древность привлекательна сама по себе. С детства со мною остаются красота и ужас гриммовского «Миндального дерева» (Von dem Machandelboom)^[46] с его изысканным и трагическим началом, отвратительным каннибальским варевом, ужасными костями и веселой, мстительной душой-птичкой, которая вылетает из тумана, окутавшего дерево. И все же главное, что сохранила память от этой сказки, — не красота и не ужас, а отдаленность, огромная бездна времени, которую не измерить даже *two tusend Johr* (двумя тысячами лет). Без варева и костей (которые теперь часто скрывают от детей в смягченных обработках сказок братьев Гримм^[47]) это ощущение почти исчезло бы. Не думаю, чтобы мне повредили сказочные ужасы, какие бы мрачные верования и обычаи древности их ни породили. Такие сказки теперь воздействуют на читателя как мифы или же производят всеобъемлющее, не поддающееся анализу действие, совершенно независимое от находок сравнительной фольклористики. Наука его не может ни испортить, ни объяснить. Эти сказки открывают дверь в Другое Время, и, переступив порог хотя бы на мгновение, мы оказываемся вне нашего времени — может быть, вне Времени вообще.

Если мы не только отметим, что в сказке сохранились древние элементы, но и попробуем понять, почему они сохранились, то нам придется заключить, что это чаще всего происходит именно в результате описанного воздействия повествования. Конечно же, первым его заметил не я и даже не братья Гримм. Ведь волшебная сказка — не горнорудное месторождение, откуда только специалист-геолог может извлечь ископаемое. Древние элементы из сказки можно выбросить; они могут выпасть сами и забыться;

их можно легче легкого заменить другими элементами — это несложно доказать, сравнивая близкие варианты любой сказки. А вот те элементы, которые в сказках остались, должно быть, часто сохранялись (или интерполировались) потому, что рассказчик инстинктивно или сознательно чувствовал их ценность для повествования [\[см. примечание Б\]](#). Даже там, где, как полагают, какой-либо запрет в сказке вырос из древнего табу, он, вероятно, сохранился на более поздних стадиях потому, что благодаря ему сказка воздействует на миф. Ощущение этого «мифического воздействия», видимо, лежало и в основе некоторых табу. Ты не должен делать этого — иначе несчастья обрушатся на тебя, и ты будешь бесконечно сожалеть о содеянном. Такие запреты есть даже в самых невинных «детских сказках». Даже Кролик Питер лишился своего синего сюртучка и заболел, когда нарушил табу и вошел в запретный сад. Запертая Дверь знаменует вечный Соблазн.

Дети

Теперь поговорим о детях и таким образом примемся за последний и самый важный из трех вопросов: какие ценности (буде таковые имеются) несет волшебная сказка *нашему времени*, какие функции она выполняет *сейчас*? Обычно считается, что дети — естественный или наиболее подходящий круг читателей и слушателей волшебных сказок. Когда критики описывают сказку, которую, по их мнению, могут с удовольствием почитать и взрослые, они часто позволяют себе идиотские выражения вроде: «Это книжка для детей от шести до шестидесяти лет». Что-то мне еще никогда не приходилось встречать рекламу новой модели автомобиля, которая начиналась бы словами: «Эта игрушка порадует ребят от семнадцати до семидесяти», хотя, по-моему, здесь эта фраза куда больше к месту. Так есть ли *существенная* связь между детьми и волшебными сказками? Почему люди удивляются, если их читает взрослый? То есть именно *читает*, как *сказки*, а не *изучает*, как раритеты. Собрать и изучать взрослым позволено все что угодно, вплоть до театральных программ и бумажных пакетов.

Большинство тех, кто сохранил достаточно здравого смысла, чтобы не считать сказки вредными, полагают, что существует естественная связь между сознанием ребенка и сказками, подобная связи между детским телом и молоком. По-моему, это ошибка. В лучшем случае она вызвана ложной чувствительностью, а потому и грешат ею чаще всего те, кто по разным личным причинам (например, по бездетности) считают детей особыми существами, чуть ли не особой расой, а не нормальными, хотя и незрелыми, членами определенной семьи и человечества в целом.

На самом же деле склонность связывать волшебные сказки с детьми — побочный продукт истории наших жилищ. Современный литературный мир сослал сказки в детскую точно так же, как ветхую или старомодную мебель ставят в игровую комнату, потому что взрослым она не нужна и они не расстроятся, если с ней что-нибудь случится^[48]. Дети об этом не просили. Вообще дети, взятые как класс (впрочем, объединить их можно только по общему признаку недостатка опыта), любят сказки не больше и понимают их не лучше, чем взрослые. К тому же ничуть не меньше сказок их привлекает многое другое. Они молоды, растут, и у них, естественно, хороший аппетит — поэтому они с удовольствием глотают и сказки. Но лишь некоторые дети и некоторые взрослые именно *любят* сказки, причем любовь эта не обязательно единственная и даже не обязательно самая сильная^[см. примечание В]. Эта любовь, на мой взгляд, в раннем детстве вообще не проявляется без искусственного стимулирования. Зато с возрастом она не иссякает, а крепнет, если органична для сознания.

Правда, в последнее время сказки обычно пишут или «пересказывают» для детей. Но то же самое можно сделать и с музыкой, стихами, романами, историей и научными трудами. Впрочем, даже когда такие вещи необходимы, они весьма опасны. Собственно, от катастрофы спасает только то, что науки и искусства не полностью отданы на откуп детям: до детской и до школьного класса доходит только то, что, по мнению взрослых (далеко не всегда оправданному), не принесет детям вреда. Если науки и искусства целиком отдать в детскую, они сильно от этого пострадают. Точно так же красивый стол, хорошая картина или полезный прибор (например, микроскоп), оставленные надолго без присмотра в классе, будут повреждены или сломаны. Сказки, полностью отторгнутые, отрезанные от взрослого искусства, в конце концов погибли бы. И в той мере, в какой они отторгнуты сейчас, они уже погибли.

Поэтому я считаю, что ценность сказок невозможно обнаружить, изучая именно детей. Вообще говоря, сборники сказок только *здесь и сейчас* считают комнатами для игр. По своей природе они скорее чердаки и кладовые. Их содержимое находится в беспорядке, многое серьезно подпорчено. В них перемешались разные времена, устремления и вкусы. Но иногда в этом хаосе можно раскопать вещь непреходящих достоинств — древнюю, искусно сработанную, хорошо сохранившуюся, которую только человеческая глупость могла засунуть подальше в чулан.

Впрочем, «Книги сказок» Эндрю Лэнга не очень-то похожи на кладовые. Скорее, они напоминают стеллажи на распродаже. Видно, что некто, вооруженный тряпкой для пыли и зорким глазом, выискивающим ценности, прошелся по чердакам и подвалам. Сборники Лэнга в основном являются побочным продуктом его «взрослых» исследований мифологии и фольклора, но созданы как книги для детей^[49]. Некоторые причины этого, приведенные Лэнгом, стоят того, чтобы на них остановиться.

Во вступлении к первому сборнику говорится о «детях, которым и для которых рассказаны эти

сказки». «Дети воплощают молодость человечества, — утверждает Лэнг. — Они любят то, что когда-то любили все люди, вера их не притупилась, а жажда чуда не иссякла... „Это правда?“ — вот великий вопрос, который задают дети», — добавляет он.

Я подозреваю, что понятия «вера» и «жажда чуда» здесь рассматриваются как однозначные или очень близкие. На самом деле они резко отличаются друг от друга, хотя, надо сказать, развивающееся человеческое сознание не сразу начало отделять жажду чуда от всеобъемлющей жажды всего на свете. Видимо, слово «вера» Лэнг употребляет в обычном смысле: вера в то, что вещь существует или событие может произойти в реальном (первичном) мире. Если это так, боюсь, что слова Лэнга, очищенные от сентиментального налета, означают лишь одно: тот, кто рассказывает детям истории о чудесах, с полным правом пользуется их *легковерием*, то есть недостатком опыта, из-за которого детям в определенных случаях трудно отличить факты от вымысла. А ведь это отличие — основополагающее и для нормального человеческого сознания, и для волшебной сказки.

Дети, конечно, способны *верить повествованию*, если мастерство его создателя достаточно высоко. Такое состояние сознания называют «добровольным подавлением недоверия». Но мне кажется, этот термин не слишком хорошо освещает сам феномен. Ведь происходит следующее: сказочник успешно «творит вторичный мир». Он создает такой вторичный мир, в который может войти ваше сознание. В пределах этого мира рассказанное — правда, поскольку согласуется с его законами. Поэтому пока вы внутри, вы верите. Но если волшебство (или, скорее, мастерство) не достигнет своей цели, моментально родится недоверие, и чары рассеются. Вы вновь в первичном мире и уже снаружи смотрите на маленький жалкий вторичный. Если по доброте душевной или под давлением обстоятельств вы останетесь в этом мире, недоверие необходимо подавить или даже удушить, чтобы он не стал невыносимым. Но подавление недоверия — лишь заменитель настоящего присутствия, что-то вроде маски, которую мы надеваем на карнавале, или попыток отыскать в произведении искусства, которое нам не нравится, какие-нибудь достоинства.

Настоящий любитель крикета во время игры зачарован — он испытывает «вторичную веру». Я же, наблюдая за игрой, нахожусь в менее выгодном положении. Я могу более или менее добровольно подавить недоверие, если уйти нельзя и найдется хоть что-нибудь, что не даст скучать, — например, необъяснимое геральдическое предпочтение, которое я отдаю синему цвету перед голубым. Стало быть, подавление недоверия может соответствовать усталому, издерганному или сентиментальному состоянию сознания, а значит — состоянию взрослому. По-моему, взрослые часто читают волшебные сказки именно в этом состоянии. Их удерживают на месте и укрепляют их решимость сентиментальные воспоминания о детстве или представления о том, каким должно быть детство. Они считают, что им положено наслаждаться. Но если бы сказка им действительно нравилась сама по себе, не было бы нужды подавлять недоверие: они бы просто верили — в том смысле, о котором я говорил.

Так вот, если бы Лэнг имел в виду что-нибудь в этом духе, в его словах, возможно, была бы доля правды. Ведь говорят, что детей легче зачаровать. Отрицать не берусь, хотя и не уверен в этом. По-моему, это иллюзия, которая часто встречается у взрослых. Вызвана она застенчивостью детей, недостатком у них критического опыта, бедным запасом слов и ненасытностью, обычной для растущего организма. Детям нравится почти все, что им дают. Если же им что-то не по вкусу, они не могут как следует выразить или объяснить свое недовольство и поэтому иногда его скрывают. Кроме того, они любят массу вещей без разбора, не очень-то задумываясь, насколько в них можно верить. Во всяком случае, я сомневаюсь, что это зелье — очарование хорошей волшебной сказки — может «выдохнуться» от частого употребления и потерять силу, если его выпить несколько раз.

«„Это правда?“ — вот великий вопрос, который задают дети», — пишет Лэнг. Они его действительно задают, причем отвечать нельзя, не подумав хорошенько^[50]. Но вряд ли этот вопрос доказывает «непритупившуюся» веру или даже желание ребенка знать, с каким видом литературы он имеет дело. Знания детей о мире взрослых часто столь скудны, что они не могут с ходу, без посторонней помощи, различить фантастическое, экзотическое, нелепое и просто «взрослое» (то есть обычные реалии мира родителей, большая часть которого ребенком еще не исследована). Но то, что такие классы явлений существуют, они знают, и бывает, им нравятся все одновременно. Конечно, они иногда сомневаются, что отнести к одному классу, а что к другому, но ведь и со взрослыми это случается. Каждый из нас, бывает,

колеблется, под какую рубрику поместить услышанное. Ребенок вполне может поверить, если ему скажут, что чудовища живут в другой стране; а уж на других планетах, по мнению большинства взрослых, если кто и живет, так обязательно ужасающие монстры.

Так вот, я был одним из детей, к которым обращался Лэнг: на свет я появился примерно в одно время с «Зеленой книгой сказок». Я один из тех детей, для которых, по мнению Лэнга, сказка — то же самое, что для взрослого роман. Это обо мне и моих сверстниках он писал: «Вкус у них остался таким же, как у наших голых пращуров, живших тысячи лет назад. Сказки им нравятся больше, чем история, поэзия, география и арифметика». Но что нам, собственно, известно о «голых пращурах» помимо того, что голыми они, безусловно, не были? Наши волшебные сказки, какими бы древними ни были некоторые их элементы, — это, конечно, не их сказки. И раз уж считается, что у нас есть сказки потому, что они были у «пращуров», то, вероятно, история, география, поэзия и арифметика у нас тоже есть потому, что нравились «пращурам» (в тех пределах, до которых науки и искусства могли развиваться в те времена, и в той мере, в которой они уже выделились из общего интереса человека ко всему на свете).

Ну а что до теперешних детей, описание Лэнга не совпадает ни с моими воспоминаниями о детстве, ни с моим взрослым опытом. Возможно, Лэнг неправильно оценивал своих знакомых детей. Если же он был прав, значит, дети сильно разнятся даже в узких границах Англии и объединять их в одну группу (не обращая внимания на личные способности, влияние места жительства и воспитания) неправомерно. Лично у меня не было особого «желания верить». Я хотел знать. А вера зависела от того, в каком виде до меня доходила сказка из уст старших или в записи автора, и от внутренних качеств самой сказки. Не помню ни единого случая, когда бы наслаждение сказкой зависело от веры, что описанное в ней может случиться или случалось в «реальной жизни». Волшебные сказки для меня тогда были связаны в первую очередь не с возможностью, а с желательностью. Если они пробуждали, а затем удовлетворяли желание, одновременно мучительно его углубляя, — значит, это были хорошие сказки. Здесь не стоит вдаваться в подробности, поскольку позднее я надеюсь остановиться на этом желании — комплексе множества составных частей (некоторые из них универсальны, другие касаются только современных людей, включая детей, а третьи — лишь определенных типов людей). Я не испытывал желания видеть сны Алисы и пережить ее приключения, так что рассказ о них меня только забавлял. Почти не было у меня и желания искать зарытые в землю сокровища и драться с пиратами, поэтому на меня не действовал «Остров сокровищ». С индейцами дело обстояло лучше, в рассказах о них были луки и стрелы (у меня до сих пор сохранилось совершенно не удовлетворенное желание хорошо стрелять из лука), и странные языки, и древние обычаи, и, главное, леса. Но еще лучше была страна Мерлина и Артура, а лучше всех стран — безымянный Север Сигурда из рода Вёльсунгов и князя всех драконов. Такой страны я желал превыше всего. Мне и в голову не могло прийти, что дракон и лошадь — существа одного порядка, и не только потому, что лошадей я видел каждый день, но никогда не встречал даже следа драконьей лапы [\[см. примечание Г\]](#). На драконе ясно выделялось клеймо: «Из Феерии». В каком бы мире он ни существовал, это был Другой Мир. Фантазия, создающая или позволяющая увидеть Другие Миры, для меня была самой сутью стремления к Феерии. Я страстно желал драконов. Конечно, я не был богатырем и вовсе не хотел, чтобы они появлялись по соседству и вторгались в мой сравнительно безопасный мирок, где можно было, к примеру, спокойно, никого не боясь, читать сказки [\[51\]](#). Но мир, в котором существовал хотя бы воображаемый Фафнир, становился богаче и красивее, несмотря на грозную опасность. Так житель мирной плодородной равнины может слушать о раскалывающихся утесах и бушующем море и стремиться к ним всем сердцем. Ибо сердце — кремень, даже если бьется в уязвимом теле.

Сейчас я, конечно, понимаю, как важен для меня волшебный элемент в первых прочитанных книгах. Но в раннем детстве любовь к сказкам вовсе не была для меня главной. По-настоящему я пристрастился к ним, лишь когда вышел из детской и прожил еще несколько казавшихся ужасно долгими лет — от момента, когда научился читать, и до того, как пошел в школу. В то время (чуть не написал «счастливое» или «золотое» — а ведь оно было печальным и полным тревог) мне не меньше, а то и больше сказок нравилось множество вещей: история, астрономия, ботаника, грамматика, этимология. На лэнговских обобщенных «детей» я походил только в мелочах, случайно: например, был нечувствителен к стихам и, если они попадались в сказках, пропускал их. Поэзию я открыл для себя гораздо позже в латинских и греческих образцах, особенно после того, как меня заставили переводить английские стихи на латынь. Настоящую же тягу к сказкам пробудило во мне языкознание на пороге зрелости, а война способствовала

расцвету этой страсти.

Вероятно, того, что я сказал по этому вопросу, более чем достаточно. По крайней мере, теперь ясно, что сказки не следует связывать *исключительно* с детьми. Сейчас сказки связывают с детьми, во-первых, естественно, так как дети — это люди, а людей сказки привлекают (хотя и не всех); во-вторых, случайно, потому что в сегодняшней Европе сказки составляют значительную часть литературного «хлама», рассованного по чердакам; в-третьих, противоестественно, из-за глупой сентиментальности по отношению к детям, которая, похоже, возрастает по мере того, как дети становятся все хуже.

Правда, эта вековая сентиментальность одарила нас несколькими великолепными книгами волшебного или почти волшебного содержания, которые, впрочем, особенно нравятся взрослым, а не детям, но одновременно она породила ужасную поросль историй, написанных или пересказанных для выдуманного взрослыми «уровня развития детского сознания и потребностей». Вместо того чтобы сохранять старые сказки, их смягчают и выхолащивают. Имитации же часто просто глупы, смахивают на историю Пигви́ггена, да еще и лишены интриги; еще чаще они грешат покровительственным тоном, или (это ужаснее всего!) авторы потихоньку насмеются над детьми, на потеху другим взрослым. Не буду обвинять в насмешках Лэнга, но он, несомненно, улыбался про себя и слишком часто через головы своих юных читателей следил за лицами «взрослых и умных людей». Это очень дурно повлияло на «Хроники Пантуфлии».

Дейсент справедливо и горячо отвергал обвинения ханжей, критиковавших его перевод норвежских сказок, — и сам же совершил невероятную ошибку, настрого запретив детям читать две последние сказки в сборнике. Почти невозможно поверить, что человек, изучавший сказки, способен на такую глупость. А ведь не понадобилось бы ни критика, ни ответов Дейсента, ни запрета, если бы не считалось — без всяких на то оснований, — что читателями книги будут дети.

Я не утверждаю, что Лэнг не прав, когда говорит (как бы сентиментально это ни звучало): «Тот, кто хотел бы войти в царство Феерии, должен иметь сердце ребенка». Сердце ребенка необходимо для любых славных приключений в королевствах и меньших и гораздо больших, чем Феерия. Но смирение и невинность, которые в данном контексте и обозначены как «сердце ребенка», вовсе не предполагают благоговейного приятия всего на свете без разбора. Честертон как-то заметил, что дети, с которыми он смотрел «Синюю птицу» Метерлинка, были недовольны тем, «что пьеса не кончается Страшным судом, и герой с героиней так и не узнают, что Пес — верный друг, а Кошка — предательница». «Ибо дети,— поясняет Честертон,— невинны и любят справедливость, тогда как мы греховны и, естественно, предпочитаем милосердие».

У Лэнга по этому вопросу — сплошная путаница. Он изо всех сил пытается защитить эпизод в одной из своих волшебных сказок, где принц Рикардо убивает Желтого Гнома. Лэнг пишет: «Я ненавижу жестокость... но это произошло в честном бою, с мечами в руках, и гном — мир его праху! — умер, как и жил». Однако неясно, чем этот «честный бой» милосерднее «праведного суда» и почему пронзить гнома мечом можно, а казнить жестоких королей и злых мачех нельзя! Но Лэнг от таких мер начисто отрекается, похваляясь тем, что отправляет преступников на отдых и назначает им солидный пенсион. Это — милосердие, не подкрепленное справедливостью. Впрочем, оправдания Лэнга были адресованы не детям, а родителям и опекунам, которым он рекомендовал «Принца Зазнайо» и «Принца Рикардо» как подходящее чтение для подопечных. Именно родители и опекуны отнесли волшебные сказки к «детской литературе». А в результате, как в приведенном примере, происходит подмена ценностей.

Если употреблять слово «ребенок» в хорошем смысле (а у него есть и плохой), вовсе не обязательно сентиментально использовать слово «взрослый» только в плохом смысле (у него есть и хороший). «Взросление» не обязательно означает «порчу», хотя часто эти процессы протекают одновременно. Детям на роду написано повзрослеть, а не остаться Питерами Пэнами. «Взрослеть» не значит терять невинность и способность изумляться, это значит — идти по назначенному пути. Смысл путешествия, конечно, не в том, чтобы идти и не терять надежду, а в том, чтобы добраться до цели (хотя без надежды до цели и не доберешься). Но один из уроков волшебных сказок (если можно говорить об «уроках» там, где некому читать мораль) заключается в том, что неоперившемуся, неуклюжему, себялюбивому юнцу опасности, печаль и тень смерти, встреченные в пути, могут придать достоинство, а иногда и мудрость.

Не надо делить человечество на элов и морлоков — на детей-ангелочков (в XVIII веке их часто называли эльфами — какой идиотизм!) с их тщательно причесанными сказками и на мрачных морлоков, обслуживающих машины. Если волшебные сказки вообще стоят того, чтобы их читали, так значит, стоят они и того, чтобы их читали взрослые и писали тоже для взрослых. Взрослые больше вложат в сказку и больше из нее извлекут. Тогда и у детей появится надежда, что на мощном древе сказочного искусства для них вырастет особая ветка, с которой они будут срывать для себя сказки по-настоящему захватывающие, но не выходящие за пределы их разумения. Хорошо бы такие же ветки других деревьев познакомили их с поэзией, историей и точными науками. Хотя, может быть, для них было бы полезнее читать такие книги, особенно сказки, которые не уже, а шире их разумения. Книги для детей должны быть на вырост, как одежда, но, в отличие от одежды, книги этот рост подстегивают.

Итак, к делу. Взрослые должны читать волшебные сказки как естественный литературный жанр и при этом не играть в детей, не притворяться, что выбирают сказку для сына, не прикидываться невзрослеющими мальчишками. В таком случае, какие же ценности несет сказка и каковы ее функции? Это, по-моему, последний и самый важный вопрос. Кое-какие ответы у меня есть, и я на них уже намекал. Прежде всего: если сказка написана хорошо, ее основная ценность будет того же рода, что и у произведений любого другого литературного жанра. Но кроме того, волшебная сказка дает читателю — и в этом ее особенность — Фантазию, Выздоровление, Побег и Утешение. Именно в них дети, как правило, нуждаются меньше, чем люди постарше. В наше время считается, что почти все эти вещи вредны. Я их вкратце рассмотрю, начиная с фантазии.

Фантазия

Человеческое сознание способно формировать мысленные образы того, чего на самом деле нет перед глазами. Способность создавать образы, естественно, называют (или называли) Воображением. Но в последнее время (в языке специальном, а не обиходном) Воображению приписывают более высокие функции, чем простое создание образов. Стали считать, что способность создавать мысленные образы следует называть вымыслом. Делается попытка — на мой взгляд, неправомерная — ограничить значение слова «воображение», придав ему такой смысл: «способность придавать идеальному внутреннюю логичность реальности».

Хотя в этом вопросе я не специалист и, возможно, не имею права на собственное мнение, все же осмелюсь сказать, что с точки зрения языка различие в значении слов определено неточно, а анализ небрежен. Способность сознания творить образы — это один аспект. Его по справедливости следует называть Воображением. Сам образ бывает более или менее ярким, сознание может в большей или меньшей степени ощущать его внутренние потенции и управлять ими, без чего не бывает удачного воплощения образа. Но все это — количественные, а не качественные различия. А вот достичь воплощения, которое придавало бы образу «внутреннюю логичность реальности»^[52], — уже другой аспект, для которого необходимо особое название. Я его назову Искусством. Это промежуточное звено, деятельность, которая связывает Воображение с конечным результатом — вторичным миром. Для моих теперешних целей требуется еще одно слово. Оно должно охватывать и Искусство творения вторичных миров как таковое, и необычайность, чудесность, перешедшие в воплощение образа из самого образа, — качества, необходимые для сказки. Поэтому я присвою способности Шалтая-Болтая и воспользуюсь словом «Фантазия». Я придаю ему смысл, в рамках которого его старое, высокое значение, синонимичное слову «Воображение», сочетается с производными: «нереальность» (то есть несоответствие первичному миру), свобода от власти эмпирических фактов, — короче говоря, «фантастика». Как видите, мне очень ко двору этимологическая и семантическая связь «Фантазии» с «фантастикой», то есть с образами не просто «того, чего нет перед глазами», а того, чего вообще не существует в первичном мире или не существует согласно общепринятому мнению. Но, признавая эту связь, я вовсе не считаю, что на Фантазию следует смотреть свысока. Появление образов несуществующего в первичном мире (если это вообще возможно) — не недостаток, а достоинство. Фантазия, на мой взгляд, — высшая, наиболее чистая и, следовательно, наиболее действенная форма Искусства.

Конечно, у Фантазии есть изначальное преимущество: она привлекает внимание своей необычностью. Но само это преимущество было обращено против Фантазии и внесло вклад в создание для нее дурной репутации. Многие не любят, чтобы их внимание привлекали. Им не нравится, когда что-либо вторгается в первичный мир или в узкие пределы их личного мирка. Из-за этого они по глупости или даже злонамеренно смешивают Фантазию со сновидениями, в которых нет Искусства^[53], и с неуправляемыми психическими расстройствами, болезненными видениями и галлюцинациями.

Но причина этого смешения — не только ошибка или злой умысел, порожденный неприязнью тех, кого Фантазия выбивает из колеи. У Фантазии есть и собственный существенный недостаток: ее возможности непросто реализовать. На мой взгляд, творческий потенциал Фантазии еще далеко не исчерпан. Во всяком случае, на практике обнаруживается, что достичь «внутренней логичности реальности» тем сложнее, чем больше образы и связи между ними отличаются от первичного мира. Новую «действительность» легче получить из сравнительно «умеренного» материала. Поэтому Фантазия слишком часто оказывается недоразвитой. Ее использовали и используют легкомысленно или полусерьезно; часто она применяется лишь для украшения, — другими словами, остается причудой. Ведь любой человек, унаследовавший фантастический дар человеческой речи, может сказать «зеленое солнце», а многие могут к тому же представить его себе или даже изобразить. Но этого мало — хотя, может быть, и эта малость уже несет в себе больше мощи, чем множество «зарисовок» и «жизненных наблюдений», отмеченных похвалами критики.

Сделать достоверным вторичный мир, в котором светит зеленое солнце, повелевать вторичной верой — вот задача, для выполнения которой понадобится и труд, и раздумья, и, конечно же, особое умение, род эльфийского мастерства. Мало кого не отпугнут эти трудности. Но если попытка сделана и

задача в какой-то степени решена, перед нами оказывается редкостное достижение Искусства — повествование, созданное так же, как создавались самые древние и самые мощные образцы.

В области человеческого искусства Фантазию лучше всего выражает словесность. В живописи, к примеру, написать фантастический образ технически совсем несложно, и потому рука стремится обогнать сознание, даже вообще обойтись без него [\[см. примечание Д\]](#). В результате часто получается глупость или болезненный кошмар. Что касается драмы, очень жаль, что этот род искусства обычно рассматривается как ветвь литературы, хотя на деле принципиально отличается от нее. Помимо всего прочего, от этого приходится солоно и Фантазии. Дело в том, что дурная репутация у нее (хотя бы отчасти) появилась из-за естественного стремления критиков превозносить тот вид литературы или Воображения, который они сами предпочитают от рождения или в результате образования. В нашей стране, которая славится своей драматургией и гордится театром Шекспира, критика, естественно, отдает излишнее предпочтение драме. А драма и Фантазия — явления несовместимые. Даже простейшую Фантазию в драме, поставленной на сцене, почти всегда ожидает провал. Фантастические образы нельзя подделывать. У актеров, переодетых говорящими животными, может получиться имитация или шутовство, но никогда не получится Фантазия. На мой взгляд, это хорошо видно на примере незаконнорожденной формы драмы — пантомимы. Чем она ближе к «инсценированной волшебной сказке», тем хуже. Терпеть ее можно, только если сюжет и его фантастические элементы представляют собой остаточное обрамление для фарса и от зрителей никто не требует и не ждет, чтобы они хотя бы немного «верили» в происходящее. Дело здесь, в частности, в том, что постановщики вынуждены (или, по крайней мере, пытаются) применять театральные машины, если хотят представить на сцене Фантазию или волшебство. Как-то раз я видел так называемую «пантомиму для детей». Это был «Кот в сапогах», представленный целиком, включая даже превращение великана в мышь. Если бы с помощью машин эта сцена была сыграна убедительно, она либо привела бы зал в ужас, либо была бы просто трюком высокого класса. На деле же, хотя сцена и сопровождалась замысловатыми световыми эффектами, зрителю, чтобы «подавить недоверие», пришлось бы этому недоверию выпустить кишки, повесить его и четвертовать.

Когда я читаю «Макбета», ведьмы мне не противны: они играют определенную роль в повествовании и окружены дымкой мрачной значимости, хотя и вульгарны не по-ведьмински (о несчастные представители своего рода!). Но в постановках они почти невыносимы и были бы совсем невыносимы, если бы меня не подкрепляли воспоминания о том, какими они представляются при чтении. Мне говорят, что я бы смотрел на них иначе, если бы мыслил как человек шекспировской эпохи с ее охотой на ведьм и процессами ведьм. Другими словами, если бы я считал, что ведьмы, весьма вероятно, существуют в первичном мире и не являются Фантазией. Это решающий аргумент. В драматическом произведении судьба Фантазии — раствориться в первичном мире или превратиться в шутовство, даже если его автор — Шекспир. В случае с «Макбетом» ему бы следовало вместо трагедии написать рассказ, если бы достало мастерства и терпения.

Есть, по-моему, и более важная причина, чем неубедительные сценические эффекты. Драма по самой своей сути использует фальшивое волшебство, своего рода суррогат волшебства: зритель видит и слышит воображаемых героев воображаемого рассказа. Это уже попытка воспользоваться поддельной волшебной палочкой. Ввести — пусть даже технически безукоризненно — в этот квазिवолшебный вторичный мир Фантазию или волшебство — значит попробовать создать внутри драмы третичный мир. Этот мир уже лишний. Может быть, это и достижимо, только мне ни разу не приходилось видеть, чтобы из этого что-нибудь вышло. Во всяком случае, нельзя утверждать, что создание третичности мира естественно для драмы. Ведь у нее свои средства воплощения Искусства и иллюзии — это актеры, которые разговаривают и рассказывают по сцене [\[см. примечание Е\]](#).

Вот по этой-то причине — из-за того, что в драме и герои, и даже обстоятельства действия зримы, а не воображаемы, — драма, хотя и использует один материал с литературой (слова, стихи, сюжет), принципиально отличается от повествовательного искусства. Поэтому, если вы предпочитаете драму литературе (как многие литературные критики) или формируете свои взгляды на литературу в основном под влиянием театральных критиков или даже под влиянием самой драмы, вы, скорее всего, неправильно поймете, что такое создание историй в чистом виде, и заключите его в рамки ограничений, справедливых для пьес. Например, вы предпочитаете героев, даже самых низменных и скучных, предметам. Ведь в пьесе

о дереве как таковом много не скажешь.

Совсем другое дело — «Феерийская драма», пьесы, которые эльфы, согласно многочисленным свидетельствам, часто показывали людям. В них Фантазия оживает с реализмом и непосредственностью, недостижимыми для грубой сценической машинерии. В результате их обычное воздействие на человека не просто создает вторичную веру. Если вы смотрите Феерийскую драму, то сами физически находитесь в ее вторичном мире. По крайней мере, вам так кажется. Это ощущение очень похоже на сновидение, и люди иногда их путают. Но в Феерийской драме вы находитесь внутри сна, сплетенного чужим сознанием, причем можете даже не подозревать об этом тревожном факте. Вы *непосредственно* воспринимаете вторичный мир, и это такое сильное зелье, что вы испытываете первичную веру, какими бы чудесными ни были происходящие события. Вы в плену иллюзии. Нужно ли это эльфам (всегда или иногда) — другой вопрос. По крайней мере, сами они свободны от иллюзии. Для них это — род Искусства, отличный от Чародейства и Волшебства в собственном смысле этих слов. Они не переселяются внутрь своей драмы, хотя, надо думать, могут себе позволить работать над ней дольше, чем люди. Первичный, реальный мир у эльфов и людей один и тот же, хотя они его по-разному воспринимают и оценивают.

Нам необходимо слово, чтобы обозначить это эльфийское мастерство. Но все слова, которыми его определяли, стали слишком многозначными, и им часто придают другой смысл. Первым приходит в голову «Волшебство», и я его в этом значении уже использовал ([с. 325](#)), но мне не следовало этого делать. Волшебством нужно называть действия волшебника. Искусство, в свою очередь, — деятельность человека, которая, кроме всего прочего, рождает вторичную веру (хотя это не единственная и не конечная цель Искусства). Эльфы тоже пользуются Искусством подобного рода, хотя в их руках оно отличается особым изяществом и легкостью, — по крайней мере, на это указывают свидетели. Но более действенное, специфически эльфийское мастерство я, за неимением более подходящего слова, буду называть Очарованием. Очарование создает вторичный мир, в который могут войти и создатель, и зритель. Пока они внутри, их чувства воспринимают этот мир как реальность. В чистом виде Очарование сродни Искусству по целям и устремлениям. В отличие от них, Волшебство изменяет первичный мир (или притворяется, что изменяет). Не важно, кто его применяет — фея или смертный. Все равно оно отличается и от Искусства, и от Очарования. Волшебство — это набор приемов; его цель — *власть* в нашем мире, господство над материей и волей живых существ.

Именно к эльфийскому мастерству, Очарованию, тяготеет Фантазия. Когда Фантазия хороша, она ближе к Очарованию, чем любая другая форма человеческого Искусства. В сердцевине многих человеческих рассказов об эльфах лежит видимое или скрытое, чистое или загрязненное примесями желание овладеть живым, действенным Искусством творения вторичных миров. Это желание, несмотря на внешнее сходство, внутренне не имеет ничего общего с жадным стремлением к личной власти, которое отличает волшебника. Сами эльфы во многом сотворены этим желанием, — точнее, их лучшая (но все же опасная) часть. От них-то мы и можем узнать, каково главное стремление человеческой фантазии, даже если они сами созданы Фантазией, — а может, именно поэтому. Это *желание творить*. Его не унять подделками, будь это невинные, хоть и неуклюжие, потуги драматурга или злонамеренный обман волшебника. В нашем мире это желание человек удовлетворить не может, и потому оно бессмертно. Если оно не подпорчено, ему не нужны ни иллюзии, ни колдовство, ни господство. Оно ищет совместного обогащения — не рабов, а товарищей, чтобы разделить с ними творчество и восторг.

Многим кажется подозрительной, если не противозаконной, Фантазия, это Искусство творения вторичных миров, которое играет странные шутки с миром, комбинирует существительные и перераспределяет прилагательные. Некоторые считают ее детской забавой, увлекательной только для несовершеннолетних людей и народов. Что до права Фантазии на существование, я просто процитирую небольшой отрывок из письма, когда-то написанного мною человеку, который называл мифы и сказки «ложью» (хотя, надо отдать ему справедливость, был так добр в своем заблуждении, что говорил о «лжи на серебряном блюде»):

«Мой милый сэр, — писал я, — не навек
Был осужден и проклят человек.
Пусть благодати ныне он лишен,
Но сохранил еще свой древний трон.

Ведь белый луч, через него пройдя,
Рождает семь цветов; они ж плодят
Живые образы — сознания дары.
Так он творит вторичные миры.
Пускай мы спрятали за каждый куст
Драконов, эльфов, гоблинов. И пусть
В богах смешали мы со светом мрак —
Мы обладаем правом делать так.
Как прежде, праву этому верны,
Творим, как сами мы сотворены».

Фантазия — естественная деятельность человека. Она ничуть не оскорбительна для Разума и тем более не вредит ему. Она не притупляет аппетита к научной истине и не мешает ее воспринимать. Напротив, чем острее и яснее разум, тем лучшие Фантазии он способен создать. Если бы вдруг обнаружилось, что человечество не желает знать истину или потеряло способность ее воспринимать, Фантазия бы увяла до той поры, пока люди не выздоровеют. Если с человечеством когда-нибудь случится подобное (а это не так уж невероятно), Фантазия погибнет и превратится в Болезненную Иллюзию.

Ибо творческая Фантазия основана на нелегальном признании, что в мире все вещи таковы, какими они выглядят при ярком свете солнца. Но признать факт не значит продаться ему в рабство. Таким же образом нонсенс стихов и повестей Льюиса Кэрролла был основан на логике. Если бы люди не отличали лягушку от человека, никогда не родились бы сказки о царевне-лягушке.

Конечно, Фантазией можно злоупотребить. Она может быть просто неудачей. Ее можно применить в дурных целях. Возможно, она даже способна лишить разума сознание, создавшее ее. Но что человеческое в нашем падшем мире от этого избавлено? Люди придумали не только эльфов. Они вообразили и богов — и поклонялись им, даже тем, которые были больше всего изуродованы пороками своих творцов. Но ведь ложных кумиров люди из чего только не создавали: из своих предрассудков, знамен, денег... Даже наука и социально-экономические теории требовали человеческих жертвоприношений! *Abusus non tollit usum*^[54]. Фантазия остается правом людей. Мы творим в меру наших способностей по способу, указанному нам. Ибо сами мы сотворены — и сотворены по образу и подобию Творца.

Выздоровление. Побег. Утешение

Напоминаю, многие считают волшебную сказку развлечением для малолетних. Может быть, наша собственная старость и старость нашего времени и вправду лишают нас соответствующих способностей ([ср. с. 351](#)). Но в основном эта идея порождена *изучением* волшебных сказок. Анализ так же плохо готовит к созданию или радостному восприятию сказок, как исторический обзор драматургии всех времен и народов — к посещению театра или созданию пьесы. Изучение даже чревато отчаянием. Ученый часто ощущает, что, затратив массу сил, он подобрал лишь несколько листьев Древа Сказок из бесчисленного множества, устилающего землю в Лесу Времени, и что многие из собранных листьев надорваны или засохли. Тем более бесцельным кажется подбрасывать в Лес новые листья. Да и кому под силу сотворить по-настоящему *новый* лист? Ведь с давних-давних пор людям известно, какая форма у листа, начиная с почки, как меняется его цвет с весны до осени!

Но на самом деле это не так. Семя дерева можно пересадить почти в любую почву, даже в такую продыmlенную (по выражению Лэнга), как в Англии. Весна не станет хуже оттого, что мы слышали о других веснах. Пусть они похожи между собой, но ведь с Сотворения мира и до Судного Дня не было и не будет двух одинаковых весен. Каждый лист дуба, ясеня или терновника — уникальное воплощение общей формы листьев. А кое-кто именно в этом году впервые заметит и узнает единственное в своем роде воплощение листа, хотя до него бесчисленные поколения уже видели, как на дубах распускаются листья. Мы не бросаем рисовать из-за того, что все линии либо прямые, либо кривые, не отказываемся от живописи, хотя «первичных» цветов только три.

Мы действительно стали старше в том смысле, что до нас многие поколения предков занимались и наслаждались искусством. Унаследованное от них богатство таит опасности: оно может наскучить или вызвать опасения быть неоригинальным. И тогда появится неприязнь к точному рисунку, изящному узору, чистому цвету или все сведется к простой перекомпоновке и переуглубленной разработке старых мотивов, искусной, но бездушной. Настоящий способ избежать оскудения искусства состоит не в том, чтобы сделать его намеренно нескладным, неуклюжим или бесформенным, не в том, чтобы изображать все мрачным или безжалостно-жестоким, не в том, чтобы смешивать цвета и из тонких оттенков получать однообразный серый цвет, и не в том, чтобы невероятно усложнять образы, доходя до нелепости и даже до бреда. Пока мы еще не бредим, нам нужно выздороветь. Мы должны вновь всмотреться в зелень. Пусть нас заново поразят (но не ослепят) синий, желтый, красный цвета. Нам нужно встретиться с кентавром и драконом, а потом неожиданно узреть, подобно древним пастухам, овец, псов, лошадей... но и волков. Выздороветь помогают волшебные сказки. В этом смысле только влечение к ним может сохранить или вернуть нам детский взгляд на мир.

Выздоровление (то есть возвращение к обновлению здоровья) — это воз-обновление ясного взгляда на мир. Чтобы не связываться с философами, я не говорю, что Выздоровление — способность «видеть вещи так, как нам предназначено (или было предназначено) их видеть» — как вещи, независимые от нас самих. Нам нужно вымыть окна. И тогда ясно увиденные вещи сбросят тусклую дымку, перестанут быть знакомыми и стертыми, освободятся от нашего чувства собственника. Фантастически преображать труднее всего хорошо знакомые лица. Так же сложно и увидеть их свежим взглядом, осознать, что они похожи и не похожи друг на друга, что все они — лица, но каждое из них уникально. Эта «стертость» — наказание за «присвоение». Вещи стертые или знакомые (в дурном смысле слова) — это вещи, которые мы на законных основаниях или мысленно присвоили. Мы говорим, что знаем их. Они когда-то привлекли нас своим блеском, цветом, формой, и мы их заграбастали, заперли под замок в сокровищницу, вступили в обладание и перестали на них смотреть.

Конечно, волшебная сказка — не единственное средство Выздоровления и не единственное профилактическое снадобье. Для этого достаточно и смирения. Кроме того, существует (особенно для смиренных) «Янйефок», или Честертонова фантазия. «Янйефок» — фантастическое слово, но его можно прочесть в любом городе Англии. Это слово «Кофейня» на стеклянной двери, увиденное изнутри заведения. Именно так прочел его Диккенс пасмурным лондонским днем. А позднее Честертон обозначил им странность в облике стертых вещей, вдруг увиденных под новым углом зрения. Большинство людей готово признать за этим видом «фантазии» право на существование, а материала для него всегда

предостаточно. Но действие его, на мой взгляд, ограничено, так как обретение свежего взгляда — его единственное достоинство. Слово «Янйефок» вдруг заставляет вас понять, что Англия — неведомая страна, затерянная то ли в глубинах прошлого, куда может ненадолго заглянуть лишь история, то ли в странном, туманном будущем, куда довезет только машина времени. Тогда вы замечаете в обитателях страны, в их обычаях и пристрастиях удивительные странности. Но на этом и кончаются возможности «Янйефока»: он может действовать только как временной телескоп, сфокусированный в определенной точке. Зато творческая Фантазия, которая занята другим делом (пытается создать что-то новое), может отпереть вашу сокровищницу и освободить все запертые там вещи, как птиц из клетки. Тогда сокровища обратятся в цветы и пламя, и вы поймете, что все, чем вы владели (или что знали), — суть вещи мощные и опасные, свободные и дикие, а не закованные в цепи — и что они не более принадлежат вам, чем являются вами.

Такому освобождению помогают фантастические элементы в несказочных стихах и прозе, даже если они использованы для украшения и встречаются от случая к случаю. Но гораздо сильнее действует волшебная сказка, построенная на Фантазии или вокруг нее: ведь Фантазия — сердцевина сказки. Фантазия создается из элементов первичного мира, но искусный ремесленник любит свой материал, знает и чувствует глину, камень, древесину, как может знать и чувствовать только творец. Когда был выкован Грам, миру явилось холодное железо; сотворение Пегаса облагородило лошадей; в ореоле славы предстали корни и стволы, цветы и плоды у Дерев Солнца и Луны.

Вообще сказки во многом (а лучшие из них — в основном) имеют дело с простыми, лежащими в основе всего вещами, не тронутыми Фантазией. Но эти простые вещи, помещенные в сказку, приобретают еще больший блеск. Ибо создатель рассказа, позволяющий себе «вольности» с Природой, — ее возлюбленный, а не раб. Именно в сказках я впервые познал мощь слов и чудесную природу вещей: камня, древесины, железа; дерева и травы, дома и огня, хлеба и вина.

В заключение я рассмотрю Побег и Утешение, которые, естественно, тесно связаны. Хотя волшебные сказки никоим образом не являются единственным способом Побег, в наше время они представляют собой одну из самых бросающихся в глаза, а кое для кого — и одну из самых возмутительных форм «эскапистской» литературы. Поэтому, говоря о сказках, будет не лишним сказать несколько слов и о значении, которое критики придают термину «Побег» (escape).

Я заявил, что Побег — одна из основных функций волшебной сказки, и поскольку против сказок я ничего не имею, ясно, что я не согласен с жалостливым и презрительным тоном, которым это слово (Побег) часто произносят. Жизнь за пределами литературной критики не дает для подобного тона никаких оснований. В той жизни, которую часто (хотя и ошибочно) называют реальной, Побег, очевидно, бывает весьма практичным шагом, иногда даже героическим. В реальной жизни бранить его трудно, если он удался. В критике, наоборот, считается, что Побег чем удачнее, тем хуже. У критиков явная путаница в голове, потому они и слова используют неправильно. Почему это вдруг достоин презрения человек, который, оказавшись в тюрьме, пытается из нее выбраться и пойти домой, а если ему это не удастся, говорит и думает не о надзирателях и тюремных решетках, а о других вещах? Внешний мир не стал менее реальным оттого, что заключенный его не видит. Критики пользуются неверным словом, с презрением говоря о Побеге. Они путают, и не всегда по неведению, Побег Заключенного и Бегство Дезертира. Точно так же партийный оратор мог бы навесить ярлык предательства на выезд из гитлеровского или какого-нибудь еще рейха или даже на критику этого государства. Литературные критики тоже, усугубляя путаницу, чтобы посрамить своих оппонентов, навешивают презрительный ярлык не только на Дезертирство, но и на истинный Побег и на часто сопутствующие ему Отвращение, Гнев, Осуждение и Восстание. Они не только не могут отличить Побег Заключенного от Бегства Дезертира, но, похоже, предпочитают соглашательство квислингов сопротивлению патриотов. Согласно такому мышлению, достаточно сказать: «Страна, которую ты любил, обречена», — и любое предательство будет прощено и даже прославлено.

Вот простой пример. Не упомянуть в рассказе (точнее, не выдвинуть как важную деталь) уличные электрические фонари, которые встречаются на каждом шагу, — это Побег. Но он почти наверняка проистекает из разумного отвращения к уродству и малоэффективности этого типичного порождения Эпохи Роботов, для создания которого понадобилось столько изобретательности и сложной техники. Фонари, может быть, не вошли в рассказ просто потому, что это плохие фонари, и один из уроков, которые

надлежит извлечь из рассказа, как раз и состоит в том, чтобы осознать этот факт. Но тут появляется розга критика. «Электрические фонари никуда не исчезнут», — заявляет он. В свое время Честертон справедливо заметил, что любая вещь, о которой говорят: «Никуда не исчезнет», в самом скором времени окажется дряхлой и безнадежно устаревшей. Вот рекламное объявление: «Научный прогресс, ускоренный нуждами военного времени, неумолимо продолжается... Многие устаревают на глазах, и уже сейчас можно предсказать новые разработки в области применения электричества». Сказано, как видите, то же самое, только более угрожающе. А потому на электрический фонарь можно просто не обращать внимания — такая это незначительная, преходящая вещь. Для сказок, во всяком случае, хватает более долговечных и значительных вещей — среди них, например, молния. Эскапист не так рабски подчиняется капризам переменчивой моды, как его оппоненты. Он не творит себе хозяев или богов из вещей, которые вполне разумно считать дурными, и не поклоняется им как неизбежным или даже «неумолимым». А у противников, всегда готовых его презирать, нет никаких гарантий, что он этим удовлетворится. Он может быть, поднимет людей, и они повалят фонари. Ибо у Побеге есть особое лицо, еще более ненавистное противникам, — это Противодействие.

Не столь давно я слышал — хоть это и звучит невероятно, — как один оксфордский чиновник заявил, что он «приветствует» скорое появление заводов-автоматов и рев самому себе мешающего автотранспорта, потому что все это приближает университет к «реальной жизни». Может быть, он имел в виду, что образ жизни в XX веке угрожающе быстро скатывается к варварству, и, если грохот машин раздастся на улицах Оксфорда, это послужит предупреждением: нельзя спасти оазис здравого смысла, просто отгородившись от пустыни неразумия, — необходимо настоящее наступление на нее, практическое и интеллектуальное. Но боюсь, что он говорил о другом. Во всяком случае, в этом контексте выражение «реальная жизнь» не соответствует требованиям научной точности. Мысль о том, что автомобили «более живы», чем, например, кентавры и драконы, весьма удивительна. А представление, что они «более реальны», чем, например, лошади, настолько абсурдно, что вызывает жалость. Воистину, как реальна, как изумительно жива фабричная труба по сравнению с вязом — устаревшей, нежизнеспособной мечтой эскаписта!

Со своей стороны, я не могу себя убедить, что стеклянная крыша вокзала «реальнее» облаков. Если же рассматривать ее как памятник культуры, она воодушевляет меня меньше, чем легендарный небесный свод. Переходный мостик на четвертую платформу мне неинтересен в сравнении с Биврестом, который охраняет Хеймдалль с рогом Гьяллархорном. В простоте душевной я не могу избавиться от ощущения, что проектировщики и строители железных дорог лучше бы использовали свои огромные возможности, если бы в их воспитании большую роль играла Фантазия. По-моему, волшебной сказке больше пристала степень магистра искусств, чем упомянутому университетскому деятелю.

Многое из того, что этот человек (как я предполагаю) и другие (безусловно) называли бы «серьезной» литературой — не более чем пьеса, разыгранная под стеклянной крышей рядом с городским плавательным бассейном. А вот волшебные сказки, хоть и изобилуют небывалыми существами, летающими в небесах или живущими в глубине морской, по крайней мере не учиняют «побег» от неба и моря.

Но оставим на минуту в стороне «фантастику». На мой взгляд, читатели и создатели сказок не должны стыдиться и Побеге в архаику. Пусть они предпочитают не драконов, а коней, замки, парусники, луки и стрелы. Пусть читают или повествуют не только об эльфах, но и о рыцарях, королях, священниках. Ибо в конце концов вполне возможно, что разумный человек, хорошенько подумав (вне всякой связи с волшебными сказками или рыцарскими романами), осудит такие «завоевания прогресса», как заводы, а также пулеметы и бомбы — их естественную и неизбежную (если можно так выразиться «неумолимую») продукцию. А ведь такое осуждение чувствуется уже в том, что «эскапистская» литература о них молчит.

«Жестокость и уродство современной европейской жизни (той самой «реальной жизни», которую мы должны приветствовать. — Дж. Р. Р. Т.) — это знак биологической неполноценности, недостаточной или неадекватной реакции на окружающую среду», — пишет Кристофер Доусон в книге «Прогресс и религия»^[55]. Самый невероятный замок, появляющийся из мешка великана в какой-нибудь немыслимой гэльской сказке, не только гораздо красивее завода-автомата, но также в самом прямом смысле гораздо реальнее. Почему нам нельзя бежать от «мрачной ассирийской» нелепости цилиндров и ужасающих

заводов, напоминающих заводы морлоков? Почему нам нельзя их осуждать? Ведь их осуждают даже самые большие «эскаписты» среди литераторов, научные фантасты. Эти пророки часто предсказывают, что мир грядущего будет похож на железнодорожный вокзал со стеклянной крышей (а многие из них, похоже, ждут этого не дожидаясь). Но, как правило, из их писанины гораздо труднее понять, чем будут *заниматься* люди в этом мире-городе. Они могут сменить «викторианские доспехи» на свободные одежды на молниях, но, похоже, свою свободу используют в основном для того, чтобы играть в осточертевшие механические игрушки, заставляя их двигаться все быстрее и быстрее. Судя по некоторым рассказам, они по-прежнему будут похотливыми, мстительными и жадными, а идеалы их идеалистов сведутся, самое большее, к великолепной мысли построить еще несколько таких же городов на других планетах. Вот уж действительно, век «прогрессирующих средств для достижения деградирующих целей»! Пораженные недугом современности, мы остро ощущаем и уродство наших творений, и то, что они служат злу. А это вызывает желание совершить Побег — не от жизни, а от современности, которую мы сами сделали непригодной для людей. Для нас зло и уродство нераздельно связаны. Нам трудно представить себе зло и красоту вместе. Страх перед прекрасной феей, прошедший через древние века, для нас почти неуловим. Но еще тревожнее то, что и добро оказывается лишенным присущей ему красоты. В Феерии можно, конечно, вообразить кошмарный замок чудовища (ибо зло, заключенное в чудовище, пожелает именно такого замка), но невозможно представить себе дом, выстроенный с доброй целью, — харчевню, постоялый двор, дворец добродетельного, благородного короля, — который был бы тошнотворно уродливым. А в наши дни все дома именно таковы, кроме зданий старой постройки.

Это, впрочем, недавно и, возможно, случайно появившийся аспект сказочного Побега. Правда, мы находим его и в сказках, и в рыцарских романах, и в других древних произведениях или произведениях о древности. Но многие из древних историй стали «эскапистскими» по своему звучанию только потому, что дошли до нас из времени, когда люди чаще всего были в восторге от творений своих рук, тогда как сейчас многие чувствуют отвращение к новым созданиям человека.

Однако есть другие, более глубокие аспекты Побега, всегда существовавшие в волшебных сказках и легендах. Есть вещи, от которых хочется бежать, более мрачные и ужасные, чем шум, вонь, безжалостность и экстравагантность двигателя внутреннего сгорания. На свете есть голод, жажда, нищета, боль, скорбь, несправедливость, смерть. И даже когда люди сталкиваются с этими несчастьями, существуют древние ограничения, которые в какой-то мере помогает обойти сказка, и старые желания и стремления (соприкасающиеся с самыми корнями Фантазии), которые она может по-своему удовлетворить и успокоить. Некоторые из них — просто странности и простительные слабости: например, желание плавать в глубинах моря свободно, как рыба, или стремление к бесшумному, грациозному, экономичному птичьему полету. Полет аэроплана — только подделка, поэтому человеческое желание летать как птица он удовлетворяет лишь изредка, когда смотришь с земли на самолет, парящий на огромной высоте: шум винтов заглушен свистом ветра, солнце ярко блестит на крыльях... Но это, в общем-то, уже воображаемый самолет, а не механизм для перелета на дальние расстояния. Есть желания и более глубокие, например, общаться с другими живыми существами. Это желание, такое же древнее, как Грехопадение, во многом породило мотив говорящих животных и других созданий в сказках и в особенности волшебную способность человека понимать их собственные языки. Именно здесь — корни этого мотива, а вовсе не в «заблуждениях», приписываемых первобытному сознанию, когда человек якобы «не отделял себя от зверей» [\[см. примечание Ж\]](#). Уже в глубокой древности отчетливо ощущалось отличие человека от животного. Но было и чувство, что это отличие — результат разрыва связей, и только мы несем груз вины за свою странную судьбу. Другие существа — как другие страны, с которыми человек разорвал отношения и видит их теперь только издалека, находясь с ними в состоянии войны или тревожного перемирия. Кое-кому из людей дарована привилегия совершать небольшие путешествия за границу; остальные поневоле довольствуются рассказами путешественников. Даже о лягушках приходится слышать из чужих уст. Говоря о довольно странной, но широко распространенной сказке «Король-лягушонок», Макс Мюллер вопрошал своим обычным чопорным тоном: «Как могла появиться на свет такая сказка? Можно надеяться, что люди во все века были достаточно просвещенными, чтобы понимать: женитьба лягушонка на королевской дочери — абсурд». Действительно, надеяться на это можно! Если бы было не так, сказка оказалась бы бессмысленной, так как она по сути дела основана на чувстве абсурдного. Фольклорное происхождение (или догадка о нем) здесь совершенно ни при чем. Фактически бесполезно говорить и о

тотемизме. Ведь ясно: какие бы обычаи и верования, касающиеся лягушек и колодцев, ни лежали в основе этой сказки, лягушачий облик в ней [\[56\]](#) сохраняется именно потому, что он совершенно не к месту, а женитьба абсурдна, даже отвратительна. Хотя, конечно, в вариантах, которые нас интересуют, — гэльских, немецких, английских — принцесса выходит замуж вовсе не за лягушонка: лягушонок — это заколдованный принц. А смысл сказки не в том, что лягушек можно считать подходящими супругами для людей, а в том, что необходимо держать слово, даже если это влечет за собой невыносимые страдания. Это требование, а также требование блюсти запреты действуют в Стране Фей повсеместно. Это одна из мелодий, которые играют эльфийские рога, — мелодия громкая и отчетливая.

И, наконец, существует самое древнее и глубокое желание — осуществить Великий Побег, Побег от Смерти. В сказках есть много примеров и способов этого Побега, — можно сказать, здесь присутствует истинно *эскапистский* дух или, я бы сказал, дух *блаженства*. Но подобные примеры и способы мы находим и в несказочной литературе (особенно навеянной наукой), и в научных и философских исследованиях. Сказки создают люди, а не феи. В эльфийских рассказах о людях наверняка часто говорится о Побеге от Бессмертия, но нельзя ожидать, чтобы *все наши* рассказы поднялись до эльфийского уровня. Все же это часто случается. Сказки немного рисуют так ярко, как тяжкую ношу бессмертия или, скорее, бесконечно повторяющегося жизненного цикла, к которому стремится «беженец». С давних пор и до наших дней сказка в особенности стремится преподать этот урок. Тема смерти, например, больше всего вдохновляла Джорджа Макдональда.

Но воображаемое удовлетворение древних желаний — не единственный аспект Утешения, которое дают волшебные сказки. Гораздо важнее Утешение Счастливой Концовки. Я даже рискнул бы утверждать, что в настоящей сказке счастливая концовка обязательна. Во всяком случае, скажу следующее: трагедия — истинная форма драмы, наивысшая реализация ее возможностей; для сказки же справедливо обратное утверждение. Поскольку соответствующего термина у нас, кажется, нет, я обозначу это «обратное» словом «эвкатастрофа» (от древнегреч. *eu* — хорошо и *katastrophē* — переворот, развязка). Эвкатастрофическое повествование — истинная форма сказки, наивысшая реализация ее возможностей.

Сказочное Утешение, радость от счастливой концовки — или, точнее, счастливой развязки, неожиданного радостного «поворота», ибо сказки никогда по-настоящему не кончаются [\[см. примечание 3\]](#), — вот одно из благ, которыми волшебная сказка особенно щедро оделяет людей. По сути своей это не радость Побега, не радость «беженца». В сказочном оформлении, в обрамлении Другого Мира эта радость — неожиданно и чудесно снизошедшая благодать, которая, может быть, больше никогда не возвратится. Она не отрицает существования «дискатастроф» (несчастных развязок), скорби и несбывшихся надежд: ведь без них невозможна радость избавления. Но она отрицает (если хотите, вопреки множеству фактов) всеохватное окончательное поражение и в этом смысле является *евангелием* (благой вестью), дающим мимолетное ощущение Радости вне стен этого мира — Радости острой, как горе.

Хорошая волшебная сказка тем и отличается, что о каких бы невероятных и ужасных событиях и приключениях она ни рассказывала, — когда наступает «поворот», и у детей, и у взрослых перехватывает дыхание, сильнее бьется сердце, а на глаза наворачиваются слезы. Силой эмоционального воздействия она не уступает другим литературным жанрам, причем это особое воздействие, характерное именно для сказки.

Иногда даже современные сказки достигают этого эффекта. Сделать это нелегко: он зависит от всей сказки целиком, а не только от одного поворота, но зато и сам озаряет своим блеском всю сказку. Если эффект хотя бы частично достигнут, значит, сказочника не постиг провал, пусть даже его создание изобилует недостатками и путаницей. Вот, к примеру, отнюдь не блестящая во многих отношениях сказка Эндрю Лэнга «Принц Зазнайо». Когда мы читаем: «...Каждый рыцарь по очереди оживал вместе со своим конем и кричал, потрясая мечом: „Да здравствует принц Зазнайо!“» — в нашей радости есть особый привкус, роднящий сказку с мифом. Дело не в самом описанном событии, а в том, что оно в сказочно-фантастическом отношении более серьезно, чем все остальное в «Принце Зазнайо». В целом эта сказка, скорее, легкомысленна, у нее на губах играет насмешливая улыбка галантной, изысканной *conte* (французской сказки). Если бы в «Принце Зазнайо» не было контраста между легкомыслием сказки и серьезностью «поворота», не было бы и «привкуса мифа» [\[57\]](#). Еще более ощутимое и мощное воздействие оказывает полностью серьезный рассказ о Феерии [\[58\]](#). В таких сказках, когда наступает неожиданный

«поворот», ткань повествования словно взрывается, наружу устремляется сияние — и нас пронзает радость, будто исполнились все заветные желания.

«Семь долгих лет жила я для тебя,
Я ноги белые сбивала для тебя,
Кровь из рубашки отжимала для тебя.
Теперь очнись! Взгляни же на меня!

Он услышал — и взглянул на нее». («Норвежский черный бык»).

Эпилог

Радость, которую я считаю характерной чертой, «клеямом» настоящей волшебной сказки (и рыцарского романа), заслуживает более подробного рассмотрения.

Вероятно, каждый писатель, создающий вторичный мир, Фантазию, желает в какой-то мере быть творцом реальности или использовать ее элементы. Он надеется, что характерные особенности его вторичного мира (если не все детали^[59]) выведены из реальности или вливаются в нее. Если он действительно достигает в произведении качества, которое хорошо описано словарным определением «внутренняя логичность реальности», трудно представить себе, чтобы это произведение не соприкасалось каким-либо образом с реальностью. Соответственно, «радость» в успешно созданной Фантазии можно объяснить как неожиданное видение скрытой реальности или истины. Эта «радость» — не только Утешение для горестей мира, но и удовлетворение, и ответ на вопрос: «Это правда?» Мой первый (и вполне справедливый) ответ был: «Да, если ты выстроил свой маленький мир хорошо, значит, это правда в твоём мире». Этого достаточно для художника, — во всяком случае, для той части его натуры, которая заведует Искусством. Но эвкатастрофа в один краткий миг разворачивает перед нами более возвышенный ответ — далекое сияние, эхо *евангелия* в реальном мире. Пользуясь словом «евангелие», я даю понять, о чем буду говорить в эпилоге. Это вопрос серьезный и опасный. С моей стороны самонадеянно касаться такой темы. И если то, что я с Божьей помощью выскажу, в каком-то отношении правильно, — это, несомненно, лишь одна грань баснословно богатой истины, конечной лишь постольку, поскольку конечны способности Человека, которому она дана.

Я осмелюсь сказать, что, рассматривая с этих позиций историю Христа, я уже давно чувствую (и чувствую с радостью): Господь искупил грехи людей (существ, способных творить, но падших) именно таким путем, который соответствовал этой стороне (как, впрочем, и другим) их странной природы. В Евангелиях содержится волшебная сказка или, скорее, всеобъемлющий рассказ, вмещающий в себя суть всех волшебных сказок. В них (Евангелиях) есть множество чудес, отмеченных высоким Искусством^[60], прекрасных и трогательных, «мифических» в своей совершенной, самоценной значимости. И среди них — величайшая и наиболее полная эвкатастрофа, какую только можно себе представить. Но этот рассказ вошел в историю и в первичный мир. Вместо стремления творить вторичные миры перед нами — исполнившееся Сотворение мира первичного. Рождество Христово — эвкатастрофа истории человечества. Воскресение — эвкатастрофа истории Воплощения. Рассказ начинается и кончается Радостью. Он в высшей степени обладает «внутренней логичностью реальности». Верить в него люди хотят больше, чем в любой другой рассказ. Нет другого такого рассказа, который столькие скептики признали бы истиной за его собственные достоинства. Он убеждает, ибо говорит голосом Первичного Искусства — Сотворения. Отвергать его — значит прийти либо к скорби, либо к гневу.

Нетрудно представить себе, что особенное возбуждение и радость можно почувствовать, если исключительно прекрасная волшебная сказка окажется истиной в первичном мире, а ее сюжет — историческим, и если при этом сказка не потеряет мифической и аллегорической значимости. Нетрудно, потому что при этом нет необходимости представлять себе что-то совсем незнакомое. Радость будет точно такой же по характеру (разве что более сильной), как радость от «поворота» в сказке, потому что «сказочная» Радость пахнет истиной первичного мира. Иначе она не звалась бы радостью. Она полна ожидания Великой Эвкатастрофы (или воспоминаний о ней: в данном случае различие несущественно). Христианская радость, Gloria, сродни ей, но невероятно (я бы сказал — бесконечно, если бы наши способности не были конечны) высока и полна счастья. Рассказ о Христе выше всех прочих, и то, что в нем говорится, — правда. Реальность подтвердила Искусство. Господь — владыка ангелов, людей... и эльфов. Легенда и история встретились и слились.

Но в Царстве Божием великое не подавляет малое. Спасенный человек — по-прежнему человек. Сказка и Фантазия по-прежнему существуют и должны существовать. Благовествование не искоренило, а осватило легенды, в особенности счастливую концовку. Христианин должен, как и раньше, трудиться духом и телом, страдать, надеяться и умереть. Но теперь он может осознать, что все его способности и стремления существуют ради святой цели. Милость, которой он удостоен, столь велика, что он не без оснований осмеливается предположить: его Фантазия действительно помогает расцвету и многократному

обогащению мироздания. Все сказки могут воплотиться в жизнь. Но в конце, пройдя очищение, они станут такими же похожими и непохожими на формы, которые мы им придаем, как Человек, спасенный во веки веков, будет похож и непохож на падшее существо, знакомое нам.

Примечания

А

В такие истории «чудеса» включаются и используются в сатирических целях. Мотив сновидения в них — не просто прием для оформления завязки и развязки: он постоянно ощущается и в самом действии. Все это вполне может нравиться детям, если им не мешать. Но если «Алиса» представлена им как волшебная сказка (а мне и многим-многим другим детям ее представили именно так), мотив сновидения вызывает внутренний протест. А вот в «Ветре в ивах» Кеннета Грэма нет даже намека на сон. Сказка начинается так: «Крот учинил весеннюю уборку в своем домике и все утро трудился не покладая рук», — и этот верно выбранный тон сохраняется до конца повести. Тем более странно, что А. А. Милн, восторженный почитатель этой прекрасной книги, предпослал своему переложению «Ветра в ивах» для сцены «игрушечный» пролог, где ребенок беседует по телефону с нарциссом. Впрочем, может, это не так уж и странно, поскольку толковый почитатель, в отличие от восторженного, ни за что не стал бы переделывать повесть для сцены. Перенести в пьесу возможно лишь самые простые элементы книги — то, что в ней есть от пантомимы и сатирической сказки о животных. Правда, пьеса (конечно, не на уровне высокой драматургии) получилась довольно сносная, особенно для тех, кто книгу не читал. Но дети, которых я водил на «Мистера Жаба из Жабьей Усадьбы» (так называется переложение Милна), запомнили главным образом тошноту, вызванную прологом. В остальном они предпочитали полагаться на воспоминания о книге.

Б

Несомненно, эти элементы и появились-то в сказках, как правило, именно из-за своей повествовательной ценности, *даже если в те дни их можно было наблюдать и в жизни*. Допустим, я написал рассказ, в котором некоего человека казнят через повешение. Если рассказ не будет забыт — а это, кстати, уже само по себе означает, что он обладает какой-то общезначимой ценностью, важен не только для определенного места и времени, — так вот, если рассказ не будет забыт, через несколько столетий *можно будет предполагать*, что он написан во времена, когда отправление правосудия действительно включало в себя казнь через повешение. Конечно, это будет только предположение: сделать безусловный вывод на основании одного рассказа невозможно. Чтобы избавиться от сомнений, будущему исследователю потребуется точная информация, когда практиковалось повешение и когда жил автор. Ведь я мог заимствовать этот мотив из другой эпохи, другой страны или другого рассказа; я, наконец, мог его просто придумать. Но даже если я действительно был современником повешения, сцена казни в рассказе, попавшем в руки грядущего критика, будет присутствовать лишь при соблюдении двух условий: 1) я должен был почувствовать, что сцена повешения внесет в рассказ ощущение трагизма или ужаса, и 2) те, кто будет пересказывать его после меня, тоже должны ощущать трагизм и ужас этого эпизода, чтобы не выкинуть его из рассказа. Может быть, сама временная дистанция, отделяющая людей будущего от этого древнего и чуждого обычая, заострит и трагизм, и ужас. Но для этого нужно иметь, что заострять, иначе даже эльфийский оселок (древность и чуждость) окажется бесполезным. Поэтому, скажем, нет ничего более бессмысленного, чем спрашивать об Ифигении, дочери Агамемнона: приносились ли еще человеческие жертвы, когда зародилась легенда о ее жертвоприношении в Авлиде? Ответ на этот вопрос ничего не решает.

В начале этого примечания я оговариваюсь: «Как правило», — так как, вполне возможно, то, что мы воспринимаем сейчас как рассказ, историю, сказку, когда-то создавалось с совершенно иной целью: служить хроникой события или ритуала. Именно хроникой в точном смысле слова, потому что, например, рассказ, созданный для объяснения того или иного ритуала (полагают, что их немало), — это все-таки прежде всего рассказ. Он обладает повествовательной структурой и живет дольше ритуала именно потому, что представляет ценность как повествование. Если же говорить о хронике, то в ней могут встречаться детали, которые сейчас привлекают внимание своей необычностью, но когда-то были такими привычными и повседневными, что попадали в текст как бы сами собой. Так мы говорим о человеке, что он «приподнял шляпу» или «поспел на поезд». Но такие «привычные» детали ненадолго переживают изменения повседневного поведения — во всяком случае, в период устного бытования историй. С другой стороны, при письменном бытовании (когда, кстати, и повседневное поведение изменяется быстрее) история может достаточно долго оставаться неизменной, чтобы даже «привычные» детали в ней стали восприниматься как странные и причудливые и тем самым приобрели повествовательную ценность. Такое воздействие на читателя сейчас оказывают многие книги Диккенса. Вы можете открыть его роман, который впервые был куплен и прочитан, когда он в точности соответствовал повседневной жизни, — и убедиться, что «привычные» детали в нем так же далеки от современности, как елизаветинская эпоха. Но все это относится уже к нашему времени. Материалы, которые изучают антропологи и фольклористы, сформировались при других условиях. Эти ученые имеют дело с бесписьменной традицией и поэтому тем более должны понимать, что их материалы создавались прежде всего как рассказы и дошли до наших дней именно потому, что обладали повествовательной ценностью. «Король-лягушонок» — не символ веры и не учебник по тотемизму, а рассказ о необычайном с отчетливой моралью.

В

Насколько мне известно, дети с рано проявившейся тягой к писательству вовсе не отдают волшебным сказкам какого-то предпочтения, если им известны и другие литературные жанры. Скажу больше: сказки получают у них хуже всего. Это трудный жанр. К чему пишущие дети особенно склонны, так это к сказкам о животных, которые взрослые часто путают с волшебными сказками. Лучшие из детских рассказов, которые мне доводилось читать, либо были «реалистическими» (во всяком случае, таково было намерение автора), либо повествовали о зверях и птицах — по существу, о зооморфных людях, обычных персонажах басни. По-моему, этот жанр дети так часто используют потому, что он позволяет рассказывать о хорошо знакомых домашних событиях и разговорах, то есть опять-таки склоняется к «реализму». Однако сама жанровая форма сказки о животных или басни, как правило, подсказана или навязана взрослыми. Любопытно, что она сейчас очень часто встречается и в хорошей, и в плохой «литературе для детей». Должно быть, взрослым кажется, что басни хорошо согласуются с «естественной историей» — полунучными книжками о зверях и птицах, которые тоже считаются подходящей диетой для детей. А отряд поддержки составляют медведи и кролики, совсем, похоже, изгнанные из детской обычных кукол. Дети ведь часто слагают целые саги, длинные и сложные, о своих куклах. Раз кукла — медведь, то и в саге будут действовать медведи, но говорящие по-человечьи.

Г

С зоологией и палеонтологией («для детей») я познакомился в то же время, что и с Феерией. Мне показали картинки с изображением современных зверей и когда-то живших (как мне объяснили) доисторических животных. Доисторические мне понравились больше. Они, по крайней мере, жили очень давно. Кроме того, в любой гипотезе (если для нее не хватает доказательств) присутствует хотя бы слабый отблеск Фантазии. Но вот когда мне стали объяснять, что эти существа и есть «драконы», мне это оказалось совсем не по нраву. До сих пор чувствую детское раздражение, вспоминая, как меня поучали родственники (или подаренные ими книжки): «Снежинки — алмазы фей», «Снежинки прекраснее алмазов фей», «Чудеса океанских глубин превосходят чудеса Страны Фей» и т. д. Дети прекрасно чувствуют разницу между нашим миром и Феерией, хотя и не могут выразить ее в словах. От взрослых они ждут, чтобы те хотя бы признали эту разницу, раз уж не могут ее объяснить, а взрослые ее начисто отрицают или предпочитают не замечать. Я вовсе не был слеп к красоте Реальных Вещей, но не хотел, чтобы меня сбивали с толку, смешивая ее с чудесной природой вещей Другого Мира. Мне было интересно узнавать новое о природе, — пожалуй, даже интереснее, чем читать многие волшебные сказки. Но мне не хотелось, чтобы у меня обманом отобрали Феерию и завлекли меня в Науку люди, которые, похоже, считали, что некий первородный грех заставляет меня предпочитать сказки, в то время как некая новая религия требует, чтобы меня принудили любить науку. Конечно, природу можно изучать всю жизнь (а тем, кому дарована вечная жизнь — всю вечность). Но часть человеческого сознания не является «природной», а потому и не обязана природу изучать — и, кстати, изучение природы ее, эту часть, абсолютно не удовлетворяет.

Д

Так, в сюрреалистической живописи обычно есть нечто болезненное и неуклюжее, что крайне редко бывает в литературных фантазиях. Конечно, часто эта болезненность присуща самому сознанию, породившему запечатленные на холсте образы, но так бывает не всегда. Случается, что сам процесс создания подобных картин выбивает сознание из равновесия и приводит в болезненное состояние, подобное состоянию человека, пылающего в жару, когда сознание придает злобещий и гротескный облик всему окружающему.

Я говорю здесь, конечно, о прямом выражении Фантазии в изобразительном искусстве, а не иллюстрациях к книгам и не о кино. Иллюстрации сами по себе могут быть очень хороши, но сказке они пользы не принесут. Принципиальное отличие всех родов искусства, создающих *зримый* образ (в том числе и драмы), от литературы в том, что они навязывают зрителю единственно возможное воплощение образа. Литература же воздействует не на зрительный центр мозга, а прямо на сознание и поэтому допускает большее разнообразие. Она достигает одновременно и большей обобщенности, и более яркой конкретности образа. Упоминание о хлебе, вине, камне или дереве охватывает все множество этих объектов, выраженное их общей идеей, но каждый слушатель в своем воображении придаст им конкретные, зависящие лично от него воплощения. Допустим, в рассказе говорится: «Он съел кусок хлеба». Режиссер или художник продемонстрирует этот кусок в соответствии со своим вкусом или капризом. Но каждый, кто *услышит* рассказ, подумает о хлебе вообще и представит его себе по-своему. Другой пример. Иллюстратор, прочитав в рассказе: «Он поднялся на холм, и перед ним открылась река, текущая в долине», постарается и, возможно, сумеет передать в рисунке собственное видение этого пейзажа. Но каждый *слушатель* увидит пейзаж по-своему, создаст его из всех когда-либо встреченных холмов, рек и долин, и особую роль в этом созидании будут играть Холм, Река и Долина, когда-то впервые воплотившие для него эти понятия.

Е

Конечно, я веду речь в основном о фантастических персонажах и событиях, зримо представленных на сцене. Совсем другое дело, когда событие, созданное Фантазией или произошедшее в Феерии, не требует при постановке театральной машинерии или вообще переносится за сцену, а сама драма касается его последствий для людей. В этом случае драма, собственно, не является Фантазией: на сцене действуют люди, на них и сосредоточено все внимание. Драмы такого типа (примером могут служить некоторые пьесы Дж. Барри) могут быть развлекательными, сатирическими или нести людям определенную положительную идею драматурга. Драма всегда антропоцентрична, а волшебная сказка и Фантазия — далеко не всегда. Существует, например, масса историй о том, как люди пропадали и много лет проводили среди фей, не замечая течения времени и внешне не старея. На эту тему Барри написал пьесу «Мэри-Роуз». Феи в ней не появляются, зато люди, терзаемые ужасными муками, присутствуют постоянно. Даже в печатном варианте пьесу нелегко читать без слез, несмотря на то, что в концовке сентиментально лучится звезда и звучат ангельские голоса. На сцене же (я это сам видел) она вообще вызывает ужас, поскольку «голоса ангелов» заменяются зовом эльфов. Несценические волшебные сказки на эту тему тоже могут порождать в слушателе жалость и ужас постольку, поскольку они касаются страдающих людей. Но это совершенно не обязательно. Ведь в большинстве сказок на равных правах присутствуют и феи, а в некоторых — именно на них и концентрируется внимание. Многие короткие фольклорные рассказы о таких происшествиях — своего рода «свидетельства», входящие как составная часть в накопленные за много веков «знания» о феях и их образе жизни. Страдания людей, столкнувшихся с ними (кстати, часто по своей воле), в этом случае видятся в совершенно иной перспективе. Можно написать драму о страданиях жертвы несчастного случая при исследовании радиоактивности, но попробуйте-ка написать ее о радиации! Но ведь бывает, что человек интересуется радиацией, а не физиками-ядерщиками — или Феерией, а не муками смертных в Феерии. В первом случае этот интерес породит ученый труд, во втором — волшебную сказку. Драма же в обоих случаях бессильна.

Ж

Невероятных «заблуждений» хватает и у сегодняшнего опустившегося и обманутого человека. А вот утверждение, что «первобытный человек не отделял себя от зверей», — не более чем гипотеза. Ничем не хуже противоположный тезис, согласно которому первобытный человек отделял себя от зверей лучше нас с вами. Последнее суждение, кстати, больше согласуется с теми немногими памятниками, которые запечатлели соображения древних людей по этому вопросу. Существование древних фантазий, где антропоморфные образы сливались с зооморфными и животные наделялись человеческими качествами, естественно, если что и доказывает, то как раз способность отличить человека от зверя. Ведь Фантазия, творя иную реальность, опирается на четкую картину первичного мира и вовсе не склонна ее затуманивать. Если ж говорить о современной европейской культуре, то в ней способность отделять человека от животного подвергается угрозе не со стороны Фантазии, а со стороны научных теорий. На нее пошла войной не рассказы о кентаврах, оборотнях и заколдованных медведях, а гипотезы (или догматические домыслы) ученых мужей, объявивших человека не просто «животным» — это верное определение появилось еще в древности, — а «животным, и только». На свет тут же появилась особая извращенная чувствительность. Естественная любовь не совсем испорченного человека к животным и желание «почувствовать себя в их шкуре» вырвались на волю и принялись буйствовать. Многие теперь любят животных больше, чем людей. Они так сострадают бедным овечкам, что пастух для них — чудовище жестокости, вроде волка. Они готовы лить слезы над трупом кавалерийской лошади, но тело павшего солдата оросят разве что ушатом грязи. Потому-то я и говорю: не древние в дни зарождения волшебной сказки, а мы, современные люди, не можем «отделить себя от зверей».

3

Формула завершения сказки «стали жить-поживать да добра наживать», которую обычно считают такой же типичной, как начальную формулу «в некотором царстве, в некотором государстве», — не более чем искусственный прием. Ее никто не принимает всерьез. Такие концевые формулы можно сравнить с полями или рамами живописных полотен. Считать, что с произнесением формулы сказка действительно закончилась, вырывать ее тем самым из единого Сплетения Историй — все равно что считать, будто пейзаж, изображенный на картине, кончается рамой, а огромный мир — оконным стеклом. У разных картин бывают разные рамы: гладкие, резные, золоченые. Так же различны и формулы завершения сказки: краткие и длинные, простые и экстравагантные. Их искусственность бросается в глаза, но они необходимы сказке, как рама — картине: «Много воды с тех пор утекло, а они все живут да хлеб жуют», «Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец», «Стали жить-поживать да добра наживать», «Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало...»

Такие концовки подходят именно для волшебных сказок, потому что в сказках ощущение безграничности Мира Историй проявляется куда ярче, чем в современных «реалистических» рассказах, запакованных в узкий мирок своего времени. Концовка сказки как бы делает надрез в бесконечном ковре, что и отмечается формулой, порою даже гротескной или комической. Современное искусство иллюстрации под влиянием фотографии отказывается от полей, и рисунок все чаще занимает лист бумаги целиком. Может быть, фотографические работы так и следует оформлять. Но это совершенно негодный метод для иллюстраций к сказкам или для картин, вдохновленных сказками. Заколдованному лесу необходимы поля, а еще лучше — тщательно выписанная рамка. Отпечатайте его на всю страницу, как фото Скалистых гор в «Пикчер пост», — и получите нелепое издевательство над сказкой — «моментальный снимок Страны Фей», «набросок нашего художника-корреспондента с натуры».

Из *начальных* же сказочных формул лучшая, по-моему, — «давным-давно». Она сразу же оказывает определенное воздействие на слушателя. Характер этого воздействия можно оценить на примере волшебной сказки «Ужасная голова» из «Синей книги сказок». Это история Персея и Горгоны в пересказе Э. Лэнга. Она начинается словами «давным-давно» и не называет ни точное время, ни страну, ни имена персонажей. Такую обработку можно назвать «превращением мифа в волшебную сказку», но я бы выразился иначе: это превращение «высокой волшебной сказки» (греческая легенда именно такова) в так называемую «бабушкину сказку» — особый тип, характерный сейчас для нашей страны. Отсутствие имен в «Ужасной голове» — случайность, которой не стоит подражать: вызвана она забывчивостью и недостатком мастерства, и сказка становится от этого хуже. А вот временная неопределенность, по-моему, — совсем другое дело. Она не обедняет начало сказки, а придает ему особую значимость. Одним мазком кисти формула «давным-давно» рождает ощущение огромного неисследованного океана времени.

1

Св. Эгидиус — покровитель калек и прокаженных; *Агенобарбус (лат.)* — «рыжебородый». *Юлиус Агрикола* — ср. имена императора Юлия Цезаря и римского полководца Кнея Юлия Агриколы. («Агрикола» также значит «землепашец», «фермер».) *Хэм (англ.)* — «ветчина», «окорок» (*прим. ред.*).

2

Гарм — в кельтской мифологии — пес, стерегущий врата ада.

3

Оксенфорд (англ.) — бычий брод. *Четыре мудрых грамотея* — издатели «Оксфордского словаря английского языка», откуда и взято толкование слова (*прим. ред.*).

4

Комический эффект достигается смешением имен разных римских императоров и титулов правителей древности: *тиран* — правитель в Древней Греции. *Базилевс* — император Византии (*прим. ред.*).

5

Хризотилакс (*греч.*) — золотолуб (*прим. ред.*).

6

Кверцетум — от лат. *quercus*, *Окли* — от англ. *oak*. И то и другое значит «дуб» (*прим. ред.*).

7

Ср. имя римского полководца Фабия Кунктатора (Медлительного) (*прим. ред.*).

8

На самом деле день св. Хилариуса (от греч. *hylari* — веселый) приходится на 13 января, а день Св. Феликса (от лат. *felix* — счастливый) на 25 февраля (*прим. ред.*).

9

Envoi (*фр.*) — посылка. Так называлась завершающая часть средневековой баллады (*прим. ред.*).

10

Английское слово «niggle» переводится примерно как «мелочь», «кроха». Глагол «to niggle» означает «мелочиться». «Parish» — «приход» (церковный). (При этом Пэриш — достаточно распространенная английская фамилия.) Поэтому английский текст в принципе оставляет возможность истолковать название «Ниггль-Пэриш» («Niggle-Parish») как «Приют для малых сих» или, если переводить только вторую часть, — «Нигглев Приход». Однако никаких оснований считать это толкование единственно верным и навязывать его читателю нет (*прим. перев.*).

11

Следует отметить, что здесь перевод имен и названий согласован с переводом «Властелина Колец» М. Каменкович и В. Каррика (*прим. перев.*).

12

Лэфнуи, Мортонд — Кирил — Рингло, Гилраин — Сернуи и Андун.

13

Изначально так звали одну из гондорских принцесс, к которой, кстати, по Южной линии восходит род Арагорна. Точно так же назвала свою дочь Эланор, дочь Сэма. Однако хоббитами это имя позаимствовано, скорее всего, из приводимого стихотворения, ибо больше ему неоткуда было взяться на Западе.

14

Фириэль по-эльфийски означает «смертная» (*прим. перев.*).

15

Городьба — небольшой причал на северном берегу Ивьего Вьюна. Он находился за пределами Осеки и потому тщательно охранялся и был защищен частоколом, который уходил прямо в воду. Брередон (Шиповный Холм) — деревушка, стоявшая за причалом на узкой косе между концом Осеки и Брендивином. Место при впадении Засельской речки в Брендивин называлось Митом — там находился причал, откуда шла тропа до Вьедлингов и дальше, до самого Тракта, через Бугорок и Амбары.

16

Вероятно, так называли его именно хоббиты (по своей форме имя это бэкландское). Это имя дополнило длинный список куда более древних имен Тома.

17

«Имрам» на гэльском языке означает «странствие» (*прим. перев.*).

18

Переводчик опирался на произношение автора (фонограмма, запись 1975 г., G. Allen & Unwin Publishers). В переводе В. Тихомирова «Битва при Мэлдоне» («Древнеанглийская поэзия». М., 1982) — Бюрхтнот (*прим. перев.*).

19

По некоторым оценкам, 6 футов и 9 дюймов. Эти оценки основаны на измерении длины и объема его костей, покоящихся в могиле в Эли, произведенном в 1769 г.

20

То, что Олаф Триггвасон сам участвовал в битве при Мэлдоне, в настоящее время подвергается сомнению. Но англичане хорошо знали его имя. Он уже бывал в Британии, и достоверно известно, что в 994 г. он туда вернулся.

21

Согласно мнению Э. Д. Лаборда, которое считается сегодня общепринятым. Дамба или «брод» между Норти и берегом сохранилась до сих пор. (В данном переводе «брод», как и в переводе «Битвы при Мэлдоне» В. Тихомирова. — *Прим. перев.*)

22

В пер. В. Тихомирова — Бюрхтвольд.

23

В пер. В. Тихомирова:

Сердцем мужайтесь,

доблестью укрепитесь,
силы иссякли —
духом крепитесь...

24

«Настави меня, Господи, в пути Твоем. Вниду в дом Твой; поклонюся храму святому Твоему в страхе Твоем. Господи, настави меня в правде Твоей; избави меня от врагов моих. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь». (Из латинской службы по усопшим; эти строки представляют собой цитаты из разных псалмов. — *Прим. перев.*)

25

Говоря проще, она была задумана как пьеса для двух действующих лиц, двух теней, движущихся в «тусклой тьме», изредка прорежаемой лучом света; в этой тьме слышны соответствующие действию звуки, а в конце — пение. На сцене эта пьеса, разумеется, никогда не ставилась.

26

Essays and Studies, New Series. London, 1953, vol. VI, pp. 1—18 — журнал, в котором впервые были опубликованы эссе и поэма (*прим. перев.*).

27

В пер. В. Тихомирова:

...отвечал военачальник,
воскичился,
шире место пришельцам
поспешил уступить...

28

В пер. В. Тихомирова *Бюрхтвольд*. (*прим. перев.*)

29

В пер. В. Тихомирова:

«...Стыд мне, коль станут у Стурмере
стойкие воины
словом меня бесславить,
услышав, как друг мой сгинул,
а я без вождя
пятился к дому,
бегал от битвы;
убит я буду
железом, лезвием».

30

Ср. «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь».

31

В пер. В. Тихомирова:

«Я без оружия,
без меча остролезвого
пошел бы на недруга,
когда бы ведал
иное средство,
убив заклётого,
обет исполнить.
Но, чтобы укрыться
от ядовитого огнедыхания,
нужны мне доспехи
и щит железный».

32

Идиома «to fela» в древнеанглийском означает, что земли не следовало уступать вовсе. Что касается слова *ofermod*, то оно означает не «чрезмерно смелый», а нечто иное, если мы, конечно, признаем за корнем *ofer* полновесное значение, памятуя, как энергично вкус и мудрость англичан (какие бы поступки англичане ни совершали) отвергали всякую «чрезмерность». *Wita scal gepyldig... ne noefre gielpes to georn, oer he geare sunne* («Мудрый должен быть терпеливым и никогда не хвалиться прежде времени»). Но слово *mod*, хотя оно может включать или подразумевать значение «мужество», вовсе не обязательно означает «смелость», как и среднеанглийское *corage* («Мужество», «отвага», ср. совр. англ. *courage*. — *Прим. перев.*). Это слово означает «дух» или — если оно употреблено без эпитета — «высокий дух», наиболее обычным проявлением коего является гордость. Но в слове *ofermod* это слово снабжено эпитетом, и этот эпитет имеет значение неодобрения. На самом деле известно, что слово *ofermod* всегда несет в себе осуждение. В древнеанглийской поэзии оно встречается только дважды, причем один раз по отношению к Бьортноту, а другой — по отношению к Люциферу.

33

В пер. В. Тихомирова «...и жаждал славы всевековечной» (3180): последние слова погребальной песни, которую поют по Беовульфу «двенадцать всадников высокородных» (3170) (*прим. перев.*).

34

Виглаф — имя дружинника, который подоспел на помощь терпящему поражение Беовульфу. Дыхание дракона опалило щит юного воина, и Беовульф прикрыл его своим. Когда же дракон бросился на Беовульфа, Виглаф поразил ящера в горло, а Беовульф нанес последний удар (*прим. перев.*).

35

Имеется в виду Балаклавский бой 1854 г. между русскими и англо-турецкими войсками во время Крымской войны 1853—1856 гг. и стихотворение А. Теннисона, в котором рассказывается о кавалерийском эскадроне, который, получив неверный приказ, погиб в этом бою почти полностью. Стихотворение входит в школьную программу. Дж. Оруэлл писал: «Самое волнующее английское стихотворение на военную тему

повествует о кавалерийском эскадроне, который храбро бросился в атаку, только не туда, куда надо» (прим. перев.).

36

Возможно, именно в этой поэме впервые употреблено в связи с подобным методом стихосложения слово «буквы» (англ. letters: тот же корень входит в состав слова «аллитеративный». — Прим. перев.). Прежде на буквы как таковые никто внимания не обращал (в лекции «Чудовища и критики», прочитанной в 1936 г., Толкин замечает, что древнеанглийские поэты ранней эпохи ориентировались не на письменную, а на устную речь и, следовательно, на звучание слов, а не на их написание. — Прим. перев.).

37

В пер. В. Тихомирова (1904-1907):

«Я не верил в успех,
сокрушался в душе
и, страшась твоих
дерзких замыслов,
друг возлюбленный,
умолял не искать
встречи с чудищем...»

38

В пер. В. Тихомирова:

«Людей не пугала
затея дерзкая,
хотя и страшились
за жизнь воителя,
но знамения были
благоприятные...»

39

«умные люди» (др.-англ.)

40

В пер. В. Тихомирова:

«Молвил Виглаф,
сын Веохстана:
«Порой погибает
один, но многих
та смерть печалит, —
так и случилось!..
Наших советов не
принял пастырь,
мольбы не услышал
любимый конунг,
а мы ведь просили

не биться с огненным
холмохранителем...»

41

Я говорю о развитии, которое эти понятия претерпели до широкого распространения интереса к фольклору других стран. Такие английские слова, как *elf*, с давних пор испытывали влияние французского (из которого заимствованы слова *faу* и *faerie, fairy*); но позднее, когда слова *fairy* и *elf* стали употребляться в переводах, на их значение повлияла атмосфера немецких, скандинавских и кельтских сказок (*здесь и далее прим. авт.*).

42

Причем их влияние не ограничивается Англией. По-видимому, немецкие слова *Elf, Elfe* взяты из «Сна в летнюю ночь» в переводе Виланда (1764).

43

Это остается в силе, даже если эльфы — лишь творение человеческого сознания, если они «истинны» лишь как определенное отражение представлений человека об Истине.

44

Если не считать особенно удачных случаев или некоторых деталей. Вообще говоря, легче распутать одну *нить* (происшествие, имя, мотив), чем проследить историю *картины*, сплетенной из множества нитей. Ибо в картине появляется новое качество: она — не просто сумма нитей; исходя только из них объяснить ее невозможно. Здесь-то и заключается слабость, изначально присущая аналитическому (или «научному») методу: пользуясь им, можно много узнать об отдельных элементах рассказа, но мало или вообще ничего — об их эффекте в любом данном рассказе.

45

Это подтверждается внимательным и сочувственным изучением «примитивных» народов, то есть народов, которые, как и их предки, исповедуют язычество и, как мы говорим, «нецивилизованны». Если не вникать в детали, вам откроются лишь самые примитивные рассказы; при более тщательном анализе вы обнаружите космологические мифы; только терпение и проникновение в душу народа позволит вам узнать его философию и религию — то, чему он действительно поклоняется. Причем далеко не всегда предметом поклонения являются «боги»: их значимость может варьировать и часто зависит от отдельной личности.

46

У Толкина: «The beauty and horror of The Juniper Tree (Von dem Machandelboom)...». Непонятно, откуда переводчик взял *миндальное* дерево. Вся жизнь оно было *можжевельным*. Не говоря уже о том, что в книге и немецкое название сказки напечатано с ошибкой, здесь исправленной. (*Прим. rumbero*).

47

А не надо бы — или уж скрывать всю сказку, пока желудки у детишек не станут покрепче.

48

Что касается сказок и другой «детской литературы», то здесь раньше действовал еще один фактор.

Богатые семьи нанимали женщин для присмотра за детьми, и эти няньки, которые иногда были знакомы с древними преданиями, забытыми имущими классами, рассказывали детям сказки. Этот источник давно уже высох, по крайней мере в Англии, но когда-то имел большое значение. Но и здесь нет никаких доказательств, что больше всего подходило для восприятия этого вымирающего «фольклора» именно дети. Нянькам с таким же успехом (или еще большим) можно было поручить выбор картин и мебели.

49

Это дело рук Лэнга и его помощников. Большая часть сказок, входящих в сборники, в своем первоизданном (или самом старом дошедшем до нас) виде вовсе не предназначена для детей.

50

Впрочем, гораздо чаще они меня спрашивали: «Он был хороший? Он был плохой?» Стало быть, им прежде всего хочется различать Добро и Зло. Ибо этот вопрос одинаково важен и в истории, и в Феерии.

51

Естественно, именно это дети часто имеют в виду, спрашивая: «Это правда?» Они хотят сказать: «Мне это нравится, но существует ли это сейчас? Меня никто не тронет в моей кровати?» Все, что они хотят услышать, — это ответ: «Я точно знаю, что в Англии сейчас нет ни одного дракона».

52

То есть вызывало бы «вторичную веру» и повелевало ею.

53

В некоторых сновидениях Фантазия, судя по всему, принимает участие, но только в виде исключения. Вообще говоря, Фантазия — вид рациональной, а не иррациональной деятельности.

54

Злоупотребление не отменяет употребления (*лат.*).

55

Далее он добавляет: «Викторианские доспехи, состоящие из сюртука и цилиндра, несомненно, отражали нечто существенное для культуры XIX века, а потому распространились вместе с этой культурой по всему свету, чего раньше не происходило ни с одной модой на одежду. Может быть, наши потомки признают за этим облачением какую-то мрачную ассирийскую красоту, увидят в нем подходящую эмблему безжалостного и великого века. Но, как бы то ни было, у него нет обычной, обязательной для всякой одежды красоты, потому что, как и культура, породившая его, облачение это не было связано с жизнью природы и с человеческим естеством».

56

Точнее, в группе близких сказок.

57

Это неустойчивое равновесие характерно для Лэнга. На первый взгляд, его сказка написана в традициях Теккереевой сказки «Кольцо и роза» и галантных французских *contes* с сатирическим уклоном,

то есть произведений, которые по своей природе поверхностны, даже легкомысленны, и не достигают (в соответствии с авторским замыслом) такой серьезности. Но под поверхностью скрыт более глубокий дух Лэнга-романтика.

58

Из тех, что Лэнг называл «народными» и, по сути, ставил выше других.

59

Потому что не все детали могут быть «правдивыми». Вдохновение не часто бывает столь сильным и продолжительным, чтобы пронизывать все целое. Как правило, многое в произведении «изобретено» без вдохновения.

60

Искусство здесь заключено в самом сюжете, а не в манере изложения, потому что сюжет создан не евангелистами.